

Б.МИМЕР

ПОКА
ЖИВ
ЧЕЛ-
ОВЕК



Б.МИДЕР



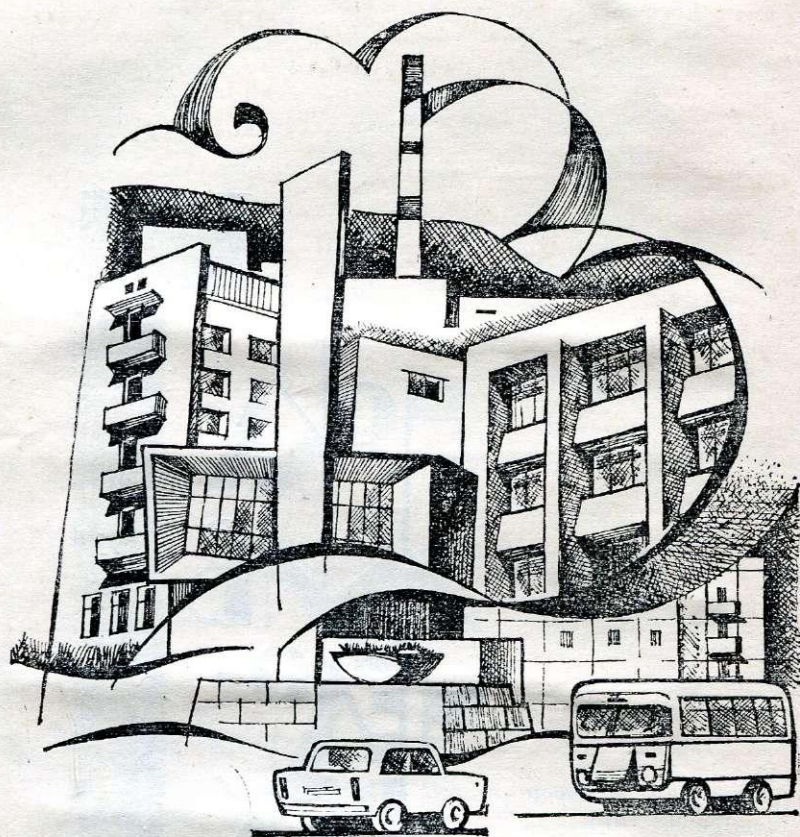
ПОКА
ЖИВ
ЧЕО-
ВЕК

Перевод с еврейского автора

МОСКВА СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1986

ПОКА
ЖИВ
ЧЕЛ-
ОВЕК

РОМАН



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Аркадий Сатановский вышел из заводских ворот. С ним — ребята его бригады. Не ребята — богатыри. Впрочем, истым богатырем выглядел один Василий Крылов. Крепкая мускулатура на груди, на руках распирала цветастую рубашу. Взгляд голубых, с прозеленью глаз под пшенично-светлыми бровями — спокойный, добродушный, чуть насмешливый — светился уверенной силой.

Олесь Чередниченко и Муса Гризатулин были пониже ростом и уже в плечах. И вовсе не мог похвастать ни силой, ни ростом Егише Папаян. На вид — мальчишка, но мальчишка-задира. Большие черные глазащи жизне-радостно сверкали на смуглом лице, и казалось: только что он удачно кого-то разыграл и ищет — над кем еще повторить бы розыгрыш...

Теперь, когда, отработав дневную смену, вместе выходили они из заводских ворот, при взгляде на них сразу бросалось в глаза, что их, таких несхожих и разных, объединяет что-то большое, общее, и именно оно и придавало эту силу даже самому слабому из них — Егише Папаяну.

— Нет, так дело не пойдет! — горячился Папаян, забегая вперед Крылова и кому-то угрожая. — Не пойдет!

— Не вертись ты под ногами! — беззлобно прикрикнул Крылов. — И кому угрожаешь? То же самое говорю и я...

— Хорошо!

— Но за дело, говорю, надо браться всерьез, не ради галочки только...

— Вот, вот, — крикнул Папаян, — галочки на бумаге, галочки в мыслях... Далеко на них не улетим...

Они продолжали разговор, начатый при выходе из цеха.

— Настоящая большая птица, которую нам следует поймать и удержать, это... что? — повернулся Олесь Чередниченко к Мусе Гризатулину.

Олесь и Муса — не просто друзья. О таких говорят: водой не разольешь. К тому же у Чередниченко была склонность к образным сравнениям. Вот так, среди разговора, любил он повернуться к дружку с вопросом: «Что?» Заканчивай, дескать, мысль... Не было еще случая, чтоб Муса не угадал, что было на уме у товарища.

Так и теперь:

— Качество, — заключил он.

— То-то и оно! — радостно подхватил Олесь. — Поймаем, удержим эту птицу — и мы на коне!

— Кони, птицы... — перебил Папаян. — Древними категориями мыслите, старики! Новая техника, передовая технология — вот что нам позарез нужно. Что, не так? Чего молчишь, бригадир?

— Будем реалистами, — усмехнулся Сатановский, — и не надо нам гнаться за птицами в небе. Все, что требуется, у нас под ногами, на земле. Бери и действуй!

— А если третий участок поставляет брак? А с тебя требуют качество? Тогда как? Скажи...

— Третий участок жалуется на второй, а тот на первый, — заметил Крылов. — Ясно, пока всю работу сверху донизу не перестроим, настоящего дела не будет.

— Перестройка началась, — сказал бригадир, — но меньше всего надо нам на это ссылаться. Много — ох как много — зависит от каждого из нас...

— Кто же говорит! — воскликнул Чередниченко. Он хотел еще что-то добавить, но тут появился Валерий Крас.

— Хелло, хиппи! — весело приветствовал его Папаян.

Угрюмо насупившись, Валерий остановился.

— Какой я тебе хиппи?

— Точно такого видел в журнале «Америка». Как с тебя срисован.

— А ты поменьше гляди, можно гляделки испортить. — Два растопыренных пальца Крас направил было Папаяну в лицо, но Крылов вовремя их перехватил.

— У кого руки длинные, можем укоротить.

Крас отступил. Вид был у него действительно странный. Непомерно длинный, тощий, спутанные волосы до

плеч, борода. На нем была неопределенного цвета рубашка, вдоль и поперек расписанная иностранными текстами, размазанная рисунками, джинсы.

— Не жарко тебе с этими патлами, Валерий? — сочувственно спросил Сатановский.

— А и жарко — не тебе потеть, — огрызнулся тот. Было в нем что-то и агрессивно злобное, и беспомощно жалкое.

— Зашел бы в парикмахерскую, вот она, напротив, — продолжал Аркадий, — снял бы бородищу. Выглядишь ты в ней дремучим дедом. А в действительности ты же еще пацан, Валерий...

Сатановский стоял рядом со своими ребятами, и получалось, как будто все вместе они насмеялись над ним. Молча отойдя на несколько шагов, Крас быстро обернулся и, зло блеснув глазами из-под насупленных бровей, грязно выругался.

— Ах ты, хиппи! — рванулся к нему Папаян.

— Не горячись, — придержал его Крылов. — С кем заводишься?

— Нет, ты гляди... — не мог успокоиться Папаян.

Пошли. Недалеко от заводских ворот остановились.

— Ну, на, держи, — подал руку Сатановскому Василий. — Наберись свежих сил в санатории и...

— И гляди не влюбись там, — сунул бригадиру смуглую руку Папаян.

— А почему бы и нет? — подал свою крепкую короткопалую лапу Олесь. — Наоборот, ты влюбись и вернись к нам... С кем? — повернулся он к Мусе Гризатулину.

— С красивой невестой, — ответил тот.

— Вот-вот, — подхватил Олесь, — с гарной дивчиной вернись, а мы тебе тут такую комсомольскую свадьбу отгрохаем...

— Спасибо, ребята, — ответил Аркадий. — И у вас тут чтоб был порядок. Тебе, Муса, пусть Хафиза принесет богатыря!

— Спасибо, бригадир.

— И смотрите, чтобы план был в ажуре.

— План будет, — сказал Чередниченко, — а вот с качеством...

— Без качества какой же план?

Разошлись. Крылов и Чередниченко — к своим женам и детям. По двое их было — у Василия мальчиков, у Олесь — девочек. Гризатулин — к молодой жене на сносях. Все они тут жили, в заводском поселке. Папаян тоже.

Тот кинулся за гитарой, а с нею в клуб, на репетицию заводского ансамбля.

Сатановский жил в городе. Домой добирался автобусом.

Вручая ордер на однокомнатную квартиру, в завкоме ему сказали:

— Имей в виду, квартиру получаешь с условием...

— Каким?

— Таким, чтоб вскоре была там молодая хозяйка, а через год чтоб там было вас трое...

Времени с тех пор прошло немало, но условие все еще оставалось невыполненным.

Подошел автобус, но Аркадий в него не сел. Что तो-ропиться в одинокую квартиру? Никто его там не ждал. А настроение было приподнятое, хотелось пройтись. В разгаре — лето, лучшее время для отпуска. Сегодня он отработал последний день, завтра — к морю, в санаторий. Путевка в кармане.

На днях в областной газете была напечатана заметка об их заводе. В ней, между прочим, было сказано:

«Комсомольско-молодежная бригада коммунистического труда под руководством бригадира Аркадия Сатановского, награжденного значком «Ударник девятой пятилетки», выполнила производственное задание прошлого месяца на 123 процента при хорошем качестве работы».

И внизу: «Бригадир А. Сатановский». Тут же — крупное фото.

Впервые увидел Аркадий в газете свой портрет, и до того показался он ему странным — сам себя не узнал. Лицо — неестественно увеличенное и, в густой черной краске, какое-то чужое. Черные (а не каштановые, как в действительности) волосы на голове, черные (а не серо-голубые) глаза. Только зубы сверкали в улыбке естественной белизной.

Под фото — фамилия репортера. Молодой еще, но бойкий такой парень с обвислыми усами и двумя фотоаппаратами. После санатория он, Аркадий, обязательно позвонит в редакцию и пожалуется на этого репортера. Он уже пару раз звонил, но не заставлял нужного сотрудника. Нельзя ведь так.

Когда репортер этот явился в цех, Сатановский ему сказал: верно, план перевыполнен, но заслуга в этом всей бригады, ее и надо фотографировать. «Хорошо», — согласился тот и снял его, а затем и бригаду сперва од-

ним, а затем и вторым фотоаппаратом. Кто-то сказал, что маленького Папаяна не увидят из-за станка, и что же — в последний миг перед нажатием кнопки тот возьми да и вскочи на плечо Крылову... То-то смеху было! Пришлось переснимать. А вот в газете портрет одного бригадира. Никто из членов бригады даже не назван. Так это оставить нельзя. Репортера этого надо проучить, чтоб впредь знал... Вообще же, думал Аркадий, что ни говори — приятно: получают люди газету, смотрят — на первой странице он, Сатановский. Впрочем, зазнаваться рано. Ребята правы — с качеством еще не ахти, и не всегда найдешь виновных... Проблема это для всего завода. Вернется из санатория, и надо будет по-настоящему в это дело влезть. Он ведь не только бригадир, но и член заводского комитета комсомола, и председатель технического совета молодых специалистов. Дел — по горло.

Думая обо всем этом, Аркадий и не заметил, как прошел две остановки. Приближался автобус. Он решил сесть, но вдруг заметил: на противоположном тротуаре стоит Валерий Крас. Стоит неприкаянный какой-то, как в воду опущенный. «С чего бы это? — подумал Аркадий. — Там, у заводских ворот, был так агрессивен, а тут...»

Валерий Крас работал в соседнем цехе штамповщиком. Большой квалификации для этого не требуется, следит, чтоб штамп был налажен, и делает исправно свое дело. Он делал его неисправно. Опаздывал на работу. Случалось, приходил под хмельком. Прогуливал. Обсуждали его на рабочем собрании, не помогло. В характере, как и во внешнем виде молодого бородача, было что-то колющее, он как бы всем и вся хотел досадить. Отчего?

Видя таких, как Валерий Крас, Аркадий Сатановский считал и себя как бы в чем-то виноватым. «Идешь по улице, — думал он, — видишь — упал человек. Подбежишь ведь, протянешь руку, поможешь подняться... А если видишь — человек морально падает, опускается, — почему такому человеку не всегда помогут? Не интересуются — что с ним, в чем испытывает, может быть, нужду?» Аркадий давно собирался с Красом поговорить, но все как-то не получалось. К тому же надо ведь знать, как с таким говорить. Теперь, решил Сатановский, разговор состоится. Тем более что тот не так понял, видать, раньше его, Аркадия, слова о парикмахерской. Думал —

над ним насмеваются, а сказано ведь было без всякого злого умысла. С этого он с ним разговор и начнет.

— Бригадир? — изумленно вскинулся Крас, увидев возле себя Сатановского, и тут же — куда девались уныние, потерянный вид — он снова стал колюч, как еж. — Что тебе надо? — спросил он со злостью.

— Поговорить. Можно с тобой поговорить?

— Не о чем нам говорить. Иди, куда шел...

— Раньше, когда посоветовал тебе насчет парикмахерской, я вовсе не имел в виду тебя обидеть...

— Никогда вы не имеете в виду, знаем...

— Кто это — вы?

— Да вы все — передовые, знатные... Чьи портреты в газетах... Выполняют, перевыполняют... Один я — отброс...

— Кто тебе это сказал?

— Да все вы... Только и слышишь... Не перестают воспитывать, учить, как жить на свете... А сами-то хоть знаете — как? — И он со злостью плюнул. — Паскуды!..

— Но-но, полегче! — повысил голос Сатановский.

— Чего полегче? Я тебя сегодня раз уже послал. Могу еще...

— Попробуй, — разозлился Аркадий, — не гляди, что длинный вымахал. Один хук — и ты вываляешься у меня тут в пыли. — Тяжело передохнув, Сатановский помолчал и, овладев собой, тихо добавил: — Когда говорят с тобой по-человечески, так же, по-человечески, и отвечай.

— Что отвечать?

— Меня интересует: нуждаешься в чем?

Глаза Краса налились злостью.

— Можно подумать...

— Что?

— Что это и впрямь тебе нужно знать...

— Представь, да.

Крас смерил Аркадия недоверчивым взглядом.

— Так о чем прикажешь доложить? В чем нуждаюсь вообще или конкретно в данный, текущий момент?

— И вообще, и конкретно.

— Так вот, — передернув плечом, ответил Крас, — вообще мне в жизни многого еще не хватает — от ладной чувихи до новенького «жигуля»... А конкретно, в данный момент, — с кем выпить на троих...

— А на двоих не пойдет?

— С кем?

— Со мной.
— С тобой? — изумленно протянул Крас.
— Да.
— Ты — бригадир, передовик, ударник пятилетки?
И я — прогульщик, хиппи?..
— Какой ты, к черту, хиппи? — сказал Сатановский. — Хочешь, зайдем куда-нибудь, посидим. Потолкуем.
— А — стоя?
— Можно и так.
— Коли так... — Крас переменился, просиял, кинул Сатановскому руки на плечи. — Коли так, ты не только передовик... Не только ударник пятилетки... Ты — человек, Аркадий! Тут на углу шашлычная, ждет нас не дождется...

2

Подобно высоким засохшим грибам стоял в шашлычной с десяток одноногих круглых столиков. У некоторых из них люди торопливо, тоже на одной ноге, пили, закусывали.

Выходили, входили.

По ту сторону буфетной стойки, в глубине зала, разноцветные и разнокалиберные бутылки и бутылки составляла невысокая буфетчица в белом, не первой свежести халате. Молодая, но не в меру располневшая, она привлекала внимание несколько грубоватой красотой женщины, успевшей много в жизни испытать.

— Дашенька, парочку шашлычков! Пожалуйста, горяченьких, — по-свойски обратился к буфетчице Валерий Крас.

— Валерочка, — в тон ему ответила та, — а парочку горяченьких затрещин в обе щеки не хотел бы?

— За что такое, Дашенька?

— А чтоб не спрашивал того, чего нет.

— Как, — изумился Крас, — нет шашлыков?

— Не то не знаешь?

— Ай-яй-яй! — сокрушенно развел руками Крас. — Почему же по всему фасаду вот такими буквами оповещается: «Ша-шлыч-на-я»?

— А для того, чтоб дураки поверили.

— Что же, по-твоему, Дашенька, я дурак?

— А ты думал?..

— Ну, хорошо, — без обиды сдался Валерий. — Что же есть у тебя на закуску?

— Котлеты.

— Холодные?

— А где я тебе разогревать буду? Какие привозят.

— Девяносто процентов хлеба?

— Согласно рецептуре.

— Рецептура известна. А что есть из рецептов?

— Вот, — буфетчица показала на большую красочную батарею, — коньяк, шампанское, «Экстра», портвейн...

Крас повернулся к Сатановскому:

— Что возьмем?

— На твое усмотрение.

— Коньяк?

— Дела твои позволяют? — спросил Аркадий.

— Твои-то позволяют?

— Хочешь за мой счет?

— Почему бы нет?

— А почему — да?

— А потому, что я красивый. Правда, Дашенька, красивый я?

— Красивый, это верно, — отозвалась буфетчица, — да красота не туда попала...

— Видишь, — сказал Крас, — Дашенька подтверждает, что я красивый. Ну, а ты получил отпускные, надо вспрыснуть.

— С тобой?

— Почему бы нет? — Поняв, что Сатановский согласен и только отшучивается, повернулся к стойке: — Дашенька, быстро, пока не раздумали, — пять, дважды два...

— Ребусами заговорил?

— На ходу ты должна такие ребусы усекать.

— Тупая я.

— Видно. — Пояснил: — Коньяк «пять звездочек», два раза по двести грамм.

— Мне сто, — сказал Аркадий.

— Жалко?

— Здоровья.

— Не хватает его у тебя?

— Хватает. Именно поэтому.

— А мне нечего терять.

К одному из свободных столиков у солнцем залитого окна понесли коньяк и по тарелочке с холодной котле-

той, гарниром из засохшего горошка и парой ломтиков черствого хлеба.

— Вот так мы и живем,— промолвил Валерий Крас, с жадностью поглядывая на свой полный стакан.

— Как же мы живем? — в том же тоне переспросил Аркадий Сатановский. — Хорошо или плохо?

— Неважно, — ответил Крас, подняв стакан. — За твой отдых, бригадир!

Аркадий поднял свой до половины заполненный стакан.

— И за то, чтоб тебе в этот месяц хорошо работалось!

— Хитер! — подмигнул ему Валерий и поднес стакан ко рту.

— Эге! — придержал его Аркадий. — Кто же так глущит коньяк?

— А что?

— Так водку хлещут. А коньяк... Недаром он обозначается звездочками... Каждую звездочку надо глотать отдельно, чтоб вкус распознать...

— Эх, браток, — ответил Валерий, — какой уж там вкус, когда вот здесь, — он ткнул себя в грудь, — все горит, и надо скорее залить чем бы то ни было, чтоб не сгорело все к чертовой бабушке...

Аркадий отпил немного из своего стакана, отделил вилкой краешек сухой котлеты и положил в рот.

— Закусывай, — сказал он Валерию.

Тот вилкой подцепил несколько горошин, но рука дрогнула, и они рассыпались по грязному цементному полу. Проследив их каким-то странно жалостливым взглядом, Крас положил вилку и больше ни к чему не притрагивался. Опершись локтями о столик, забрав в руки большую патлатую голову, сказал:

— Когда мы зашли сюда, я перекинулся с буфетницей парой слов о шашлыках, заметил?

— Заметил, — сказал Аркадий, медленно отпивая коньяк.

— Глядя, как ты цедишь это питье, — заметил Валерий, — можно подумать, что оно доставляет тебе большое удовольствие?

— Так и есть, — ответил Сатановский. Он сделал еще пару глотков и добавил: — Вообще обхожусь без этого. Не пью. Ни к чему это. Разве что по большим праздникам. Сегодня делаю это ради тебя. А раз делаю... — Он поднял стакан, и остатки вина против залитого солнцем

окна золотисто блеснули. — Все должно доставлять человеку радость — еда, питье, работа...

— Работа — радость? — пожал плечами Валерий.

— Ну да, — с удивлением глянул на него Сатановский. — Лишь работа и дает настоящую радость. Если, конечно, выполнять ее с любовью, хорошо.

— Ты любишь свою работу? — спросил Крас.

— А как же?

— Я — нет.

— Но ты работаешь?

— Надо.

— Не верю. Но мы еще об этом поговорим. Ты что-то хотел сказать о шашлыках? Да, горяченький шашлык теперь не помешал бы...

— То-то и оно. По всему фасаду метровыми буквами: «Ша-шлыч-на-я»... А зайдешь, им и не пахнет...

Крас приблизил к Аркадию расширенные свои зрачки с пляшущим в них пьяноватым отблеском.

— А в жизни разве не так, скажи?

— Что — в жизни?

— Не то же самое? На фасаде — чего хочешь: дружба, энтузиазм, любовь... А на поверку? Одно вранье...

— Вижу, — сказал Аркадий, — коньяк уже здорово тебя разобрал...

— Один стакан-то? Ого, ты меня не знаешь. Для меня это капля в море.

— Может быть, я действительно тебя не знаю, — согласился Сатановский. — Но если ты трезв, еще хуже.

— Что?

— Ты смешиваешь разные вещи.

— Например? — насторожился Крас.

— Работники торговли, которые повесили вывеску «шашлычная» в таком месте, где шашлыком и не пахнет, для того только, чтоб было «как у людей», они конечно же заслуживают взбучки. Одно из двух: повесил вывеску, будь добр, жарь шашлык! Если же его нет, снимай вывеску! Не так ли?

— Об этом же и я толкую, — резко повернулся к нему Крас. Аркадий слегка отстранил его.

— Но ты не только об этом толкуешь. Ты чуть ли не философию целую вокруг этого развел: ничего, дескать, нет — ни дружбы, ни...

— Разве не правда?

Взгляд у Аркадия стал прозрачно-строг.

— Лжешь.

— Лгу?

— Еще как!

Валерий угрожающе придвинулся к Аркадию.

— Докажи!

— Докажу.

— Но знаешь, без всякой там агитации. Как человек человеку... Докажи, и я скажу: ты прав. — Помолчав, Крас добавил: — Никто толком ничего не разъяснит. Все знай воспитывают — профсоюз, комсомол...

— Да, скажи, Валерий, как ты в комсомол попал?

— Просто.

— Как — просто?

— В школе еще. Всем классом вступили.

— А теперь?

— Членские взносы плачу.

— И все?

— На собраниях бываю. Не всегда.

— Почему?

— Скучно.

— Ну и комсомолец! Тебе, что же, на собраниях цирк показывать, чтоб весело было?

— Зачем — цирк? Хочется чего-то нового. Осточертели нотации. Только и слышишь: план, станок, брак... Сколько можно? Не к этому душа лежит...

— К чему же лежит — к бутылке?

— А ты не смейся. Хочется чего-то большего... Чего-то такого...

— И потому под хмельком на работу приходишь, прогуливаешь?

— Может быть, и поэтому... Норовят все сделать из тебя не человека — святого какого-то. Вот и ты... Не пей, не кури, с девчатами — ни-ни... А что же? Зарегистрируйся в загсе, производи себе подобных, вкалывай на работе и выполняй общественные поручения... Тоска... Не люблю святош и никогда таким не буду. Вот ты, Сатановский, вполне годишься в святые...

— Хорош святой, коли знается с таким греховодником.

— А знаешь, — сказал Крас, — когда ты согласился со мной выпить, я ушам не поверил.

— А почему согласился, знаешь? — пояснил Аркадий. — Потому что, в сущности, ты не такой уж страшный, как ты, с этими патлами и всякими штучками, пытаешься казаться. Внутри в тебе сидит, полагаю, не

такой уж плохой парень. С ним-то, с этим парнем, я и зашел потолковать.

— Вот как? — насмешливо-недоверчивым взглядом Крас уставился на Сатановского. — И как глубоко, полагаешь ты, парень этот во мне засел?

— Думаю, не так уж и глубоко. Я до него докопаюсь.

— Желаю успеха! — усмехнулся Крас. — Еще по сто?

— Нет, хватит.

— А тот парень? Он, бедолага, ведь еще и не нюхал.

— Обойдется.

— Жалеешь? У меня до получки ни одного рэ... А ты сегодня богач.

— Не жалею, — ответил Аркадий, — но я собираюсь сегодня еще об одном деле серьезно с тобой потолковать, а я люблю разговаривать с трезвыми. Пошли пройдемся.

— Начальству виднее, — сдался Крас. Он ткнул вилкой в сухую котлету, откусил кусочек и отставил тарелку. Выходя, крикнул буфетчице: — Дашенька, когда еще раз появлюсь, чтоб был готов для меня горячий фирменный шашлык...

— Будет как штык! — весело ответила та, и оба расхохотались.

3

После душной, пропитанной алкогольными запахами «шашлычной» приятно было подставить лицо под освежающее дыхание предвечернего ветерка с недалекой реки. Слегка колыхались вдоль тротуаров кроны молодых деревьев. После запоздалой весны лето не успело еще всю развернуть их, зато они еще не смогли утратить яркости, свежести и тонкого запаха первой внешней зелени. Все это наполнило Аркадия радостью каких-то неясных еще, но добрых предчувствий. На какое-то время он даже забыл об угрюмом шагавшем рядом с ним Валерии и весь отдался светлому чувству, переполнявшему в эти мгновенья, как казалось ему, не только его одного, но и всех шедших им навстречу людей.

Вот в светлой соломенной шляпе шагает старик. Не спеша он ставит шаги и самому себе улыбается в седые усы. Идет, наверное, в гости к внукам, а то и к правнукам...

А вот молодая мать с дочуркой. В красном беретике,

зеленом платище и золотистых туфельках — ни дать ни взять — цветочек. Оторвалась от материнской руки и побежала, то и дело оглядываясь. Мать, делая вид, что никак не догонит, — за ней... На всю улицу колокольчиком — детский безудержный смех...

Двое. Высокие, стройные. Его рука у нее на плече. Никого не видят, во всем мире — одни...

Хорошо людям вокруг, и Аркадию хорошо.

— Ну, как? — вспомнил он о своем попутчике и повернулся к нему.

— Что — как?

— Как чувствуешь себя в такой вечер среди стольких чудесных людей?

— Неважно.

— Что?

— Неважно, говорю.

— Вот как? — не понял Аркадий. — Шутишь?

— Серьезно.

Аркадий остановился.

— Чего же тебе не хватает?

— Ты об этом сегодня меня уже спрашивал. Скажу еще раз: многого.

— К примеру?

— В данный момент?

— Хотя бы.

— В данный момент не хватает мне с десяток рэ в кармане, во-первых...

— А во-вторых?

— А во-вторых, настоящего кореша, не такого, как ты.

— И что бы вы с ним делали?

— Перво-наперво заглянули бы в кабак.

— И...

— Заказали бы хороший шнапс, закуску... Танцы...

— И это — все?

— В данный, текущий момент — да.

— А дальше?

— Что дальше?

— Ну, дальше? Вообще в жизни есть у тебя какие-то планы, намерения?

— Погляжу я на тебя, — Валерий оглядел Сатановского, как будто видел его впервые, — изрядный же ты чудило...

— Что так?

— «Дальше»... «Вообще»... Кто об этом думает?

— А как можно не думать?
— Нет никакого «дальше»... Никакого «вообще», — отрубил Крас.

— А что есть?

— Есть — сегодня. Нонешний денек. Запомни. И ничего больше. Сегодня живешь — сегодня жрешь. Сегодня — пей-гуляй!..

— А завтра?

— О завтрашнем дне? Он у бога на уме, — так говорила моя покойная бабушка. И запомни: не существует ничего «вообще». Не вообще — мир, человечество и т. д., и т. п. Существует конкретная частность. Я. Человек. Данный человек Валерий Крас со своими взглядами, интересами, желаниями.

— О, — усмехнулся Аркадий, — ты, я вижу, и впрямь философ...

— Кто я и что я, не знаю, — ответил Крас, — но дело обстоит именно так. И поймей в виду — думаю так не я один.

— Понятно, что не ты это выдумал, — сказал Аркадий и остановился. Валерий тоже стал. Чтоб не мешать прохожим, они сошли с тротуара. Тихо шелестела едва колеблемая крона тополя, обволакивая едва уловимым запахом юной листвы. — Коли так, Валерий, — сказал Аркадий, — объясни: на минуту предположим, — ты прав. Главное — не общее, не мир, не человечество, как ты говоришь, а отдельный человек и то, чего он хочет, желает.

— Правильно, — кивнул Валерий.

— Ну, а как быть, если у этого твоего человека намерения окажутся не добрыми, а, наоборот, такими, что принесут и другим людям, и ему самому вред?

— Исключено! — энергично тряхнул патлами Крас.

— Почему?

— Никто на свете себе самому плохого не пожелает. Согласен?

— Согласен.

— Каждый человек будет делать для себя одно лишь добро. Согласен?

— Предположим.

— Ну, а коли каждый будет делать добро, откуда же зло-то возьмется?

— Логично, — усмехнулся Аркадий.

— Вот видишь!

— Логично, но наивно.

— Почему?

— Потому что, если каждый человек будет, как ты говоришь, творить добро только для себя, это никоим образом не может быть хорошо для всех.

— Отчего же?

— Оттого что делать добро следует, прежде всего, для всех, тогда будет хорошо и каждому в отдельности, а не наоборот, как этого тебе хотелось бы. Но почему же мы стоим? Пошли!

Из-под колеблющейся кроны, струившей свежий запах листвы, они снова вошли в человеческий поток, заполнивший тротуар.

Не успели пройти и нескольких шагов, Валерий вдруг круто остановился.

— Салют, Марленочка! — воскликнул он.

Остановился и Аркадий. Он это сделал бы, и не будь неожиданного восклицания его попутчика. Встреченная девушка ошеломила его своей красотой. Рой мыслей и чувств, недоступных выражению словом, тут же завихрился в нем.

...Она не остановится, нет... Не понимает она их языка... Она не иначе — инопланетянка...

...Как можно такую вот назвать просто по имени?

...Живет же такое чудо в одном городе с ним, а он не знает...

Она остановилась.

— Привет, Валерик, — сказала девушка.

Аркадий ни глазам, ни ушам не поверил. Действительно она остановилась? И произнесла эти обычные слова?

А тот как ни в чем не бывало:

— Откуда топаешь?

— С работы.

— Почему так поздно?

— Задержалась в месткоме.

— В активе?

— Почему бы нет?

— А где же твой эскорт?

— Что за эскорт?

— Влюбленных. Такую, как ты, должен сопровождать эскорт влюбленных. Ты знаешь, — обратился он к Аркадию, — полгорода в нее влюблены, и я тоже. А другие полгорода не влюблены потому, что не подозревают о ее существовании...

— Меня это радует, — улыбнулась девушка, — особенно что и ты...

— Ты в нее еще не влюблен, бригадир? — снова обратился к Аркадию Валерий. — Мы стоим уже три минуты, этого вполне достаточно.

— Нет, еще не успел, — выдал из себя Аркадий первые несколько слов с тех пор, как они остановились.

Валерий:

— Чуть не позабыл вас познакомить. Аркадий Сатановский — бригадир, на все сто процентов правильный человек: не пьет, не курит, девушек не любит.

— Хватит паясничать, — оборвал его Аркадий. И к девушке: — Как вас зовут, уже знаю, как меня, вы знаете тоже.

Она подала ему руку.

— В список влюбленных запиши еще одного, — сказал Валерий, — но прошу: его вставь после меня, слышь, Марленочка?

— Он называет вас так по-свойски, — заметил Аркадий, — у него есть на это право?

— Видишь, — заявил Валерий, — не успел познакомиться, а уже ревнует...

— Если вы знаете Валерика, — ответила девушка, — вам должно быть известно: право на все он берет себе сам.

— И без оснований?

— Иногда — и без.

— Каким же это по счету я значусь в твоём списке, Марленочка? — продолжал Валерий.

— Ты — на первом месте, — ответила она и, приветственно подняв руку, ушла.

— Чао! — крикнул ей вслед Валерий.

Некоторое время шли молча. Возможно, Валерий что-то говорил, но до Аркадия слова его не долетали. После неожиданной встречи унесло его куда-то очень далеко, в какую-то немыслимую тишину... Вдруг в тишину эту ворвалось что-то постороннее, какой-то диссонирующий звук. Аркадий хотел было отмахнуться, но звук повторился:

— ...кабак...

— А? Что?

— Ты не с неба свалился?

— Почти...

— Марленочка это может...

— Что — может?

- Как увидишь ее впервые, такое может случиться.
- А во второй раз?
- Во второй раз легче.
- Ты что-то хотел сказать?
- Кабак, говорю, вот он...
- Они стояли у входа в ресторан.
- Ну и что? — спросил Аркадий.
- Войдем?
- Нет.
- Категорически?
- Абсолютно.
- Ну и балда же я! — ругнул себя Крас.
- К чему такая самокритика?
- Надо было предложить это при Марленочке, с нею ты бы не только в кабак...
- Она согласилась бы?
- А как же!
- С тобой и с незнакомым парнем?
- Еще как!
- Не верю.
- Не знаешь ты, значит, девчат.
- Разные они бывают.
- Все на один покрой.
- По-твоему.
- Пари?
- О чем?
- Что Марленочка со мной и с тобой пойдет сегодня в кабак...
- Проиграешь.
- Я сейчас за нею и приведу сюда.
- Знаешь, где живет?
- Конечно.
- Не надо.
- Испугался?
- Да, хотя не из пугливых. Пойдем, присядем тут в сквере.
- Место для пенсионеров.
- Днем. А вечером — для влюбленных.

Сквер зеленел напротив ресторана. Все скамьи были заняты. Аркадию и Валерию повезло — одна пара поднялась и побрела обнявшись, они заняли освободившееся место...

Некоторое время сидели молча. У Аркадия из головы не выходила девушка, ее облик, стать. И как же это он, всю жизнь почти прожив в этом городе, ни разу ее не встретил? Может быть, нездешняя, приезжая? Откуда? Впрямь с иной планеты? Он усмехнулся. Все перевернула она у него в голове. Он собирался ведь что-то предложить этому патлатому философу, которого она почему-то так по-своему называет «Валерик». Возможно, между ними что-то есть? Это надо выяснить. Но не теперь, сам себе мысленно приказал он. Не то Валерий может действительно подумать, что его, Аркадия, это в какой-то степени интересует. А если и интересует, никому до этого нет дела. У него есть для Валерия предложение. Но предварительно кое-что необходимо выяснить. Откуда этот устрашающий внешний вид, бравада, цинизм? Должны ведь быть под всем этим корни.

Валерий Крас ломал себе голову над другим: что хочет от него этот на все сто процентов правильный бригадир? И какого дьявола он тащится с ним вот уже битых несколько часов? «Что мне от него нужно, знаю,— думал он. — У меня финансовый крах, и я хочу на его счет гульнуть в этот вечер, а он не дается. Что же ему от меня-то надо? Сидит, молчит. Это Марленочка оглушила его. Сейчас начнет: где, что, откуда? Ага, так и есть...»

— У меня к тебе вопрос, — начал Аркадий.

— Знаю.

— Что ты знаешь? — удивился тот.

— Знаю, о чем хочешь спросить.

— Например?

— Кто такая Марленочка, где работает, где живет?

— Ничуть не бывало.

— Что же?

— Меня интересует: где ты живешь?

— Я? — удивился Валерий.

— Да, ты.

Крас рассмеялся.

— Можно подумать, тебе нужна встреча со мной, а не с ней.

Аркадий нахмурился.

— О твоей знакомой, которую ты зовешь Марленочкой, ни слова больше! Понял?

— Есть: ни слова больше.

— Хочу знать: где ты живешь?

— В общаге.

— Родителей у тебя нет?

— Почему же? Предки живы и даже здоровы. Они у меня еще вовсе не старые.

— В другом городе живут?

— Зачем? Здесь, в нашем городе, и живут.

— Есть еще дети?

— Нет, один я у них, единственный.

— Почему же...

— Почему живу не с ними?

— Ну да.

— Так.

— Как — так?

— Это действительно тебе интересно знать?

— Да.

— Странно...

— Что странно?

— Не привык я, чтоб мной интересовались. И к чему тебе?

— Об этом — позже.

— Понимаешь, предки мои весьма достойные и правильные люди. Вот ты бы с ними вполне мог ужиться, ты тоже правильный.

— А ты?

— Я, как видишь, кругом неправильный.

— Как же, скажи мне, у таких правильных, как ты говоришь, родителей вырос такой неправильный сын?

— Может, именно поэтому.

— Не понял.

— Чересчур уж они правильные — вот в чем беда...

— Где работают?

— Отец — юрисконсульт на заводе, мать заведует аптекой.

— Почему же они так плохо тебя воспитали?

— Плохо? Они вовсе меня не воспитывали. Целыми днями на работе, в командировках. Я сам себя воспитывал, и не дома — во дворе, в подворотнях, с такими, как я. Была, правда, бабушка, мать отца, старая, глухая. Когда она умерла, я и вовсе остался без присмотра.

— Почему же дома не живешь? Жилплощадь мала?

— Что ты! Предки мои вдвоем занимают трехкомнатную хату. Площади хватает, но...

— Что «но»?

— Понимаешь, когда после десятого класса мне предстояло поступить в институт, отец сказал: «Экзамены не сдашь — домой не возвращайся». А я не сдал. Не добрал двух баллов.

— В школе как учился?
— Средне.
— Что, от природы тупой?
— Зачем? Учителя считали, что котелок у меня варит, особенно по математике.

— В чем же дело?
— Скучно было учиться. Неинтересно.
— А когда не попал в институт...
— Пошел на завод, а жить — в общагу.
— Родители не одумались?
— Мать приходила, просила вернуться...
— А ты?
— Не пошел.
— В общаге лучше?
— Понимаешь, в доме у нас, как бы тебе это сказать... Не дом, а антикварный магазин. Хрусталь, фарфор... Гарнитуры по последней моде: в спальне югославский, в кухне — рижский. Стенка с сервизами... И боже упаси к чему-нибудь притронуться... Все это — напоказ, чтоб — когда по большим праздникам приходят гости — смотрели, ахали, завидовали... На стенах ковры, на полу паласы. В коридоре надо надевать тапочки — как в музее... — Валерий умолк ненадолго, затем продолжал: — И точно так же у отца с матерью мысли и чувства — все как по полочкам разложено: это — для себя, а то — для людей... И так, знаешь, мне все это осточертело, что захотелось мне весь этот порядок их сломать к чертовой матери и самому все делать не так, а назло, наперекор, понимаешь?

— Понимаю, — ответил Сатановский, — теперь понимаю. — И неожиданно для Валерия добавил: — В бригаду хотел бы перейти?

— В бригаду?
— Да.
— В твою?
— Нет, в мою тебе рано. У меня все ребята с высокими разрядами. Но я могу договориться, чтоб тебя приняли в другую бригаду, а со временем — и в мою. Сколько можно стоять на штамповке? В бригаде и зарабатываешь больше, и работа интересней. Что скажешь?

Для Валерия это было неожиданно.

— Это ты мне и хотел сказать? — спросил он.

— Да.

Крас с изумлением уставился на Аркадия.

— К чему тебе это?

- А что?
- Я — пьянчуга, прогульщик...
- Собираешься век таким быть?
- У тебя есть надежда, что нет?
- Есть.
- И что же?
- Так вот, в бригаде ты, возможно, скорее от всего этого избавишься.
- А что скажут ребята в бригаде?
- Я спрашиваю тебя: согласен?
- Подумаю.
- Так вот, заодно подумай и об условии, которое я поставлю.
- Еще и условие? — протянул Крас.
- А ты как полагал — просто так?
- Какое условие?
- Завтра я уезжаю в санаторий, — сказал Аркадий. — Около месяца меня не будет. За это время тебя ни разу не увидят подвыпившим. Ни одного прогула. Ни одного брака в работе.
- Ого! — воскликнул Крас.
- Выполнишь, я по приезде договорюсь, и тебя примут в хорошую бригаду.
- А не выполню?
- Тогда не о чем говорить.
- Одного не пойму, — после долгого раздумья сказал Валерий. — Ради кого стараешься? Чью выгоду имеешь в виду? Мою?
- Нет, — ответил Аркадий.
- Свою? В чем она?
- Тоже нет.
- Чью же?
- Хочу, чтоб выгадал тот парень, о котором мы с тобой сегодня уже говорили. Как можно скорее надо вытаскать его на белый свет. Ради этого, думаю, стоит постараться.
- Ну и хитер же ты, как я погляжу, — погрозил Валерий Аркадию пальцем.
- Поднялись. Стало темно и прохладно.
- Пошли?
- Да, — ответил Аркадий. — Я живу на Чапаевской.
- Держи, — Крас протянул ему руку. — Ты правильный мужик, бригадир, но не зануда. Правильные всегда зануды, я таких не люблю.
- Разошлись.

Отойдя шагов на двадцать, Сатановский остановился и громко позвал Валерия. Тот не откликнулся. Шагая дальше, Аркадий со страхом подумал: хорошо, что не откликнулся, успел, видимо, далеко отойти. Вернись Валерий, что бы он, Аркадий, ему сказал? Не стал же бы он спрашивать о ней, о той девушке, — где работает, где живет? Валерий тут же поднял бы его на смех. Гляди, сказал бы, бригадир влюбился с первого взгляда. Да он и так уже это сказал, при ней...

«Как же, — продолжая шагать вечерней улицей, сам у себя спросил Сатановский, — может, и вправду — с первого взгляда, а?»

5

В первые дни Аркадию в санатории не повезло. Во-первых, — погода. Со стороны моря, неустанно набегая, одна на другую громоздились низкие, сырой теменью набухшие тучи и монотонно, не переставая лило, как если бы не лето стояло на дворе, а была поздняя промозглая осень. Во-вторых, — жилье. Комнату предложили ему одну на двоих. «У нас и по трое-четверо в одной комнате живут», — сказала ему при этом старшая сестра. И это было бы вовсе не плохо. Ему даже показалось странным: чем это заслужил он у этой довольно молодой еще женщины с высоко взбитой ярко-рыжей прической такую честь, и вежливо поблагодарил ее.

— Благодарить будете позже, — ответила старшая сестра, и ему почудилось, что она при этом едва заметно сама себе улыбнулась.

Значение этой улыбки Аркадию понятно стало позже, когда он поднялся на третий этаж санаторного корпуса и вошел в указанную ему комнату. Была она на удивление мала, эта комнатушка, единственным окном выходящая на север, так что солнца здесь и не видеть. Ну, это еще куда ни шло, подумал Аркадий, не обязательно, чтоб солнце шло к тебе, ты можешь пожаловать к нему. А вот сосед... Очень это важно ведь, с кем придется тебе делить здесь кров. Аркадию хотелось бы, чтоб это был по возможности человек его возраста, сходных интересов, чтоб нескучно провести время. Но на одной из двух узких кроватей у окна сидел почтенных лет человек в сетчатой белой майке, коричнево-полосатых пижамных брюках и темных носках. Перед приходом Аркадия он то ли собирался прилечь, то ли только что встал. Взяв с тум-

бочки очки в темной оправе, человек оседлал ими солидный нос и с любопытством глянул на вошедшего. Любезно ответив на его приветствие, гостеприимно предложил:

— Пожалуйста, располагайтесь! — И тут же добавил: — Если не ошибаюсь, вы будете моим соседом?

— Да, — неопределенно ответил Аркадий. Никакого желания располагаться у него не было. Первая его мысль — тут же сбежать вниз и просить предоставить ему другое место, пусть в комнате на трех, четырех человек, так не по душе показались ему и эта тесная каморка, и пожилой ее обитатель. Но тот сквозь очки с таким добродушным видом разглядывал его, что уйти, ничего не сказав, было неудобно. — Давно вы здесь? — спросил Аркадий.

— Три дня, — ответил тот. — Из них два в этой палате.

— А первый день? — спросил Аркадий просто, чтоб что-то сказать.

— О, тут небольшая история, — ответил пожилой. — Я сейчас вам ее расскажу. Присядьте, молодой человек, чего вы стоите?

Аркадий присел.

— Собственно говоря, ничего особенного, — продолжал обитатель «палаты», как он ее называл. — Но коль вас сюда направили и вам предстоит быть моим соседом, вы должны это знать.

— Что именно? — заинтересовался Аркадий.

— Я должен кое о чем вас предупредить...

— О чем же?

— Понимаете, — человек пересел с кровати на стул, — у меня некоторым образом — болезнь...

— Болезнь?

— Но не пугайтесь, ничего опасного.

— Что за болезнь?

— Собственно говоря, и не болезнь даже. Так — дурная привычка.

— Какая?

— Понимаете, ночью... — Как бы стесняясь чего-то, человек опустил глаза и проглотил какое-то слово, будто захлебнувшись им.

— Что? Что — по ночам? — переспросил Аркадий и подумал: уж не лунатик ли этот человек, с которым ему предстоит прожить вместе санаторный срок?

— По ночам я... храплю...

— Только и всего?

— Да, но здорово, говорят, храплю... Сам-то я ведь не слышу...

И тут же поведал: три дня тому назад прибыл он в этот санаторий и его устроили в большой светлой комнате, в которой кроме него было еще три соседа. Все — порядочные, солидные люди. Сразу познакомились, друг другу пришлось по душе, прекрасно провели вечер. На завтра с утра старшая сестра попросила его зайти к ней и с огорченным видом заявила, что на него жалуются. Кто? Соседи. «Как? — изумился он. — Так хорошо провели вчера вечер». Да, сказала сестра, но ночью никто из них глаз не сомкнул из-за его храпа... «Что же мне с вами делать? — вслух подумала сестра и тут же предложила: — На третьем этаже есть у нас небольшая комната на двоих. Она еще не занята. Я вас помещу туда, а потом подселю кого-нибудь из молодых, с крепкими нервами, из тех, что спят и снов не видят...» Он согласился.

— И вот, — продолжал человек, — провел я здесь два дня один, как вельможа какой-нибудь. По правде сказать, не возражал бы, чтоб так и было весь срок. Тихо, спокойно. Никто не мешает мне, и я никому не мешаю. Что еще надо человеку моих лет? Но вот пришли вы, молодой человек, и я вас предупредил...

— Благодарю, — сказал Аркадий. Теперь ему полностью ясен стал смысл улыбки старшей сестры и ее слова о том, что благодарить он будет позже.

Аркадий поднялся.

— Посидите еще, — предложил ему собеседник и, улыбаясь, добавил: — Хотите, я вам скажу, что вы собираетесь сейчас делать...

— Что?

— Немедленно бежать к рыжей сестре...

— И?

— И сказать ей, что вам не понравилась комната, она слишком мала, и не понравился сосед, он слишком стар, к тому же еще храпит, — и просить, чтоб вас поместили в другое место, пусть даже на трех-четырех человек... — Серые глаза за очками пожилого человека благодушно улыбались. — Угадал?

— Почти, — улыбнулся и Аркадий.

— Люблю, когда говорят правду! — воскликнул пожилой.

— И я это люблю, — признался Сатановский.

— Чего же вы стоите, молодой человек? Почему не бежите к рыжей сестре? Вы можете опоздать...

— Я передумал, — неожиданно для самого себя ответил Аркадий.

— Вы хотите сказать, что вам понравилась комната?

— Комната — нет. А вот сосед... Он мне начинает нравиться.

— Хотя он и такой пожилой?

— Может быть, именно поэтому.

— И хотя он храпит?

— Это неважно.

— А вы, молодой человек, мне понравились, как только вошли...

— Так будем знакомы?

— Будем!

— Аркадий Сатановский.

— Гринбойм, — сказал пожилой. — Если хотите, Семен Евсеевич, — и пожал протянутую руку Аркадия с силой, которую тот в нем не предполагал. — Откуда? — спросил Гринбойм.

— Из Биробиджана.

— И я оттуда! — воскликнул с обычной при встрече земляков радостью Семен Евсеевич. — Где работаете?

— На комбайностроительном. Бригадир.

— Такой молодой — и уже бригадир?

— Не такой уж я молодой. Разменял шестой год третьего десятка. И бригада у меня — комсомольско-молодежная. А вы?

— Много лет работал на мебельной. Теперь на пенсии.

— Одним словом, да здравствуют старые и молодые кадры! — засмеялся Аркадий.

Назавтра в вестибюле остановила его старшая сестра.

— Как спалось?

— Отлично!

— Сосед не мешал?

— Ничуть!

— Видите, как хорошо получилось! — открыто на сей раз и с довольным видом улыбнулась старшая сестра.

— Но как вы догадались, что я сплю и снов не вижу? — спросил Аркадий.

— Мало тут людей перебивало, — ответила та. — Наметанный глаз...

— Один за другим, то радостней, а то и не без некоторого уныния, грусти, как это бывает на первых порах, потянулись дни в санатории. Немало времени отнимали, как обычно, процедуры. Правда, у Сатановского они сводились к минимуму. Будучи практически здоров, он нуждался только в отдыхе. Зато у Семена Евсеевича хватало их, как и порошков, пилюль, лекарств от его стенокардии, гипертонии, гастрита и еще каких-то накопившихся за жизнь болезней. Счастье еще, думал Аркадий, что сосед его — что было не совсем обычно для человека его возраста — о болезнях не любил говорить.

— Полагаю так — говаривал Гринбойм, — чем меньше о болезнях говоришь, тем меньше они тебе досаждают.

Что касается лекарства, у него было правило — делить его на два, а то и на три раза.

— Что это значит? — не понял Аркадий.

— Очень просто, — пояснил ему тот, — мне прописано принимать три порошка в день, я принимаю один; две пилюли за раз, я — одну; микстура ежедневно, а я ее — через день...

— Вы не доверяете врачам? — спросил Аркадий.

— Почему? Я им очень даже доверяю, но их много, а я один... — Сказав это, Семен Евсеевич широко улыбнулся, на полноватом лице его у глаз собрались морщинки, и что-то одновременно и лукавое, и детски игривое засветилось во всем его облике.

Аркадию это нравилось. И вообще с каждым днем стал он улавливать что-то новое, ранее не замеченное, что нравилось ему в его пожилом соседе — этом крепыше с жестковато-седой головой и полным ртом собственных зубов, по поводу которых он никогда еще не обращался к врачу.

Чем в жизни пришлось ему заниматься? — так Семен Евсеевич ответил вопросом на вопрос, который Аркадий вскоре после их знакомства ему задал, и сказал:

— Было когда-то у евреев такое присловье: «Ремесел не счесть, а нечего есть...» Так оно и было в прошлом. Но уже мое поколение, а последующие и подавно, повернули это присловье другой стороной: «С каждым ремеслом — радость в дом».

— О себе рассказал: родом он из маленького местечка в Подолии, на Украине. Местечко затерялось среди уто-

пающих в фруктовых садах украинских сел. Прекрасные места! Но что с того, коли отец был бедняком из бедняков, как и большинство евреев в тогдашних местечках. И что удивительного? До революции евреям доступ в большие города был запрещен. Исключение делалось только для богатых купцов, таких, как Бродские и им подобные. На земле трудиться не разрешалось. Оставался — воздух... И появились печально известные «люди воздуха», которых так хорошо описал Шолом-Алейхем... Вот и мой отец — ни профессии, ни работы. А детишек полон дом. Все есть хотят, а есть нечего... Чуть подрастет мальчуган, сразу его — к сапожнику, к портному в даровое обучение... Его, Семена, отдали столяру.

— И вы научились столярничать? — спросил Аркадий.

— Произошла революция. Начали доходить к нам вести о далеком крае, где организовывается новый национальный район. Там, узнали, местечковые евреи, такие, как мы, получают возможность достойно жить — их обучат трудовым профессиям, дадут землю и, главное, обеспечат будущее их детям. Конец нищете, беспомощности, конец «людям воздуха», жизнь станет на твердую почву. Поднялись и — в путь! В Тихонькую — так тогда именовалось это место — прибыли с одним из первых эшелонов. А тут их ждали тайга, кочка, мошкара... Места, которых и во сне не видали, слова, которых и слыхом не слыхали. Иные испугались и — на попятный. А мы, как и многие другие, осталась, засучили рукава. Конечно же набедовались — жили поначалу в палатках, начали корчевать деревья. Столярничать было рано, плотники требовались. Я стал плотником. Потом каменщиком, затем штукатуром, а со временем и маляром. Одним словом — строитель.

Гринбойм повернулся к молодому соседу:

— Не надоело вам слушать эти старые истории?

— Нет, нет, — ответил тот, — я ведь родился в этих самых местах, когда тут уже был город, настоящий город. И знаете, — добавил он, — с тех пор как я стал себя сознавать, чувствую себя как бы должником перед такими, как вы, перед теми, что прибыли сюда первыми...

— Если ты хорошо работаешь у себя на заводе и неплохо руководишь своей бригадой (незаметно для себя Гринбойм стал говорить своему молодому соседу «ты»), знай — ты исправно платишь свой долг. И если тебе дей-

ствительно интересно то, что я рассказываю, слушай дальше.

И он продолжал:

— Я вырос крепким парнем, влюбился в переселенку из наших же мест. Не девушка — золото! Работала она в колхозе на Амуре. Вскоре мы поженились, и переехал я в колхоз. А тут нужны трактористы. Стал трактористом. Со временем — механиком в МТС.

Гринбойм остановился.

— Сколько ремесел моих ты насчитал?

— Пальцев не хватает на обеих руках, — усмехнулся Аркадий.

— То-то же! И что ни ремесло, то новая радость в дом. А дом — полная чаша. Жили уже к тому времени хорошо. Колхоз растет, богатеет.

Нахмурившись, Гринбойм вдруг умолк. Затем спросил:

— Ну, а о солдатском деле как ты полагаешь: ремесло оно или нет?

— Да еще какое! — ответил Аркадий.

— Всем ремеслам ремесло... Чтобы только никогда больше нужды в нем не было... И ему я отдал свыше четырех лет — с первых дней войны до последних. В Берлине я войну и прикончил. Ну, а затем — на закуску — Маньчжурия...

— В каких частях служили вы, Семен Евсеевич?

— В артиллерии.

— И целы остались?

— Как видишь. Трижды был ранен, один раз — тяжело, дважды контужен. Но голова, руки, ноги целы...

Гринбойм снова надолго о чем-то задумался, затем, как бы очнувшись, продолжал:

— А потом, знаешь, настал мир. Меня ждали жена, дети, колхоз. Вернулся сюда. Но после полученных ран на тракторе уже трудно было работать. И я решил, что пришло время заняться самой первой моей профессией — столяра. Люди получали новые квартиры, старались лучше их обставить. Вернулся я в город, поступил на мебельную фабрику и проработал тут ни много ни мало — больше двух десятков лет, до самой пенсии.

Помолчав, добавил:

— На пенсию выпроводили меня с большим почетом — с грамотой, подарками. А на фабрике я до сих пор свой человек. Бесплатную путевку в этот санаторий тоже дала мне фабрика.

Рассказывалось все это в длинной аллее сомкнутых густыми кронами высоких тополей. Семен Евсеевич и Аркадий любили здесь прогуливаться перед ужином. Аллея упиралась в широкую балюстраду, отсюда несколько маршей довольно длинной лестницы вели на пляж.

Пляж опустел. Веяло предвечерней прохладой. Спокойной нечастой волной море ласкалось к берегу, неся на себе пурпурные отблески заходящего солнца.

— Спустимся? — нарушил молчание Аркадий.

— Спуститься можно, — ответил Семен Евсеевич, — но потом ведь надо будет и подняться?

— И что же?

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты сам себе ответишь на этот вопрос.

Аркадий рассмеялся.

— Знаете, Семен Евсеевич, — он положил ему руку на плечо, — я иногда забываю, что мы с вами не одного возраста.

— Почитаешь ты старших, нечего сказать...

— Да нет же, вы совсем еще молоды душой!...

— Душой-то, может быть, и молод, — ответил Гринбойм, — а вот брэнное тело...

— Не такое уж оно и брэнное, — возразил Аркадий. Они повернули в аллею.

— Уже идут на ужин, — заметил Аркадий.

— Пора. А что сегодня в клубе? — спросил Гринбойм.

— Танцы.

— Ну, тогда — без меня. Не лежит у меня душа к нынешним танцам. Даже смотреть на них не хочется. Ты пойдешь?

— Нет.

— Почему?

— И я от них не в восторге.

— Ты? — удивился Гринбойм. — Молодой человек — и чтоб не нравились современные танцы?

— А чему вы удивляетесь?

— Мне не нравятся нынешние танцы, все эти шейки и прочее, потому что я пожилой человек, знаю другие танцы, которые мне больше по душе. Но ты?

— Видите ли, в чем дело, — после некоторого раздумья ответил Аркадий, — многие, очень многие, особенно среди молодежи, — да и не только, — привыкли при-

нимать все как есть, не задумываясь, не задаваясь вопросом — что, откуда, почему?

— А ты?

— И я не всегда, но иногда задумываюсь: откуда то или иное явление в жизни, где его корни? Например, все эти шейки, как вы говорите, и прочее.

— И до чего же ты додумался?

— Не знаю, смогу ли я вам это объяснить, — сказал Аркадий, — но и мне эти танцы не по душе. Может быть, потому что не под нашим небом родились.

— Откуда же взялись?

— Откуда? С чужого берега. И занесены к нам чужим ветром.

— Ты так полагаешь?

— Да, занесены к нам из чужого и чуждого мира... Мира, в котором люди охвачены страхом перед завтрашним днем, да и день сегодняшний их мало устраивает. Только там, в таких условиях, могло родиться это бессмысленное топтание на месте, эти дикие экивоки, эта трясушка друг перед дружкой... Люди как будто вместе, но в то же время разъединены... Нам же нужно совсем другое — гармония, пластичность, выражающие уверенность, силу... Почему вы молчите? — повернулся Аркадий к своему спутнику.

— Я слушаю тебя, слушаю, — ответит тот.

— Согласны вы со мной?

— По правде говоря, над этим я никогда не задумывался, — сказал Семен Евсеевич, — но сдается мне, что в том, что ты говоришь, есть какой-то резон.

Аркадий никогда раньше не подумал бы, что между ним и его пожилым соседом есть так много общего. Все более сникало впечатление о нем как о старике, каким он ему показался при первом знакомстве. Словно по какому-то волшебству, Семен Евсеевич Гринбойм в глазах Аркадия с каждым днем становился моложе... Душа в нем и впрямь еще была молода. Это давало себя знать то в озорном взгляде, то в крепком рукопожатии, то в смехе... Вместе с Аркадием не пропускал он ни одного концерта в клубе, ни одной экскурсии, лекции. Лишь на танцы в клуб не ходил. Еврейский «фрейлехс», украинский гопак он и теперь еще может сплясать на диво, а вот нынешние танцы — они не по нем. И порадовало его, что неприязнь к ним разделяет и молодой его сосед. Это было даже для него неожиданно, как для того было неожидан-

ным согласие с ним Семена Евсеевича во многих вопросах.

То и дело видя их вместе, отдыхающие удивлялись, что общего между этими людьми? О чем они так заинтересованно рассуждают? Иные полагали, что они — отец и сын. Молодые женщины, особенно те из них, что были в санаторий недавно и не имели еще своей компании, встречая Семена Евсеевича и Аркадия, пожимали плечами: такой молодой, ладный — и все время проводит со стариком... Одна из таких женщин, случайно оказавшись на пляже рядом, болтая о том о сем, наконец спросила:

— Скажите, почему вы все время разгуливаете с этим пожилым?

— А вы заметили?

— Это всем бросается в глаза.

— И что же?

— Неужели вам с ним интересно?

— Представьте.

— Интересней, чем, скажем, могло быть с какой-нибудь молодой женщиной?

— Такой, как вы?

— Хотя бы...

— Но меня не интересуют женщины, которые сами напрашиваются...

— Нахал! — крикнула та, прихватив свои одеянья...

Вместе с Семеном Евсеевичем Аркадий поднимался по ступеням в людный вестибюль. С ними поравнялась молодая блондинка в белоснежном платье. Место ее было за соседним столиком, они иногда обменивались парой-тройкой малозначащих фраз.

Поздоровались.

— Не правда ли, сегодня был чудесный день! Впервые за всю неделю, — проговорила блондинка.

Аркадий кивнул.

— В клуб на танцы сегодня пойдете? — спросила она.

Семен Евсеевич:

— Если вы имеете в виду меня...

— И вас, — улынулась ему блондинка.

— То я вынужден вас огорчить — меня в клубе сегодня не будет...

— А вы? — обратилась та к Аркадию.

— Не будет и меня.

— Почему?

— Нет охоты...

— Извините, — сказала женщина и прошла вперед.

После ужина Аркадий и Семен Евсеевич еще прогулялись по аллее, затем поднялись в свою комнату. Она была так мала, что между двумя кроватями оставалось место только для тумбочки. Настольная лампа на ней из-под зеленого абажура освещала газеты и книги.

И на этот раз оба допоздна читали в постели, пока Семен Евсеевич первым не положил свою книгу, сказав:

— Спать будем, что ли?

— Пора, пожалуй, — ответил Аркадий. Спустя несколько минут и он отложил книгу и выключил свет.

Через некоторое время в мгlistой тишине комнаты послышалось:

— Аркадий...

— Что?

— Не спишь?

— Нет.

Вновь — тишина. Затем:

— Если начну сильно храпеть, Аркадий, толкни меня в бок, да покрепче. Слышишь?

— Зачем?

— Я повернусь на бок, а на боку не так...

— Да спите спокойно, Семен Евсеевич, — усмехнулся Аркадий, — и храпите на здоровье хоть до потолка, кого это трогает?

— Вот соседа мне бог послал! — воскликнул Гринбойм. — От родной жены никогда таких слов не слышал... Спокойной ночи...

7

В окно веяло прохладой. Влажно поблескивали густые кроны над аллеей. С высоты третьего этажа видно было, как в отдалении трепещет море. В чистом — без облачка — небе сияла полная луна, и отражение ее делило водный простор светлой дорожкой...

Внизу, в притененном столовом зале, Аркадий и Семен Евсеевич давно выпили свой кефир, покончив, таким образом, с последней, как это считалось, «процедурой» санаторного режима дня, поднялись к себе наверх и, не зажигая света, загляделись в окно. Хотелось, ничего не делая, долго так стоять, сливая свое дыхание с дыханием ночи. Хотелось ни о чем не говорить, а коли гово-

рять, то о чем-то затаенном, таком, о чем в другое время опасаясь и думать...

— О ком задумался, Аркадий? — тихо спросил Гринбойм.

— Обязательно — о ком?

— О чем?

— Так. Ни о чем.

Помолчали.

— Хочу спросить у тебя, Аркадий...

— Спрашивайте.

— Не обидишься?

— На вас? Никогда.

— Почему?

— Обидеться можно на чужого, когда тот пытается лезть тебе в душу.

— А я?

— Вы... — Аркадий присел на край кровати. В мгlistой полутьме комнаты видны были только контуры лиц, и Аркадию легче было сказать то, что он хотел: — Вы, Семен Евсеевич, не чужой. Может показаться странным, — не прошло еще и двух недель, как мы знакомы, но вы стали мне за эти дни родным, как... — У Аркадия слегка дрогнул голос. — Как отец, — закончил он.

Гринбойм:

— Как ты сказал?

— Как отец...

— Что ж, три сына у меня, — ответил Гринбойм, — все уже живут своими семьями. Ты будешь четвертым, мизиником¹.

— Не возражаете?

— С чего бы я стал возражать? Тем более... Сказать тебе правду?

— Говорите.

— Тем более, что ни один из моих сыновей, будь они теперь со мною здесь, — а все они меня любят и уважают, — не оказал бы такой чести, какую мне оказываешь ты...

— Не понимаю.

— Вот об этом и мой вопрос. — Гринбойм прошелся раз-другой по комнате, присел и дотронулся до колена своего молодого соседа. — Все время ты проводишь со мной. В клубе, по терренкуру — всюду вместе.

— И что же?

¹ Самым младшим (евр.).

— За честь, которую ты мне оказываешь, благодарю. Без тебя мне было бы тут намного скучнее. Но какого черта, не пойму, возишься ты со мной? Я ведь старый хрыч, которому пора на свалку, а ты молодой парень в полной силе. В самый раз тебе парубковать, как говорили у нас на Украине.

— Парубковать? Что это значит?

— С девушками гулять, вот что это значит. Думаешь, не вижу, как девушки, молодые женщины сами напрашиваются познакомиться. А ты — как будто не о тебе речь...

— В том-то и дело, — ответил Аркадий, — что напрашиваются.

— И что же?

— Мне такие неинтересны.

— Тебе интересны такие, к которым самому надо напрашиваться?

— Это бы еще куда ни шло.

— Но ты ведь не делаешь этого. Я мог бы еще понять, — продолжал Гринбойм, — будь ты слабый от рождения или какой-нибудь урод. Так нет же! И судя по тому, что ты рассказываешь о своей бригаде и ее делах, вы все там не рохли. А ты, бригадир, среди них первый — парень хоть куда! Но вот не пойму: как только дело доходит до прекрасного пола, кони как станут под горой — и ни тпру ни ну? В чем дело, Аркадий?

— На все, Семен Евсеевич, есть свои причины.

— Это я понимаю — без причины лист с дерева не упадет. В чем же причина?

— А вы думаете, всегда это легко объяснить?

— Как хочешь, я не настаиваю. Но меня это удивило, вот и спросил. Не обижайся, пожалуйста.

Аркадий долго стоял у открытого окна, глядя поверх аллеи на спокойное море, на две половины его, разделенные лунной дорожкой.

— Об этом не люблю говорить, — сказал он наконец, — никому об этом не рассказываю. Но вам...

Малорадостную историю поведал Аркадий своему соседу.

Рос и воспитывался он у бабушки. Родители были заняты другими людьми, как та ему объяснила. Отец — геолог, месяцами, иногда по полгода, не бывал дома, а пропадал в своих экспедициях, где-то, как говорила бабушка, «у черта на куличках». Возвращался он ненадолго, но и тогда не сидел дома. «Где его только по-

сит?» — недоумевала старая женщина и с обидой говорила:

— Что делать мне, матери, если я в кои-то веки хочу хоть немного поглядеть на родного сына?.. — И добавляла: — Больше-то ведь у меня ничего нет...

Муж ее, дед Аркадия, и два старших сына, дяди его, не вернулись с войны. Он остался один у нее, самый младший — отец Аркадия. И еще выговаривала она сыну:

— Почему бы тебе хотя немного не побыть с Аркашей? Бросили на бабушку и успокоились. А где отцовская, где материнская ласка?

Да, и материнской ласки Аркаша тоже был лишен. Красивая стройная женщина с высоко взбитыми светлыми волосами, одетая, как говорила бабушка, «по самой последней моде», — такой Аркадий помнил свою мать. Она всегда была слишком занята своей работой в правлении строительного треста — в разные годы на разных должностях: секретарь-машинистка, калькулятор, помощник бухгалтера. Аркадий был еще совсем ребенком, когда мать, бывало, забежит после работы на минуту к бабушке, схватит его на руки, расцелует в обе щечки и убежит. До того еще успеет сказать: «Надеюсь, мамаша, с Аркашенькой все в норме?»

Все было с ним «в норме». Теплой водой бабушка смывала с Аркашиных щечек следы покрашенных губ, недовольно ворча о «нынешних матерях» и недоумевая: «Куда они вечно бегут, вечно торопятся?»

Одно из самых ранних воспоминаний Аркадия: он взлетает вверх, высоко взлетает, почти до потолка, и тут же опускается на крепкие мягкие руки... Это руки отца. Взлет — и снова подхватывают его эти надежные руки... У него захватывает дух от радости и страха, он заливается смехом, и мать — сверху она кажется такой маленькой — смеется тоже...

Так и осталось у него в памяти чувство радости и страха, и звенит в ушах тот счастливый смех...

Но подобное в жизни его больше не повторилось. Не запомнил он больше ни одного случая, когда был у отца или у матери на руках. Зато крепко запомнил другое: он учился уже в пятом классе, когда на вопрос: «Когда же вернется отец?» — бабушка ответила: «Он вернется нескоро, Аркаша. Отец твой уехал в очень далекую экспедицию».

Мать заходила все реже, а когда заходила, ему казалось, что и она где-то очень далеко от него... Поначалу это не очень огорчало, привык он жить без родителей, была бы бабушка, его добрая бабушка, с ним... Но вот стал он замечать в глазах у бабушки слезы.

— Отчего ты плачешь? — спросил он.

— Разве я плачу? Тебе это кажется, дурачок, — торопилась она вытереть слезы.

— Но ты ведь плачешь...

— Это не я плачу, — пыталась улыбнуться старушка, — плачут мои глаза...

— Но почему?

— Старые они, вот и слезятся.

— А почему не слезились раньше?

— Тогда они молодые были...

Но Аркадию стало известно то, что пыталась скрыть от него бабушка. В одном классе с ним учился Санька Окунь — хвастун, ябедник и задира. Никому от него покоя не было. У первоклашек выманивал, а то и просто отбирал мелочь, которую тем давали на завтрак. При одной такой «операции» случайно оказался Аркадий.

— Немедленно отдай деньги, — приступил он к Саньке.

— Покомандуй, — насупился тот.

— Отдай.

— А это видел? — показал Санька кулак.

Аркадий кинулся и подмял обидчика под себя. Из потной сжатой ладони вырвал двугривенный и отдал мальчугану.

— Топай, завтракай.

И спокойно пошел.

— Дратся, сволочь?! — крикнул вслед ему Окунь. — А знаешь ты, где твой отец?

— При чем тут отец?

— А при том...

— Он в экспедиции. В далекой экспедиции...

— В экспедиции? Ха-ха... — Была большая перемена, вокруг собралось много ребят. — Слыхали? — обратился Санька ко всем. И к Аркадию: — Знай же, отец твой больше к вам не вернется. Он бросил твою мать и тебя. Да, да, бросил, бросил, бросил!..

Ярость охватила Аркадия. Он не помнил, как снова кинулся на обидчика. Помнил только, как лежит на нем и молотит, молотит его кулаками... Вдруг ощутил он чью-то крепкую руку, которая оторвала его от Саньки и

поставила на ноги. То был Иван Анисимович, учитель физкультуры.

— Что случилось? — спросил он строго.

— Он говорит... Он сказал...

— Что сказал?

— Что мой отец... оставил нас...

— За это ты его бил?

— Пусть не врет!

— Но отец твой действительно развелся с твоей матерью, — спокойно и просто сказал Иван Анисимович. Сказал как о чем-то обыденном, само собой понятном.

— Как — развелся?

— Да, — еще спокойнее ответил тот, — и все об этом знают.

— Все? — Аркадий стремглав бросился бежать со школьного двора.

Так брошен был первый камень в его ничем еще не испытанное, ничем не защищенное сердце. Велик был камень, мало мальчишечье сердце, застонало, заныло оно под неожиданной тяжестью. Бабушке, однако, ничего не сказал. Тогда уже хватило у него на это ума, сил... Так ей будет легче... Она ведь ему тоже ничего не сказала...

А отец, что же он? Как мог он оставить его, единственного сына, бабушку, мать?

Ночью, сверля темень бессонными глазами, Аркадий давал волю воображению. Вот подрастет он и пустится на поиски отца. Он отыщет его, где бы тот ни был, даже на краю света, и спросит: «Как ты мог?» Только эти три слова и скажет, и — ни звука больше. И отвернется. И уйдет. Отец будет бежать за ним, звать его, пытаться что-то объяснить, но он, Аркадий, даже не оглянется...

Он учился еще в школе, в седьмом классе, когда мать его вторично вышла замуж. Сошлась она с человеком на много старше ее, инженером того самого управления, в котором работала. У того умерла жена, оставив двоих детей — мальчика пятнадцати лет и двенадцатилетнюю девочку. Некоторое время спустя мать явилась в дом бабушки и таким тоном, как будто ничего не случилось, сказала Аркадию:

— Почему бы тебе когда-нибудь не зайти, не познакомиться с братом, сестрой?

Аркадий забился в угол. Выглядывая оттуда затравленным зверенышем, не веря ушам. Как можно произ-

пести такие слова и смотреть при этом так бесстыже и спокойно?

Дико закричав, выбежал он из дома. Он и сам не смог бы объяснить, как вырвалось у него это грязное слово.

— Шлюха! — крикнул он, убегая.

Вырвалось это слово неспроста. Из отдельных намеков бабушки, из того, что пришлось услышать от других, Аркадий многое узнал о матери. Не зря, оказывается, она всегда так тщательно следила за своим внешним видом, туалетом, и не хватало у нее времени, внимания для сына. В долгие месяцы, пока отец пребывал в своих экспедициях, она не скучала. Среди тех, с кем довольно весело проводила время, был и тот инженер, с которым затем сошлась. Связь их тянулась давно, она-то не в малой мере привела к безвременной смерти жену инженера.

И еще известно стало Аркадию такое, что вновь перевернуло все его представления о собственных отце и матери. Отец-то оставил их, оказывается, уже после того, как ему стало известно о связи матери с тем инженером. Более того, отец, как только узнал, решения сразу не принял, предупредил, чтоб с этим было покончено. Мать обещала, но слова не сдержала. Тогда отец оставил их. «Но коли так, — тяжело ворочалось в голове подростка, — отец не виноват. Он обманут. Одна мать — вот кто всему виной...»

Все это и вырвалось в грязном слове, которое он бросил в лицо матери...

А что же он? В равной степени и отец, и мать о нем забыли. Просто забыли... Как будто нет его на свете... Бросили на бабушку, и дело с концом... У матери новая семья, у отца, наверное, тоже. Живут в свое удовольствие и горя не знают... А кому нужен он? Никому... На всем свете — никому... Но если так, назло родителям, бросившим его, назло себе самому и всему свету он оставит учебу. Кому это нужно, чтоб он учился? Для какой цели?

Аркадий перестал готовить уроки, связался с плохой компанией. Стал курить. Пару раз его даже заставили выпить. Со своими новыми друзьями чуть не пойман был в краже, попал в милицию... Из милиции вернули его к бабушке, и тут увидел он, как та осунулась, почернела за те несколько дней, что он не ночевал дома. И он понял: на свете существует человек, которому он небезразличен, у которого болит за него сердце, и этот чело-

век — его бабушка. Он дал слово больше не огорчать ее. Хорошо закончил восьмой класс. Аркадий учился бы дальше, если бы не новое горе — самое большое в его недолгой еще жизни — умерла бабушка. Не стало единственного человека, который нужен был ему и которому — Аркадий знал это — нужен был он. Один он остался, один... А кругом — пустота... Вот что почувствовал он у свежей могилы...

Мать тоже была на похоронах. Подошла к нему.

— Аркаша, будешь жить у нас. — Поправилась: — У меня...

«Никогда», — про себя решил Аркадий. Он разыщет отца, тот ведь ни в чем не виноват. А может быть... Не знал он, что думать, что делать... Одно знал твердо — когда вырастет, на могиле бабушки поставит памятник, и на верху его будет высечен голубь... Хотя нет, каждый день будет приходить он на могилу, рассыпать крошки, и будут летать здесь живые голуби... Голубицей была она, и доброта ее не умрет. Вся без остатка перешла она в него, внука, — единственное утешение в ее старости...

Доброта эта и тогда и позже помогла ему противостоять злу, на которое с первых дней не скупилась для него жизнь.

8

Аркадий умолк. Ночной прохладной свежестью в открытое окно дышали тополя, море.

— А дальше? — спросил Семен Евсеевич.

— Я уехал в другой город, недалеко, и поступил в ФЗУ.

— Почему не в своем городе?

Аркадий ответил не сразу.

— Не хотел встречаться с матерью, с новой ее семьей.

Учился он хорошо. По душе пришлось токарное дело. Станок, большой, громоздкий, пугал его поначалу своей неприступностью.

— А ты его не бойся. Станок не медведь, не укусит, — говорил Прокофий Трофимович.

Легко сказать: «Не бойся!» Прокофий Трофимович, мастер, и сам в первое время чем-то его пугал. Было в нем что-то общее со станком — такой же неуклюже-громоздкий, густые рыжие брови угрожающе топорщатся, голос хриплый, сердитый. Все пугало Аркадия в пер-

вое время, пока не стал понемногу привыкать, и тут оказалось — странное дело — между машинами и людьми есть что-то общее: когда ты их еще мало знаешь, пугают, но стоит с ними немного освоиться, и видишь: они — добрые... Они даже готовы тебя полюбить, как и ты их... Подобное случилось с Прокофием Трофимовичем, или, как все его тут называли, дядей Прошей. Оказывается, хриплый, сердитый голос, угрожающе торчащие брови и усы пугали только поначалу таких новичков, как Аркадий. Стоило заглянуть под сердитые брови в глаза дяди Проши, глаза цвета сильно разведенной синьки, и становилось ясно: перед вами добрая душа... Дядя Проша и стал для Аркадия первым после бабушки человеком, который также согрел его своей добротой.

С новичками любил дядя Проша поговорить после работы. По выходным дням и в общегитие заглядывал. А разговоришься с ним, хочется все-все про себя рассказать. Когда Аркадий дядя Проше — не сразу, отвечая на разные его вопросы, — о себе рассказал, тот, нахмутив рыжие бровищи, заметил:

— Да, браток, с самого начала судьба-индейка тебя не шибко баловала. Но ты, — он положил ему тяжелую руку на плечо, — не тушуйся, не пропадешь. Главное — работу полюби. Тогда и она тебя полюбит, а значит, и люди тебя уважать будут. Это и есть главный вопрос жизни, запомни!

Аркадий запомнил. И он же, дядя Проша, научил его, как любить, а любить — значит хорошо знать работу. Токарный станок перестал сердито грохотать, как на первых порах, и как будто мирно говорил, подсказывал ему: «Хорошо делаешь. Правильно. Так...» А то предупредит: «Так дело не пойдет. Подумай. Еще подумай...» Аркадий подумает, приноровится, глядишь — дело пошло... Его радовало, когда станок, обильно смазанный, как бы лоснился потом, трудяга; он полюбил едковатый запах синеватой стружки, яркий блеск отделанной детали...

— Поверите, — говорил Аркадий Семену Евсеевичу, — ночью, бывало, проснусь, и хочется бежать из общежития в цех, к станку, не случилось ли чего...

Фабрично-заводское училище по общим предметам и по токарному делу Аркадий закончил с отличием, получил рабочий разряд и поступил на завод.

— А об отце, — перебил рассказ Аркадия Семен Евсеевич, — о нем ты что-нибудь узнал?

— Да, — ответил тот. — Я-то его ие искал, он меня

отыскал. Приезжал даже, предлагал переехать к нему.

— А ты?

— Отказался.

— Почему?

— У него к тому времени была уже новая семья. Он просил писать ему.

— Пишешь?

— Нет.

— А дальше?

— Дальше все было бы хорошо если бы не... новая беда.

— Что еще?

— Но это уже — особая история.

— Расскажи.

— Не прохладно вам?

— Хочешь, прикрой окно.

— Слушайте... Однажды, в конце дня, после практических занятий в школе, возвращался я к себе в общежитие, которое было на той же улице. Вдруг заметил: пьяный хулиган пристает к девушке. Та смешно и бесполезно оборонялась футляром для скрипки, который был у нее в руках, а хулиган наступал. Она сделает шаг влево, и он туда же, она вправо, и тот...

— Немедленно убирайся, чтоб духу твоего здесь не было! — вырос перед хулиганом Аркадий.

— А ты кто такой? — пьяно ощерился тот.

— Сейчас узнаешь! — Аркадий приставил к его носу кулак. Подействовало. Хулиган тут же ретировался.

А где же девушка? И ее след простыл... Аркадий усмехнулся — чего бы стала она дожидаться?

Прошло несколько дней, и он снова ее встретил. Аркадий, может быть, и не узнал бы девушку, он почти не запомнил ее лица, запомнил только скрипичный футляр, которым та оборонялась. Но она узнала его, подошла.

— Здорово ты его тогда...

— Кого? — не сразу понял Аркадий.

— Хулигана этого...

— А, — отозвался он, внимательно взглянув на девушку, и добавил: — А ты сама — тю-тю?..

— Страшно испугалась я, убежала... А потом хотела тебя встретить, но не встречала больше. Одним словом, выручил ты меня...

— А теперь?

— Что теперь?

— Выручать тебя не надо?

— Вроде нет, — улыбнулась девушка. — Но если хочешь, проводи меня немного, я живу тут недалеко.

Он проводил ее. Она заканчивала, рассказала девушке, третий курс музыкального училища по классу скрипки. Отец и мать ее ответственные работники. Одна она у них.

Прямые волосы цвета соломы, бледное личико, глаза с прозеленью под длинными ресницами... Небольшая, худенькая. Вся как мыльный пузырь, дунь — улетит... У Аркадия вызвала она почему-то чувство щемящей жалости. Как и на улице одну-то ее выпускают...

Они стали встречаться... Ей, видать, он понравился своим довольно взрослым уже видом. К этому времени заканчивал он ФЗУ, был довольно крепок и мог, как он уже это доказал, защитить такую, как она, от беды. Когда бывал свободен от занятий, Аркадий встречал ее у выхода из училища и провожал домой. Так оно повелось и продолжалось потом, когда, окончив ФЗУ, он стал работать на заводе. Выходные дни проводили вместе в парке. Как-то назвала она несколько книг, о которых Аркадий не знал, и он налег на чтение. Вместе посещали музыкальные концерты. После одного такого дневного концерта в выходной день он проводил ее домой. Недалеко от ее дома внезапно настиг их шумный летний ливень. Они укрылись под высоким тополем, но это их не спасло, они тут же вымокли и мокрые молча стояли, прижавшись друг к другу.

— А почему мы здесь стоим? — спросил вдруг Аркадий.

— А что?

— Мы ведь можем забежать к тебе во двор.

— Не надо.

— Почему? — Он чувствовал, как дрожит ее мокрое плечо. — Если так, я бегу в общежитие, а ты — домой. Простынешь.

— Не хочу.

— Чего же ты хочешь?

— Побывать с тобой. Мне хорошо.

— Но зачем нам мокнуть? Видишь, ливень не перестает. Пошли тогда к тебе.

— Хорошо, — сказала она и выбежала из-под дерева. Он за ней. Вдруг она резко повернулась, бледное лицо, как в слезах, все в струях дождя, и крикнула: — Не беги за мной, не надо! — И тут же стремглав бросилась во двор и исчезла в одном из подъездов.

Аркадий остановился и какое-то время, не двигаясь, стоял, не чувствуя ливня, который припустил еще сильнее, не слыша грома, который раскатисто грохотал над головой. Полный смутных чувств и мыслей, побрел он медленно к общежитию.

Через несколько дней они встретились.

— Ты должна объяснить мне: что случилось? — потребовал он.

— Ничего не случилось, — сказала она.

— Нет, случилось, и я должен знать — что?

Она молчала.

— Может быть, — спросил он, — тут какая-то тайна?

— Может быть, — уклончиво ответила она.

— Тогда я должен ее знать.

— А по какому, собственно, праву?

— Мы знаем уже друг друга не день и не два.

— И что же?

— И между нами не может быть тайн. У меня перед тобой их, по крайней мере, нет.

— У меня одна тайна будет. А в остальном все останется как было.

— Если тайна, — ответил он, — то не может все оставаться как было.

Они стояли в парке, на высоком берегу Амура. Спокойно и мощно катила вниз река свои волны. То вздымаясь на волне, то опадая в отдалении, белела чайкой парусная лодка. Далекие сопки таинственно голубели у горизонта.

— Если между нами останется хотя бы одна-единственная тайна, — повторил Аркадий, — ничего не может остаться так, как было.

И тут же повернулся, ушел. Несколько мгновений Зоя (ее звали Зоей) изумленно смотрела ему вслед. Неужели уходит? Позвала. Не оглянулся. Еще раз:

— Аркадий!

Не остановился. Тогда она побежала за ним. С прерывающимся от бега дыханием настигла его у выхода из парка.

— Подожди же, Аркадий! — выдохнула она тяжело, ухватив его за руки и заглядывая ему в глаза. — Что с тобой? Всегда такой сговорчивый, мягкий...

— Бывают обстоятельства, — жестко ответил он, — когда ни мягким, ни сговорчивым быть нельзя...

— И ты считаешь, что это именно тот случай?

— Да.

— Если так, — сдалась она, — пошли, я все тебе расскажу.

Они вернулись в парк, сели на свободную скамью, и она сказала:

— Мои родители не знают...

— О чем?

— Что мы дружим с тобой.

— Почему?

— Так.

— Но что ты им говоришь, когда поздно вечером приходишь домой?

— Гуляла, говорю. Но не говорю — с кем. Не их работа.

— А они не допытываются?

— Еще как!

— А ты?

— Не говорю.

— Почему?

Она умолкла, затем как-то боязливо глянула на него.

— Понимаешь, родители мои... Ты не подумай, они славные, хорошие люди, но...

— Но?

— Но немного странные.

— Чем?

— Как бы тебе лучше объяснить, — смущенно теребила она край юбки. — Оба занимают крупные посты, мать — по железнодорожному ведомству, отец — в рыбной промышленности. Ну и знакомые их все из этих... — она запнулась, подыскивая слово, — из этих же сфер...

— И что же? — не понял он.

— Ну, у них представления, что и я должна водить знакомство с людьми...

— Из тех же сфер... — закончил за нее Аркадий.

— Да.

— А что, собственно, имеется в виду?

— Такие молодые люди, чьи родители тоже относятся к соответствующей номенклатуре и которым самим предстоит что-то в этом роде. И дача, «Волга» — само собой...

— Так. Может быть, тебе уже и подыскали кого-нибудь из этих «сфер»?

— Может быть.

— А ты?

— Я? — Она как-то растерянно глянула на него и

призналась: — С малых лет только это и слышала и много себе не представляла. И, знаешь, я даже сама себе удивилась, когда ты... Когда ты пришелся мне так по душе...

— Может быть, ты об этом жалеешь?

— Никогда! — вырвалось у нее. Порывисто обняв, она его поцеловала. — Я люблю тебя! — тихо сказала она.

Сказано это было уже не впервые. В другой раз он ответил бы тем же, но теперь он мягким движением снял с себя ее руки и слегка отодвинулся. Во-первых, люди кругом; во-вторых, после того, что он только что услышал, он вдруг почувствовал между собой и Зоей какую-то невидимую, но пугающую преграду. Это было неожиданно для него, он не понимал, что это за преграда, как и откуда возникла. Это предстояло еще выяснить. Неожиданно для Зои он спросил:

— Есть у тебя бабушки, дедушки?

— Не знаю.

— Как это? — удивился он.

— Никого из них я никогда не видела, да и дома не помню, чтоб о них говорили.

— Но все же?

— Родители отца живут где-то далеко, в деревне. За все время, что я себя помню, он ездил туда один или два раза, меня с собой не брал.

— А кто они, родители отца?

— Колхозники.

— А сам что в молодости делал?

— Об этом, — призналась Зоя, — я никогда не думала. Наверное, тоже в колхозе работал.

— А потом?

— Послали его учиться.

— А дальше?

— Дальше он закончил институт, аспирантуру.

— Родители матери чем занимались?

— Отец ее был, кажется, стрелочником. Сама тоже работала в депо. Затем ее послали учиться. Училась в том же институте, что и отец. Там и встретились, поженились. К чему ты обо всем этом выпрашиваешь? — вдруг спохватилась Зоя. — К чему тебе мои бабушки, дедушки?

— Просто так, — ответил он и добавил: — Теперь я начинаю понимать... — И задумался.

— Что ты начинаешь понимать?

— Почему мы мкли с тобой тогда под ливнем...

На его руку она положила свою.

— Не обижайся. Я сказала тебе: мои родители — славные люди, но у них свои странности...

— Страшно другое, — задумчиво ответил он.

— Что?

— Откуда они берутся, эти странности...

Они еще посидели в парке, постояли на берегу Амура, затем он проводил ее домой. До сих пор он никак не мог понять, почему она всегда прощается с ним на углу соседнего дома. Теперь это было ему ясно.

— Что-то у тебя сегодня настроение какое-то смутное, — заметила она, прощаясь.

— Тебе кажется.

— Нет, смутное, смутное, — повторила она, чмокнув его в безответные губы. — Бывай...

Они встречались завтра и послезавтра и еще много раз, но после того разговора в парке он почувствовал, что в их взаимоотношениях, до того таких ясных и чистых, что-то надломилось. Зоя оставалась такой же веселой, жизнерадостной, как будто ничего не произошло. Во всяком случае, она не хотела об этом задумываться. А он думал. Серьезно думал над тем, не следует ли им расстаться. Он даже наметил уже было день, когда это должно совершиться. Он не явится на свидание, и... Но в последнюю минуту спасовал. Он понял, что не может оставить ее одну. Как она, такая слабая, беззащитная, проживет без него, лишенная его покровительства? Его охватывал страх при мысли, что она может оказаться рядом с человеком, которого прочат ей родители, попасть в среду людей, все стремления которых — престижная должность, феешенебельная дача, машина. Она зачахнет среди них... Он этого не допустит.

Позднее Аркадию ясно стало, и ему ясно теперь: то, что он чувствовал к Зое, была жалость, и только жалость, но тогда он еще этого не понимал.

Настало время призыва. Его взяли во флот. Расставаясь, они договорились с Зоей, что она его будет ждать. Он писал ей, она ему. И тем дороже ему были эти письма, что больше ни от кого он весточек не получал.

Служил он исправно, с товарищами по службе сжил-ся, командование его ценило. Все шло хорошо до того времени, когда от Зои перестали приходить письма. Случилось это на третьем году службы.

Прошел месяц, другой — ни слова. Письма свои он слал ей до востребования. Теперь они оставались без

ответа. И не у кого спросить, не у кого узнать. Беспомощность эта мучила его больше всего. Что же случилось, что стряслось? Он ничего не знал. Ясно было — любовь его идет ко дну... Она за бортом, вот-вот поглотит ее набежавшая волна... А он? Что делает он для ее спасения? Ничего... Безучастно взирает с палубы... А надо ведь любовь спасти! И ринулся он как головой в воду — написал родителям Зою. Адрес их он знал. Вместе с Зоей, писал он, учился в музыкальном училище (соврал, но что поделаешь?). Изредка переписывались. Но вот от Зои давно нет писем, и он просит сообщить, не случилось ли с ней чего...

Вскоре пришел ответ. Крупным, четким почерком человека, досконально знающего, что в жизни можно и чего нельзя делать, Зоина мать отвечала: да, случилось — Зоя вышла замуж. Она живет теперь в другом городе. Новый адрес ему ни к чему. Она надеется, что ни Зою, ни их, ее родителей, он никогда больше беспокоить не будет.

Все померкло вокруг. Станным образом, как при солнечном затмении, изменилось — не те дома, деревья, люди... Все кажется в перевернутом виде... Но затмение длится минуты, а это — на всю жизнь... И точно так же, как в детстве, когда родители оставили его, Аркадию стало казаться, что земля выскальзывает из-под ног, он теряет равновесие, и все, все теряет значение, смысл — и прежняя работа его на заводе, и теперешняя служба на флоте, и вся последующая жизнь. Во время ночной вахты ему подумалось: а зачем, собственно, тянет он лямку? Подойти вот к краю палубы — и конец. Ради чего жить? Родная мать его предала. Отец — тоже. Теперь — Зоя... Люди, которых он больше всех на свете любил...

Товарищи по службе заметили, что с Аркадием происходит неладное. Заметил это и заместитель командира корабля по политчасти капитан Андреев — светловолосый и голубоглазый крепистый крепыш — любимец экипажа.

— Что приуныл, матрос? — спросил он Аркадия и пригласил его к себе. — Знаю, — сказал, — перестал получать письма, в этом — причина?

Аркадий вначале отнекивался, затем выложил все — о Зое и ее письмах, о письме Зоинной матери — как перед старшим братом, если бы такой брат у него был. Замполит слушал его не перебивая, затем, побарабанив пальцами по столу, поднял глаза, светлые, по-доброму задумчивые, и сказал:

— Все понял, матрос! Теперь тебе кажется небо с овчинку, да? Все прахом пошло, так, что ли?

Аркадий подтвердил это немым взглядом.

— Я ни в чем тебя не собираюсь убеждать, — продолжал замполит. — Жизнь сама покажет, что ты не прав, и со временем ты все правильно поймешь. Об одном хочу спросить: Зою ты любил?

— Да.

— А теперь?

— И теперь.

— И как ты думаешь, — замполит прищурил глаза, — достойна она такого твоего чувства?

— Она очень нежная, — ответил Аркадий, — нежная душа и слабая...

— Допустим, что так...

— Я уверен, — сказал Аркадий, — родители уломали ее... А противиться им у нее сил не хватило...

— Так или этак, но то, что она совершила, имеет название...

— ?...

— Предательство.

Аркадий молча опустил голову.

— А коли человек на такое способен, — говорил далее капитан Андреев, — не важно, по слабости характера или по врожденной подлости, — он мог бы предать и позже.

Аркадий широко раскрытыми глазами уставился на замполита.

— Скажу больше, — продолжал тот, — в том, что теперь с тобой произошло, кроется, возможно, твое счастье. Не делай только таких больших глаз...

— Счастье? — Аркадий недоумевал.

— Да, счастье. И знай: теперь, в эту минуту, ты не допускаешь даже такой мысли. Но со временем поймешь, убедишься. И вот тогда-то, когда это случится, — когда бы то ни было — вспомни: тебе это предсказывал замполит Андреев. — Он встал, подал Аркадию большую теплую руку и добавил: — Тебе осталось меньше года служить, а потом перед тобой еще целая жизнь. В жизни все будет — и хорошее, и плохое, но, что бы ни произошло, никогда не вешай нос и не теряй надежды. Запомни это.

Три человека накрепко запечатлели свой след в душе Аркадия: бабушка, мастер Прокофий Трофимович и замполит Андреев.

Семен Евсеевич сидел напротив с полуприкрытыми глазами.

— Вы спите? — спросил Аркадий.

— Нет, нет, — ответил тот. — Как можно? Я слушаю: что же дальше?

— А дальше я закончил службу, вернулся в родной свой город и поступил на завод, на котором и теперь работаю.

— А почему не вернулся в город, где работал до службы?

— Там бы все мне напоминало о ней...

— Ты все еще любил ее?

— Да. Теперь я понимаю, что тогда это было у меня больше чувство жалости, как к маленькому беспомощному ребенку...

— Ты пытался ее искать?

— К чему?

— Ну, а почему вернулся в Биробиджан? Ты мог ведь поехать в другой город?

— Да, собственно, родного дома у меня здесь не было, меня тут оставила родная мать. Но улицы, дома тут были для меня родными, я с ними вместе рос... И могла родная была у меня тут...

— Бабушкина?

— Да.

— Ты поставил надгробье?

— Да.

— С голубкой?

— Детские фантазии. Но могильщику я заплатил, чтоб приносил на могилу цветы. И сам прихожу.

Семен Евсеевич поднялся, подошел к окну.

— Гляди, уже светает...

Гладкая, без малейшей зыби, поверхность моря как бы дремала под чуть порозовевшей полосой у горизонта.

— Да, заговорились, — сказал Аркадий. — А виноваты вы, Семен Евсеевич.

— В чем же?

— Вы из тех людей, перед которыми можно излить душу.

— А ты, видать, уже давно этого не делал? Есть у меня к тебе еще один-два вопроса, — заметил Гринбойм, — но отложу их до завтра. А теперь — спать.

— Вы ложитесь, — сказал Аркадий, — а я все равно не засну. Пройдусь.

— Как хочешь...

Когда Аркадий вышел, Семен Евсеевич, укладываясь под одеяло, думал: «Так молод еще, а сколько уже выпало на его долю... А ты в его годы? — спросил он себя и мысленно ответил: — В чем-то было мне труднее, а в чем-то и легче». Жизнь, работа, быт — все это было несравненно труднее, зато он иного горя не знал. Родители, хотя и в бедности, подняли большую семью, и каждое дитя им было дорого. Он сам влюбился в славную девушку, женился на ней, создал свою немалую семью. Все живут, здравствуют, трудятся — нечего жаловаться. Правда, на долю их поколения выпала небывалая война...

В уже засыпающем мозгу Семена Евсеевича мелькнула мысль: каждому времени суждены свои радости, свои горести. Каждому поколению — свое.

В окно струилась утренняя прохлада. Семен Евсеевич выше натянул одеяло.

9

— Ну и печет же, огонь! — проговорил, быстро перебега по раскаленному песку пляжа, Семен Евсеевич.

Среди немыслимого нагромождения голых мужских и женских тел разной степени загорелости с трудом пробрался он к месту, где была сложена одежда Аркадия и его. Тут сразу сунул ноги в тапочки, нестерпимо жгло пятки. Обхватив руками мокрые колени, огляделся. Хорошо... Небо, море, земля — все это для твоего блага, человек!... В этом месте суша большим треугольником врезалась в море. Казалось, измученная зноем и жаждой земля протянула к воде длинный, шершавый от сухости язык — это и был пляж. От санатория добирались сюда по заливу катером. С утра до вечера хлопотливо пыхтел он мотором, перевоза отдыхающих из санатория на пляж и обратно.

Семен Евсеевич с удовольствием растянулся на песке. Бездонным голубым безбрежьем опрокинулось небо над ним, и казалось удивительным, как столько голубизны удерживается там, в высоте, не падает и не затопливает собой землю... Еще более удивительным было, как удерживаются там, в вышине, эти бесчисленные ряды белых облачков. Они залегли там недвижно, и казалось — именно от них нисходит на землю этот глубокий, ничем не тронутый покой...

Семен Евсеевич прикрыл глаза. Но вскоре из боязни задремать поднялся и глянул на море. Оно все горело,

насквозь было пронизано солнцем. Солнце в нем играло, бултыхалось... Тут и там оно взбрызгивало веерами летучих искр, и это создавало еще большее впечатление какой-то праздничной оргии двух стихий — солнца и моря...

Глядя на пловцов, Семен Евсеевич с грустью подумал: прошло время, когда и он мог кинуться в волны и отдаться их яростному произволу. Теперь он едва намочил ноги, стоя у самого берега... Гипертония, стенокардия... Среди приближающихся к берегу пловцов он узнал Аркадия. Любо было видеть, как тот загорел, весь он теперь как бы отлит был из бронзы... А как режет волну...

Аркадий вышел из воды. Прибежал, отряхнулся.

— Почему не плаваете?

— Отплавал свое...

— Без пессимизма можно?

— Это не пессимизм — факт.

Гринбойм сидел в длинных черных трусах, болезненно белея телом, а Аркадий возвышался над ним стройным бронзовым богом в алых плавках.

— До чего хорошо! — воскликнул он. — Я бы не вылезал из воды.

— Плаваешь ты как рыба! — заметил Гринбойм.

— Зря, что ли, служил я во флоте! — Аркадий уселся прямо на песок рядом с Семеном Евсеевичем. Тот ему подмигнул.

— Видишь, нет, кто глаз с тебя не спускает?

— Где?

— Вот справа.

Аркадий глянул в ту сторону:

— Кто это?

— Не узнаешь?

— Нет.

— С соседнего столика. Блондинка.

— И что же?

— Ничего... Эх, Аркадий. Твое счастье, что не приходишься ты мне родным сыном...

— А что было бы?

— Снял бы я ремень да всыпал бы тебе по пятое число...

— За что?

— За то.

— Всыпайте! — Аркадий улегся спиной вверх.

— Черти чтоб тебе всыпали, — засмеялся Гринбойм,

с удовольствием разглядывая всю в светящихся каплях бронзовую спину Аркадия. — Ты не видишь даже, что за красавицы с тебя не сводят глаз...

— А вы — видите?

— Небось не слепой.

Аркадий метнул в старика смеющийся взгляд.

— Смотрите, расскажу вашей старушке, вам не поздоровится.

— Что ж, рассказывай. Рассказывай обо мне. О себе-то рассказывать нечего будет...

Аркадий не ответил. Набрав горсть песка, пропускал ее сквозь пальцы, раз, другой, третий...

Семен Евсеевич тихо, с очень серьезным видом сказал:

— Вот ты вчера кое-что рассказал мне о себе. А помнишь ли, как зашла об этом речь?

— Как?

— Да так: я высказал тебе свое удивление по поводу того, что вообще ты парень хоть куда, а чуть дело коснется женщин, ты — ни тиру ни ну... Это, сказал ты мне, дело непростое, и стал рассказывать...

— Вспомнил, — откликнулся Аркадий и добавил: — Ну вот и рассказал. О матери... О Зое... Этого мало?

— В каком смысле?

— В том смысле, чтоб вам стало понятно?

— Что?

— Почему у меня отбило охоту заводить близкие знакомства с женщинами...

— Что же, ты думаешь, все женщины такие, как...

— Ничего я не думаю...

— Но ты же молод, черт тебя побери...

— И что?

— И не влечет тебя к такой, как эта блондинка с соседнего столика?

— Полюблю — повлечет. И телом, и душой... А так — к чему?

— А что, нет у тебя любви?

— Когда-то думал — Зоя. Потом понял — не то.

— А теперь?

— Теперь никого у меня нет. Знакомые есть, друзья, любимой — нет.

— Вот уж странно, — тихо сказал Семен Евсеевич.

— Что странно?

— Да нет, это я о другом.

— О чем?

— Знаю еще человека, который придерживается тех же взглядов, что и ты...

— О чем?

— Да о том же, о любви. Любовь — все, без любви — ничего.

— Кто же это?

— Внучка.

— У вас есть внучка?

— Одна разве? Полдюжины внуков у меня.

— Я имею в виду...

— Ту, что так говорит?

— Да.

— Не девушка — чудо. Окончила медицинский. Работает. А замуж — ни-ни. Думаешь, урод? Красавица! По улице идет, на нее оглядываются. Но как и ты вот: без любви — ничего. — Гринбойм вдруг сам себя перебил: — Нашли место толковать о высоких материях. Я скоро тут в жареный блин превращусь. Вот и катер... Айда в санаторий?

— Еще только раз окунусь. — Аркадий пружинисто вскочил и побежал к воде.

Домой вернулись перед ужином. Поднялись в свою келью.

— Ты как хочешь, — сказал Семен Евсеевич, — я должен прилечь хотя бы на полчаса, меня здорово сегодня припекло.

— Ложитесь, ложитесь, — ответил Аркадий.

— А ты?

— Я это дело оставляю на ночь. А пока... Хотите, сбегаю глянуть почту. Вы ведь ждете из дому письмо? Вот и принесу.

— Сделай одолжение.

Аркадий вышел и через несколько минут появился с конвертом в руке.

— Вот спасибо! — приподнялся Семен Евсеевич на постели. — Давай сюда!

— А вы не торопитесь благодарить...

— Может, заставишь танцевать?

— Зачем? Танцевать я буду сам...

— А говорил, ни от кого не ждешь, нет, мол, родни...

— Но у меня бригада. А в ней ребята лучше любой родни.

— Коли так, — сказал Гринбойм, — ничего не остается делать, вздремну.

Аркадий на цыпочках вышел в вестибюль и, усевшись в одно из кресел, прочел письмо. Походил, еще раз прочел. Подойдя затем к двери своей комнаты, невольно остановился. Оттуда раздавался неимоверный храп... «Ну и дает старик! — подумал Аркадий. — Мое счастье, что у меня крепкий сон». Сбежал вниз, прогулялся, а когда через полчаса вернулся к себе, сосед уже не спал.

— Ты где был? — спросил еще спящий.

— Выходил прочесть письмо.

— А тут что, тебе кто-то мешал?

— Нет, но...

— А что?

— Вы тут задали такого храпака...

— Вот несчастье! — сокрушенно сказал Гринбойм.

— Но не об этом речь, — успокоил его Аркадий. — Вы лучше послушайте, что за письмо!

— Вижу — доволен!

— Еще бы! Во-первых, ребята сообщают, что с планом у них порядок. Вот: «Прошло только две декады, а месячный у нас уже в кармане». А в оставшуюся декаду, — пишут, — дадут еще полмесячного. Орлы! «Не думай, — пишут, — что без тебя дела не будет. Как видишь, и сами с усами... Но ты все же приезжай, с тобой дело пойдет веселее...» Золото, не ребята!

— А о чем пишут еще? — спросил Гринбойм. — Письмо, вижу, большое.

— А еще — о Валерии.

— Что за Валерий?

— Работает у нас один. Патлы — до плеч, а стремления в жизни куцы, как хвост у бульдога... Выпить, гульнуть... Заметили, как иногда яблоко начинает гнить: с кожуры. Очисти; и — порядок. А не сделаешь — гниль пойдет внутрь и яблоко надо выбросить. Так и с этим парнем. Присмотрелся, вижу, внутри цел, из него еще может выйти человек. Говорю ему — это как раз было накануне моего отъезда в санаторий, — хочешь, помогу устроиться в хорошую бригаду (а он на штампе вкалывает), но с условием: пока вернусь, чтоб ни разу не видали выпившим, ни одного прогула, ни одной запоротой детали...

— Ну, и как? — спросил Гринбойм.

— Вот пишут ребята: «С тех пор, как ты уехал, Валерия не узнать. Вот уже почти три недели — ни разу не прогулял...» Порадовали они меня: и планом, и этим...

— А тебе Валерий — кто? — спросил Семен Евсеевич.

— Как — кто?

— Родным, что ли, приходится?

Аркадий помолчал.

— Удивили вы меня, Семен Евсеевич. Вы — да чтоб такое спрашивали. Что значит — кем приходится? Человеком — вот кем. . . Все люди друг за друга ответственны, не так ли?

— Ты так думаешь? — спросил Гринбойм, внимательно разглядывая молодого соседа.

— Разве не прав я?

— Я этого не говорил.

— Сегодня же накаたю ребятам большое письмо! — воскликнул радостно Аркадий. — Бегу на почту. . . — И он исчез.

«Чудо-парень, — подумал Гринбойм. — Из тех, кого все на свете касается». — И тут же — еще одна мысль: пожалуй, и разборчивой внучке его такой бы мог прийти по душе».

Встретились за ужином.

— Ну как, отослал письмо? — спросил Семен Евсеевич.

— Нет.

— Почему?

— Пока пришел на почту, понял, что все, о чем хотел сказать, можно изложить намного короче.

— Что же ты сделал?

— Послал телеграмму.

— Большую?

— «Поздравляю, так держать». К чему тратить триста слов, где достаточно трех?

— Ты прав, Аркадий, — сказал Семен Евсеевич и кивнул на соседний столик, за которым ужинала блондинка. Та опустила глаза.

10

Аркадий стал исчезать по вечерам. После ужина — нет его. Однажды он вернулся, когда Гринбойм уже спал, не слышал. В другой раз тот прикинулся спящим. В третий — не выдержал, спросил:

— Аркадий, что происходит?

— Ничего.

— Все же?

— Нормально.

— Ну-ну, — буркнул Гринбойм и повернулся лицом к стене. — Спокойной ночи, Аркадий!

Вскоре маленькая келья сотрясалась от храпа.

В следующую ночь Аркадий вовсе не явился. Это не на шутку испугало Семена Евсеевича. Мало ли что? Он собрался было среди ночи звонить дежурной сестре, но передумал. Дело молодое — не подведет ли парня? Звонить не стал, но сам до утра глаз не сомкнул.

Под утро — уже рассвело — появился Аркадий. На цыпочках добрался до своей постели и повалился на нее в чем был.

Гринбойм не выдержал.

— Аркадий, — сказал он, — мне это дело не нравится.

— Какое дело?

— Пропал на всю ночь. Я не знал, что и думать.

— Не маленький.

— Мало ли что?

— Ничего.

— Все же?

— Все же? Вам, Семен Евсеевич, все это как раз должно быть по душе.

— Мне?

— Да.

— Почему?

— Все время вы укоряли меня, что веду себя слишком пристойно. Так вот...

— Но я не полагал, чтоб настолько...

— Я и сам не полагал, — сказал Аркадий и попросил: — Поговорим об этом в другой раз, хорошо? Очень хочу спать.

— Хорошо.

За обедом Гринбойм взглянул на соседний столик.

— Что-то блондинки не видать, — сказал он.

Аркадий промолчал.

— Обычно она не опаздывает, — заметил Гринбойм.

— Ее больше не будет, — сказал Аркадий.

— А что?

— Уехала.

— Закончился срок?

— Нет, у нее оставалось еще несколько дней.

— В чем же дело?

— Так.

Больше Гринбойм ни о чем не спрашивал.

Вечером Аркадий никуда не уходил, был на месте, но не читал, как обычно, а лежал с сомкнутыми под головой ладонями и глядел в потолок. Гринбойм у себя на постели

несколько раз откладывал и снова брал в руки журнал, наконец обратился к соседу:

— Аркадий!

— Что, Семен Евсеевич?

— Я ни о чем тебя не спрашиваю.

— Правильно делаете.

— А что?

— Я ничего не рассказал бы.

— Если б что?

— Если бы спрашивали.

— А так?

— А так, может быть, расскажу. Но не теперь, в другой раз.

Рассказал он в тот же вечер.

Все началось с экскурсии в ближний приморский город. Гринбойм на эту экскурсию не поехал, чувствовал себя неважно. Так получилось, что пожилая полная дама, сидевшая рядом с Аркадием на одном из задних кресел, стала жаловаться, что ей неудобно, тут слишком сильно встряхивает. Услышав это, сидевшая впереди блондинка предложила даме поменяться местами. Та с благодарностью приняла предложение.

Довольно долго ехали молча, слушая объяснения гида. Затем блондинка тихо спросила:

— Где же ваш вечный спутник?

— Он чувствует себя сегодня неважно.

— Значит, благодарить мне надо его? — сказала она.

— За что?

— За возможность сидеть тут рядом с вами.

— Такое это счастье? — усмехнулся Аркадий.

— Возможно, да, — ответила блондинка серьезно и глянула ему в глаза. Лишь теперь заметил он, что глаза у нее не голубые, как издали казалось, и не серые, а светлого пепельного цвета, и была в их больших, близоруко расширенных зрачках какая-то печаль. В те мгновения, когда она смотрела на него, у Аркадия что-то сжималось в груди. — А для вас это не счастье? — спросила она.

Конечно же он должен был ответить, что — да, и вполне можно было ответить так, но он не умел лгать. Отделаться, как позволительно в таких случаях, шуткой? Но в вопросе ее уловил он что-то чересчур серьезное, отшутиться было бы нечестно, и он молчал.

— Почему же вы молчите? — спросила она.

— Видите ли, — сказал он, — счастье — это слишком большое понятие. Не надо им разбрасываться попусту...

— Понимаю, — кивнула она, и было неясно, действительно ли дошло до нее то, что он хотел сказать, или она имела в виду при этом что-то другое, свое.

До конца пути они больше не разговаривали, слушали гида. Когда сошли с автобуса, блондинка взяла Аркадия под руку.

— Не возражаете, — спросила она, — быть сегодня моим кавалером?

— Но из меня неважный кавалер, — ответил он.

— Знаю.

— К тому же мне не совсем по душе само это слово. Но если хотите...

Во все время экскурсии они были рядом. На одной из городских площадей, у подножия величественного памятника, пока гид, очень худая высокая женщина в огромных, закрывающих почти все лицо очках, объясняла, кем, когда и кому этот памятник поставлен, Жанна (так звали блондинку) сказала:

— Аркадий, вижу, вы очень правильный человек.

— Что это значит? — не понял он.

— Если указано: переходить улицу в этом месте, вы ее не перейдете в другом?

— А к чему?

— Может ведь быть причина.

— Коли причина...

— А если — без?

— К чему?

— А я другая, — сказала она, тряхнув светлыми кудрями, — я вообще не люблю, чтоб мне указывали: тут стой, тут иди... Мне в таких случаях хочется и ходить, и стоять совершенно в другом месте...

— Почему?

— Просто так...

— Что значит — просто так?

— Назло. Вам никогда не хотелось делать что-либо назло?

— Назло кому?

— Неважно. Иногда даже самой себе.

Аркадий пожал плечами.

Несколько позже он понял, что крылось за этими словами. Когда экскурсия закончилась и надо было садиться в автобус, чтоб вернуться в санаторий, Жанна вдруг сказала:

— У меня к вам просьба.

— Какая?

— Боюсь, не выполните.

— Смотря что...

— Давайте останемся...

— Как? Где?

— Ну, еще немного. Без экскурсии побродим по городу, а?

Аркадий взглянул на нее и понял: ей нельзя отказать.

— Хорошо, — ответил он.

— Bravo, bravo! — как-то по-детски подпрыгнула она и захлопала в узкие ладошки. — Оказывается, не такой уж вы и правильный товарищ.

— Это вы меня сбиваете с пути, — улыбнулся он.

— О, то ли еще будет! — погрозила она ему пальцем.

Город стоял на холмах, они то поднимались вверх, то спускались, бродили какими-то улицами, переулками, пока Жанна не взмолилась:

— Больше не могу, я без ног.

— Присядем, — предложил он.

Они проходили сквером. Скамьи его занимали пожилые люди, пенсионеры, молодые матери и бабушки с разноцветными детскими колясками. Свободных скамей не было, Жанна и Аркадий сели на одну из них, занятую седобородым старичком с кульком в руках. Время от времени высыпал он из кулька немного пшена, и тут же с ближайших деревьев к нему с шумом слетали голуби.

— Мы не помешаем? — спросила Жанна.

— Если не прогоните моих голубей, — любезно отодвигаясь, ответил старичок.

Жанна уселась спиной к нему и долгим молчаливым взглядом уставилась на Аркадия. Были в этом взгляде и печаль, и какая-то мольба, и еще что-то, чего Аркадий никак не мог себе объяснить. Так как она продолжала молчать, он наконец сказал:

— Вы смотрите на меня так... — и осекся.

— Как — так?

— Как будто я у вас...

— Что?

— В долгу.

— Верно, в долгу, — едва разжимая губы, тихо ответила она.

— Чем же?

Еще какое-то мгновение она молча смотрела на него и наконец, как бы обращаясь к кому-то третьему, промолвила:

— Откуда берутся такие бессердечные люди?

— Как кто? — не понял он.

— Как вы.

— Как я?

— Да, да, как вы! Или вы все еще ничего не понимаете?

— Нет.

Светло-пепельные глаза ее вдруг увлажнились.

— Вот уже две недели, как я не спускаю с вас глаз. Где вы, там и я. А вы и не заметили? Я унижалась, спрашивала, не будете ли вечером в клубе, а вы отвечаете, что вам не хочется. . . — Помолчав, спросила: — Скажите, неужели я такая дурнушка? Такая совсем неинтересная женщина?

— Что вы! — воскликнул он, не понимая, впрочем, за что ему столько обвинений.

А она:

— Понимаю, нехорошо это, неприлично женщине говорить все то, что я говорю. Но больше я не могу. — Она заплакала и сквозь слезы продолжала: — На экскурсию я сегодня поехала потому, что поехали вы. И когда эта толстая дама стала жаловаться на свое место, я поняла: сегодня решается моя судьба.

— Какая судьба, Жанна, о чем вы? — взял он ее за руку. Он не мог видеть ее слез, но все еще не понимал, о чем речь, так далек он был от того, о чем она говорила. — Успокойтесь, Жанна.

— Знаю, это унижение для женщины — говорить то, что я говорю, — продолжала она сквозь слезы. — А вы ничего не чувствуете, ничего не понимаете.

— Но что я должен понять?

Расширенными от слез зрачками уставилась она на него.

— Вас любят. . . Вот что вы должны понять, чурбан вы этакий. . .

— Любят? — удивился он.

— Да, да, да.

— Но. . . Однако. . .

— Понимаю, вы хотите сказать: вы-то не любите. . .

— Да. . . Нет. . . Но. . .

— Не надо теперь больше ничего говорить, — шепнула она. — Слышите? Ничего. Мне хорошо уже оттого, что я сказала. Идемте.

Они поднялись.

— Не помешали мы вашим голубям? — обратилась Жанна к старику.

— Нет, что вы? — усмехнулся тот. — Вы сами ворковали, как голубки. . .

— Вы слышали? — спросила Жанна.

— Зачем слышать? Достаточно было видеть, — ответил он. — Желаю вам счастья! — С этими словами старичок вытряхнул остатки из своего кулька, и с ближайшего дерева новая стая голубей с радостным трепетом опустилась у его ног. . .

В санаторий они вернулись поздно, уже закрывали на ночь корпуса. В тополиной аллее Жанна крепко обвила шею Аркадия и поцеловала его. Он наклонился, она подумала, что и он ее хочет поцеловать. Она взмахнула рукой: «Не надо!» — и побежала к своему корпусу.

На следующий день они вместе были на пляже, играли в теннис, долго гуляли после ужина. Говорили о многом, но, как только ей казалось, что он хочет вернуться к вчерашнему разговору в сквере, она быстро прикладывала свою узкую ладошку к его губам.

— Не надо. Молчи. Мне хорошо. . .

Незаметно перешли на «ты». Они оказались сверстниками, она была даже на несколько месяцев старше. Это его удивило. Небольшая, стройная, светловолосая, выглядела она девчонкой, миловидной, легкомысленной девчонкой. Она много смеялась, рассказывала забавные истории, легко возбуждалась. А его все больше охватывало чувство какой-то вины, особенно после того, как она ему подробней рассказала о себе. Оказывается, она замужем.

— Это тебя удивляет? — спросила она, заметив его взгляд.

— Нет, — несколько растерянно ответил он, — просто я об этом не думал. Но на вид ты так молода. . . И так легкомысленна, — добавил он, — что я и впрямь не думал.

— Это мне нравится, — засмеялась она.

— Ребенок?

— Конечно. Доченька. Сашуленька. Уже закончила первый класс. Я выскочила замуж, когда мне еще восемнадцати не было.

— Кто муж?

— О, важный такой дядя, строгий, с усами.

— Старше тебя?

— На девять лет.

— Кем работает?

— Конструктором на заводе.
— Ты его любила?
— Что я понимала в любви? Тогда мне казалось — да.

— А теперь?
— Теперь мне так больше не кажется.
— Ты бы с ним развелась?
— Да.
— А ребенок?
— Он бы остался со мной и с матерью.
— У тебя и мать есть?
— А как же? Она и смотрит за ребенком.
В тополиной аллее стояли скамьи.
— Присядем? — предложил Аркадий.
— Да, мы уже долго гуляем, — согласилась Жанна.
— А что будет, если тот, другой, ради которого ты разведешься с мужем, ребенка твоего не захочет?

— Как?
— Просто. Ты, скажет он, мне нужна, а ребенок твой — нет. И мама твоя тоже — нет.
— Не может он такого сказать.
— Почему? Ты разве знаешь его? Знаешь, что за человек?

— Вот ты... Ты бы такое сказал? — перебила его Жанна.

— А что тебе известно обо мне? Ты ведь меня совсем не знаешь.

— А я не должна тебя знать, я тебя люблю! — вырвалось у нее.

— Ну, хорошо, — сказал он, помедлив, — в будущем году в другой санатории еще кого-то встретишь — и тебе покажется, что ты полюбила его...

— Не покажется, — ответила она и протянула к Аркадию руки. Он осторожно отвел ее руки и сказал:

— Мы не дети, Жанна. Мы не имеем права быть легкомысленными. Сейчас я поднимусь и уйду. Потом ты уйдешь. В другую сторону. Больше мы с тобой не встретимся.

— Почему? — воскликнула она и вся потянулась к нему.

Он было встал уже и опять присел.

— Не хочу быть виновником семейной трагедии, — ответил он. — Не знаю, как муж, но дочь и мать твоя ведь явно ничем не провинились.

— Это все, что ты мне можешь сказать?

— Да.

Он поднялся. Она протянула руку и вновь усадила его.

— Если так, обещай мне...

— Что?

— Я должна побыть здесь еще неделю. Подари мне ее, будь со мной.

— Нет.

— Я знала, — тихо сказала Жанна, — ты из тех людей, которые улицу переходят только в дозволенном месте.

— Понимай как хочешь.

Она долго молчала. Молчал и он. Хотел подняться, уйти, но не смог. Как когда-то с Зоей, и теперь его охватило чувство жалости к этой маленькой легкомысленной женщине. Он не знал тогда, что с Зоей это была только жалость, теперь знал и все же не уходил.

— Ну, хорошо, — прошептала она, — завтра. Подари мне завтрашний день... Один день. Послезавтра я уеду... — Она почувствовала, что вот-вот брызнут у нее слезы, и убежала...

Аркадий остался один. Он не мог понять, что происходит с Жанной. Действительно полюбила она его? А он? Ему нечего ей ответить. Что же это? Но если она не легкомысленная девчонка, как это ему кажется, а женщина, способная на сильное чувство и готовая ради этого многим пожертвовать? А он? Он не в силах даже этого постичь... Но если так, заслуживает ли он такую любовь, достоин ли ее?

И на завтра они были вместе. Сразу после завтрака ушли к довольно далеко от санатория высившимся холмам, поросшим молодыми рощицами. Лишь изредка попадался здесь навстречу прохожий. Гуляли, говорили, молчали. К обеду и ужину в санаторий не вернулись. Не ощущали ни голода, ни усталости.

— Сегодняшний день, — сказала она, — я унесу с собой на всю жизнь. И предыдущие дни тоже, те, что после экскурсии. Спасибо тебе за эти золотые дни. Ты не понимаешь, нет, ты не можешь понять, что значат они для меня...

Он не знал, что ей на это ответить. Он только чувствовал, что она сверх всякой меры возбуждена, и это возбуждение передалось и ему. Не раз уже они было прощались, но, не в силах расстаться, снова бродили,

говорили, молчали. Пока Жанна не остановила Аркадия у подножия уже укутанного в вечерние тени холма.

— Сегодняшний день, — сказала она, — мой. — Лицо ее в наступивших сумерках как бы светилось изнутри. — Это мой день, — повторила она, — и я хочу, чтоб в этот день свершилось все, все. . .

Назавтра она уехала.

11

Придя с очередной процедуры — он принимал хвойную ванну, — Семен Евсеевич был немало удивлен: молодого соседа по комнате он застал затягивающим ремни на чемодане.

— Ты что, Аркадий?

— Как видите.

— Собираешься в дорогу?

— Погулял, и хватит.

— Но ты приехал позже меня.

— А уеду раньше.

— Вроде и соскучиться тебе не по ком было. . .

— Как сказать. . .

— К примеру?

— К примеру, ребята из моей бригады. Работа. А ребята — знаете какие! Между прочим, настоящий интернационал. Сколько ребят — столько и национальностей.

— И как, уживаетесь?

— Не то слово. Иногда братья родные между собой так не дружат. . .

— Соскучился, значит?

— Право, соскучился, Семен Евсеевич, — ответил Аркадий, ставя на пол затянутый чемодан.

Гринбойм проводил молодого соседа на вокзал.

— Адрес помнишь? — спросил он, когда подошел поезд. — А телефон?

— И телефон.

— Как только вернусь, наведайся.

— Обязательно.

— А то зайди раньше, передашь привет.

— Нет, дождусь вашего возвращения.

— Как знаешь. Счастливо!

Аркадий из тамбура помахал рукой. Подождав, пока последний вагон не скрылся за поворотом, Семен Евсеевич медленно поплелся в санаторий.

Уехал он раньше времени, думал Гринбойм об Аркадии, конечно же неспроста. Дело не только в том, что соскучился по ребятам, по работе. Возможно и это, но не только. Немалую роль, видать, сыграла Жанна и то, что между ними произошло. Открыто Аркадий об этом не говорил, но кое о чем по дороге, когда шли к вокзалу, намекнул. Надо же такому случиться! Жанна прикипела к нему с первого взгляда. Да и есть к кому! Всем парень взял — силой, умом, красотой... Он, Семен Евсеевич, сразу заметил, как та с его соседа глаз не спускает. А тот — как будто не о нем речь... Что ж, парень серьезный, не прошелыга какой-нибудь, готовый бежать за первой попавшейся юбкой. Но женщина — стоит ей захотеть — своего добьется. А когда добилась, ему от всей этой истории стало нелегко на душе. Она — любила, он — нет. Ему было жаль ее. Она виновата перед мужем, перед дочерью, но не перед собой. Когда чувство истинно, прощаются многие грехи. Он же оказался виноват и перед нею, и перед самим собой, он не любил... Как же это случилось? Человек ходил последние дни как потерянный, не мог он тут более оставаться.

Вдали уже виден был центральный корпус санатория. Семен Евсеевич не торопился. Ему грустно было думать о том, что вот поднимется он в свою келью и не застанет там молодого соседа, к которому так привык. Странно, подумал он, без малого месяц тому назад не догадывался он вовсе, что есть на свете такой славный парень — Аркадий Сатановский. И поди ж ты — теперь его уже из сердца не вырвешь... Три сына родных у Семена Евсеевича, и вот — четвертый... Такое тоскливое чувство вдруг охватило пожилого человека, что впору и ему взяться за чемодан... Но он этого не сделает. Годы труда, службы в армии, фронт приучили Гринбойма к аккуратности, порядку, дисциплине. Мало ли что на человека за хандра найдет. Всему свой час. Путевка на двадцать четыре дня, он и отбудет их все, как положено. Грустно, тяжело — что поделаешь? В библиотеке взял он сегодня свежий номер журнала с новым романом известного писателя, вот и займется им.

Над тополиной аллеей в спящем санаторном корпусе всю ночь одиноко светилось окно маленькой комнаты на третьем этаже...



ри коммунизме, когда эта светлая мечта человечества осуществится, будут ли и тогда несчастные люди?

Будут...

Любовь... Как во все времена, чувство это не утратит своей роковой загадочности. Одну женщину люблю я. Другая меня любит. Значит, боль и горечь неразделенного чувства останутся...

И только ли это? Несчастливы будут люди, которые почему-либо не смогут работать. А это — беда. Как и труд не по призванию. Правда, тогда будут условия для того, чтоб каждый занимался любимым делом. Не всегда, однако, человек сразу постигает свое призвание, иных ведут к нему долгие, мучительные поиски.

Но счастливых людей тогда будет неисчислимо больше! Счастливых небывалой до того гармонией мысли и чувства, физической и духовной красоты и мощи. И в наши дни живут уже, по-видимому, люди с отсветом тех времен в душе...

Летнее утро кутало город в прозрачную дымку. Он привольно раскинул свои улицы и площади в сомкнутом полукружье сопки, вблизи зеленых, голубых в отдаленье, а там и вовсе сливающихся с блеклой синевой неба... Между ними, сопками и городом, думалось, был крепкий уговор: «Ты, город, юн, а мы — древность. Никогда не чаяли мы, что хватит у тебя дерзости появиться тут, среди нас. Но ты отважился, и мы — верная тебе защита».

Сопки видят, как у подножия их все шире разрастается город, а кое-где взбирается и на крутые их склоны. Хорошо, привольно городу тут жить и расти.

Привольно и ему, Аркадию, здесь с первых дней, что помнит себя. Рано оставили его родители, но он не чувствовал себя сиротой. Два близких существа у него были — бабушка и город. Добрейшей души старушка и этот по-молодому грохочущий подъемными кранами, экскаваторами и бульдозерами город — оба не жалели они для него заботы и ласки. Потому и влекло его сюда, и по-настоящему был он счастлив и теперь, в это ясное утро,

когда по возвращении из санатория впервые шел на завод.

Рано проснувшись — не спалось, — Аркадий решил пойти на работу пешком, хотя Чапаевскую улицу, на которой он жил, отделяло от завода добрых несколько километров. Как со старым другом, хотелось повидаться и с городом, по которому успел соскучиться.

Вот в самом центре оба сквера — старый и новый. Старый «арендован» пенсионерами. Целыми днями, до темна, ведут они тут свои бесконечные беседы. Изредка появится тут и молодая пара. Им безразлично, где сидеть или стоять, все равно ничего не слышат, никого не видят, кроме самих себя...

Новый сквер вознес к небу величественно-строгую стелу-obelisk. Она поставлена в память о земляках, павших в прошлую войну. Мимо этого места Аркадий не мог пройти равнодушно. Остановился он тут и теперь.

Прошла война... Родился он уже после нее, только из книг, из фильмов да по рассказам старших знал о ней. Но знал немало, ибо с жадностью впитывал в себя все, что касалось той грозной поры, перед которой чувствовал себя в долгу.

Впрочем, о каком долге его, Аркадия, как всего поколения его, могла идти речь, если в годы войны их еще не было на свете. Но и в этом ощущал он какую-то вину — не успел родиться вовремя... Он знал: им, погибшим в эту войну, обязан он тем, что живет, работает, имеет друзей, видит небо...

Он чувствовал себя в долгу перед всеми, чьи имена были высечены или не высечены на памятных обелисках. Павшие говорили: «Мы были людьми. Мы погибли для того, чтобы ты жил. Будь и ты человеком». Это был их завет. Так понимал и чувствовал это он, Аркадий Сатаповский.

За месяц без малого, что он отсутствовал, в городе произошли изменения. Улицу Горького, в том месте, где она перекрещивается с улицей Ленина, успели перекопать — прокладывали новую теплотрассу. Огромная землеройная машина и неуклюжий бульдозер преградили путь. Аркадий свернул вправо и тут наткнулся еще на новость. Вдоль всего первого этажа пятиэтажного здания красовалась вывеска: «Парикмахерская». Ранее парикмахерская находилась на углу, в доме, когда-то самом красивом на улице. Теперь он казался обиженно сникшим, поблекшим.

Длинный ряд тополей шумел над головой. У края тротуара белел снежными бугорками тополиный пух. Аркадий нагнулся, набрал пуху в обе ладони, и он тут же разлетелся. Чему-то улыбнувшись, пошел он дальше. Вот и здание редакций областных газет с мемориальной доской. Она посвящена человеку, который работал здесь много лет назад, а затем достиг большой славы, — Эммануилу Казакевичу.

На противоположной стороне улицы — библиотека имени Шолом-Алейхема, музей, средняя школа. Все это были родные для него места. В этой школе Аркадий учился. В библиотеке долгими часами просиживал над книгами о войне, о видных военачальниках, о космосе. В музее не раз бывал и один, и с экскурсиями. Особенно привлекали его тут экспозиции о гражданской войне на Дальнем Востоке, о первых переселенцах.

А вот и небольшая уютная площадь Советов с памятником Ленину в окружении красных, голубых и оранжевых цветочных клумб.

Аркадий пересек площадь и вышел на улицу Шолом-Алейхема. Всю дорогу на завод ему сопутствовало чувство радости, большой радости, которая уже наполняет все в нем и вокруг него, и другой радости, почти счастья, о котором он еще не знал — где, когда, каким образом оно к нему придет, но знал — придет.

С этим чувством и вошел он в цех. Тут сразу пахнуло на него чем-то очень близким, родным. Вчера, когда поздно вечером сошел он с поезда и открыл затем дверь в свою одинокую квартиру на Чапаевской, полного ощущения, что он вернулся домой, еще не было. По-настоящему ощутил он это только теперь, войдя в этот огромный цех. Тут его товарищи, его работа.

До начала трудового дня оставалось минут пятнадцать. То тут, то там опробовали станки, коротко переговаривались рабочие.

Когда Аркадий появился в среднем пролете цеха, то один, то другой оборачивались в его сторону, и к тому месту, где трудилась его бригада, шел он сквозь строй приветственных возгласов, доносившихся со всех сторон:

- Смотри — Аркадий!
- Откуда свалился, Сатановский?
- Тебе еще на пляже загорать положено!
- Уже подзагорел, хватит.
- Как житуха, бригадир?

— Житуха — будь слок, — ответил за него чей-то громкий голос. — Не видите, килограммы нахватал...

Не останавливаясь, Аркадий шел среди этих приветственных шутливых возгласов, кивал на все стороны, тем, кто поближе, пожимал руку, отшучивался. На слова о лишнях килограммах ответил:

— Врешь, два кэгэ сбросил.

Наконец добрался до своих ребят и тут же исчез в их объятиях, как хоккеист, забивший шайбу.

— Осторожней, черти, задушите... — еле высвободился Аркадий. — Дайте на вас посмотреть.

— На нас смотреть нечего, — сказал Василий Крылов, — дай на тебя глянуть, каков ты после курорта... — Откинув назад голову, большую, русоволосую, протянул руку и отодвинул несколько Аркадия, как отодвигают картину, чтоб лучше ее рассмотреть. — Старики, гляньте! Стоило завкому тратиться на путевку для него?

— Стоило! — в один голос ответили Муса и Олесь.

— Муса, кого родила тебе Хафиза? — спросил Аркадий.

— Хлопца.

— Молодцом! Это отметить надо!

— Само собой. Ждали тебя.

— А у тебя, Егише, что за новости? — спросил Аркадий.

— У меня — самые большие!

— Женился?

— Нет, с этим делом жду тебя, бригадир. Мы как-нибудь вместе...

— Что же?

— Гость у меня. Отец.

— Из Армении пожаловал?

— Из самого Еревана.

— Не поленился?

— Как видишь.

— Хорошо, поговорим еще, — сказал Аркадий, — как с планом?

— Неплохо, — ответил Крылов. Он заменял Аркадия в его отсутствие. — Дела шли бы еще лучше, но третий участок задерживает, недодает заготовок.

— Все еще?

— Как было. Зубами надо вырывать. Хорошо, что вернулся, мне уже осточертело. Но ты же еще не весь отпуск использовал?

— Все, вышел работать.

— Из санатория раньше времени вернулся?
— Да.
— Что так?
— По вас, черти, соскучился, по работе.
— Коли так, — воскликнул Крылов, — бери назад свои бригадирские функции, наводи порядок с заготовками, принимайся за дело!

Приступили к работе. Аркадий сразу почувствовал себя на месте. Пошел на третий участок, выяснил, почему непорядок с заготовками, узнал, что мешает, — была в этом не только их вина, — взял в оборот начальника цеха, припугнул его «Комсомольским прожектором». Испугался тот или нет, но обещал дело наладить.

Пару часов до обеда успел еще Аркадий поработать за станком. Он опасался, что за время отдыха отвыкнут руки, глаз утратит точность. Но дело пошло так, как будто никакого перерыва не было. Руки двигались сноровисто, споро, как всегда, глаз неотрывно следил за станком. Аркадия радовало все — яркие полосы света, падавшие из огромных окон на длинные ряды станков и людей возле них, едковатый запах горячих спиралей стальной стружки, праздничный блеск готовых деталей.

«Все 420 минут рабочего времени — для высокопроизводительного труда» — высоченные буквы плаката витали над цехом. Для бригады, руководимой Сатановским, эти слова были законом.

Во время обеденного перерыва, по дороге в столовую, Аркадий обнял за плечи Гризатулина и Папаяна.

— Доброго молодца, говоришь, принесла тебе Хафиза, Муса?

— Доброго! Четыре килограмма шестьсот.

— Богатырь! А ты, Папаян? Не испугался твой отец далекого путешествия?

— Не ехал он, летел. Впервые в жизни. А он у меня уже не молод, восьмой десяток разменял. Но — боевой. Должен взглянуть, говорит, куда мойменьшенький забрался.

— Понравилось ему тут?

— Не будь, говорит, такой земли — Армения, остался бы в Биробиджане.

Во второй половине дня работа шла без перебоев, и к концу смены казалось уже Аркадию, что не было санатория у моря, не было маленькой кельи на третьем этаже и соседа Семена Евсеевича, не было пляжа, Жанны, — все это ему только приснилось...

После работы остался на комсомольском собрании. Когда оно кончилось, уже вечерело. Он попрощался с ребятами, и тут вдруг брякнул Папаян:

— Знаешь, что за фокус отколол Валерий Крас?

— Валерий? — захваченный встречей с бригадой, Аркадий в этот первый день и вовсе забыл о Валерии. А он ведь ему что-то обещал, нехорошо. — Как же он, Валерий?

— Да нет его.

— Как — нет?

— Валерий — тю-тю!

— Да расскажите толком.

Перебивая друг друга, ребята рассказали: одно время было его не узнать, Валерия, — ни выпивки, ни прогула. Они об этом писали.

— И хорошо, — заметил Аркадий.

— Хорошо-то хорошо, — сказал Чередниченко, — но вдруг ни с того ни с сего — бац заявление: прошу уволить по собственному желанию...

— Причина?

— Какая там причина? Ударило в голову...

— И что же?

— Уволили. Что за такого держаться?

— И смылся.

— Куда?

— Говорят, на Сахалин завербовался.

— Вот как?

— Кто его знает?

Нет, значит, Валерия. Уехал.

Как и утром на работу, Аркадий решил вернуться домой пешком. Первый рабочий день не утомил его, кроме того, было о чем подумать. Да и торопиться незачем, дома никто его не ждал.

Что же, думал он, стряслось с Валерием? Неужели он, Аркадий, ошибся и никакого нужного парня в том человеке нет? Но вот перестал же он пить, прогуливать... Нет, что-то тут не то...

Думая таким образом, вышел Аркадий к тому месту, где без малого месяца тому назад встретила его и Валерию девушка, которую тот по-свойски называл Марленочкой и которая его, Аркадия, так ошеломила своей красотой. Как жаль, что он так и не узнал тогда у Валерия, кто она, где живет, работает. У кого он теперь об этом сможет узнать?

Он уговаривал себя, что о той случайной встрече

больше не думает, но это было не так. И там, в санатории, он о ней не забывал. И все это время жил он надеждой, что будет — не может не быть — еще одна встреча. Надежду эту он связывал с Валерием. А Валерия нет.

Вот и сквер со стелой. Она отрешенно светилась теперь в голубоватых отсветах вечерних фонарей. У подножия ее, как солдаты в карауле, стояли темные ели; как и утром, на какое-то мгновение остановился тут Аркадий, но, когда медленно стал уходить, почувствовал вдруг, что то ощущение радости и счастья, которое переполняло его весь этот день, начинает в нем убывать и вместо него сжимает сердце горькое чувство невозвратной потери. Мучительны были воспоминания о Жанне, досадна мысль о том, что нет Валерия и невозможно будет выполнить то, что ему обещал.

С нелегким сердцем возвращался Аркадий к своему дому на Чапаевской улице. В нем вновь всколыхнулся тот же вопрос, с которым он утром шел на работу: «При коммунизме, когда эта светлая мечта человечества осуществится, несчастные люди будут?»

Как и утром, но еще с большей уверенностью он ответил себе: будут...

2

Уже на следующий день после выхода на работу навалились на Аркадия все бесчисленные его общественные нагрузки, поручения — партийные, комсомольские. Все это — помимо работы, помимо обязанностей бригадира. Постоянная занятость эта была привычна и не казалась ему ни чрезмерной, ни обременительной. Но каждый раз, когда его вызывали, чтобы дать новое поручение или новую нагрузку, он молил:

— Имейте совесть! Свалюсь ведь под такой поклажей...

— Не свалишься, — отвечали ему, — шея у тебя крепкая.

Так оно и было. Он и представить не мог, как бы жил иначе, без всех этих дел, требующих, чтобы вся жизненная энергия его расходовалась, как он любил говорить, «на полную катушку».

Не было дня, чтобы Аркадий Сатановский после работы не оставался на заводе, — то партийное собрание, то комсомольское или профсоюзное, то семинар. Домой приходил поздно вечером и часто до того уставал, что сил хватало только на то, чтобы постоять под душем и сва-

литься в постель. Засыпал он сразу и, как верно угадала старшая сестра в санатории, снов не видел, а если и видел, не запоминал.

К концу первой отработанной недели и свободные дни ее, суббота и воскресенье, оказались заняты. В субботу Муса и Хафиза устраивали сабантуй в честь своего первенца, а в воскресенье приглашал к себе Папаян. Отец его перед отъездом хотел попрощаться с товарищами сына по работе и с их бригадиром.

Так же стремительно стала раскручиваться и следующая неделя, и, когда она уже подходила к концу, Аркадий спохватился: он не побывал еще у Семена Евсеевича и даже не позвонил. А тот ведь давно уже дома, ждет. Да и ему, Аркадию, очень хотелось повидать старика, с которым они так славно провели время в санатории. Решил: откладывать больше нельзя. В четверг позвонил, что в пятницу после работы придет.

И вот — пятница. Конец рабочего дня. Станок выключен. Продукция бригады за день сдана. Аркадий совсем уже было собрался уходить, когда в одном из проходов цеха наткнулся на Люсю. Как и он, была она членом заводского комитета комсомола, отвечала за политмассовую работу.

— Сатановский, — сказала (привычка была у нее — всех называть только по фамилии), — ты мне нужен. Домой собрался?

— Как видишь.

— Задержишься! — сказала резко, тоном, не допускающим возражений.

Все, что ни говорила, говорила так — резко, категорично. Аркадий взглянул на Люсю и подумал: неплохая ведь девчонка и собой недурна, но если бы не эта ее категоричность. . . И ответил тем же тоном:

— Сегодня — нет.

— Как? — вскинула та обведенные голубоватой краской и казавшиеся от этого очень большими глаза. — Ты ведь не знаешь даже, по какому поводу.

— Что бы ни было.

— Ах, понимаю — сощурила Люся удлиненные ресницы, — свидание?

— Возможно.

— И стоящая девушка?

— Пенсионер.

Люсины ресницы сощурились еще больше.

— Так плохи дела твои, Сатановский? Свидание с пенсионерами?

Аркадий не ответил, спросил:

— Для чего задержаться?

— Внеочередное заседание «Комсомольского прожектора».

— Без меня.

— Но ты член «Прожектора».

— Без меня.

— Доложу в комитет, Сатановский!

— Докладывай. — Аркадий повернулся и ушел. Знал: ошеломленная Люся глядит ему в спину.

Ему стало смешно. Если случится когда-нибудь, что парень спросит ее, любит ли она его, — Люся ответит ему «да» или «нет» с той же категоричностью, с какой разговаривает всегда, без нюансов.

«Как можно так жить, — думал Аркадий, выходя из заводского двора, — без нюансов?»

Автобус довез его до центра. Тут Аркадий сошел и повернул вправо. Это место носило название улицы, в действительности был это небольшой переулок с несколькими домами по обе стороны. Крайний каменный дом справа, щеголевато оформленный снаружи силикатным кирпичом, был кооперативный. В одной из квартир на втором этаже жил здесь Семен Евсеевич.

На углу пожилая женщина продавала большие красные саранки. Казалось, в ведре пламенеют огненные языки. ... Аркадий купил большой букет. Нехорошо, подумал он, явиться с пустыми руками. Почему-то он представлял себе, что дверь откроет ему внучка Гринбоймов, молодой врач, вот он ей и вручит цветы.

Войдя в зеленый, аккуратно убранный двор, Аркадий направился к среднему подъезду, как было указано в адресе, врученном ему в санатории. У входа стоял окрашенный в красное газовый шкаф, и запах газа сопровождал его, пока он поднимался по чистым ступенькам на второй этаж. Тут он остановился у двери, на которой красовался номер «21». У порога лежал чистый половичок. Потерев о него подошвы, Аркадий нажал на кнопку звонка. Невесть почему у него сильно забилося сердце. ... Дверь открылась, и. ... Аркадий еле успел спасти букет, — Семен Евсеевич чуть не раздавил его, с такой силой обнял он долгожданного гостя.

— Явился. Ну и хорошо. Ну и молодец. ... Я уже ду-

мал... Входи, входи! — Из узенького коридора крикнул: — Сима, Аркадий!...

Почему-то Аркадию жена Семена Евсеевича все время представлялась маленькой толстой старушкой. Он был немало изумлен, когда увидел перед собой высокую, еще довольно стройную женщину с красивой седой головой.

— Смотри, какие цветы тебе принесли, — сказал Семен Евсеевич.

— Да, это вам! — подтвердил Аркадий и подумал: эта маленькая ложь ему простится, тем более что никаких других женщин здесь не было.

— Входите, входите! — пригласила хозяйка, принимая цветы.

Полы, покрытые оргалитом, зеркально блестели. Ступать на них в ботинках было бы грешно. Семен Евсеевич предложил гостю мягкие шлепанцы. Спустя минуту мужчины сидели в креслах за полированным журнальным столиком, а хозяйка пошла пристраивать букет.

— Как зовут вашу жену? — спросил у Семена Евсеевича Аркадий.

— Симой.

— Но я ее так называть не могу.

Жена внесла цветы в хрустальной вазе, и они весело зааделали на столе.

— Наш гость спрашивает, — обратился Семен Евсеевич к жене, — как тебя зовут.

— Ты бы сказал.

— Так, как я, говорит, он называть тебя не может.

— Зовите Симой Самойловной, — ответила она Аркадию.

Тот смотрел и диву давался, как могла эта женщина, всю жизнь тяжело работавшая, воспитывая детей и внуков, сохранить в себе так много от былой своей пригожести.

— Чем же, Сима, будем мы потчевать нашего гостя? — спросил Семен Евсеевич.

— Уж чем-нибудь да попотчует, — ответила она. И — к гостю: — Есть хотите? Только правду!

Аркадий с первой минуты почувствовал себя в этом доме своим и ответил:

— Пришел я к вам прямо с работы и голоден как волк...

— Ох, люблю, когда говорят правду! — воскликнул Семен Евсеевич теми же словами, что и в санатории при первом их знакомстве.

На столе появились рубленые яйца, овощной салат со сметаной и большая тарелка фаршированной рыбы.

— А как насчет этого? — Семен Евсеевич заговорщицки подмигнул Аркадию на вынутую из холодильника бутылку коньяка.

— Я не пью, как вы знаете, — ответил Аркадий, — но коль бутылка вынута, не ставить же ее обратно. . .

— И я так думаю, — довольный, произнес Семен Евсеевич.

— А ты рад случаю, — вмешалась Сима Самойловна, — приложиться. . .

— После этого лучше спится, — ответил Семен Евсеевич.

— Ты уже в рифму заговорил? Он очень рад, Аркадий, вашему приходу.

— Семен Евсеевич, — обратился гость к хозяину, — что-то в санатории не замечал я за вами таких талантов. . .

— В чужом месте, дорогой, рифма не идет. А под родной крышей все рифмуется подряд.

— Гость твоими рифмами сыт не будет, — заметила жена.

— Верно, — ответил Семен Евсеевич и разлил коньяк по рюмочкам.

Сима Самойловна начала отказываться, но ради гостя согласилась, чтоб налили и ей.

Аркадий поднялся.

— Сима Самойловна, хочу выпить за вас!

— Почему за меня? Выпьем за здоровье всех.

Аркадий выпил всю рюмку, Семен Евсеевич — половину, Сима Самойловна едва пригубила. Некоторое время за столом царила тишина, пробовали всего понемногу. Хозяйка сама почти ни к чему не прикасалась, но ей было приятно видеть, как закусывает муж (на аппетит он никогда не жаловался) и особенно гость. Когда дело дошло до фаршированной рыбы, тот сказал:

— Я мало смыслю в этом блюде. Фаршированную рыбу ел я очень давно, в детстве, когда жива была бабушка. Но ваша рыба, Сима Самойловна, напоминает мне вкус, знакомый с детства. . .

Когда на столе появился источающий приятный аромат золотистого цвета бульон, Аркадий взмолился:

— Сима Самойловна, почему же вы не предупредили, что еще будет такой бульон?

— И что было бы?

— Я бы не так налег на закуски.

— В таком случае предупреждаю: будет еще курица.

— Вы хотите, чтоб я не встал из-за стола?

— А разве вы куда-нибудь торопитесь?

Нет, он никуда не торопился. Ему было хорошо. Он вообще не уходил бы из этого дома, так и сидел бы за столом, беседовал. Все время ожидал он, что вот-вот ко-лыхнется голубая портьера на пороге смежной комнаты и оттуда покажется она, внучка, молодой врач. Возможно, она отдыхает или занята чем-то. Вот она проснется или освободится и войдет... Но она не появлялась. Когда был подан бульон, Аркадию стало ясно, что внучки нет дома. Может, она не пришла еще с работы?

— Жаль, внучки нашей нет, — как бы угадав его мысли, сказала Сима Самойловна. — Мы хотим, чтобы вы с нею познакомились.

— Где же она? — спросил Аркадий.

— Уехала.

— Перевели в другое место?

— Что вы, — возразила Сима Самойловна, — без нее у нас жизни бы не было, так мы любим ее. Но на субботу и воскресенье она часто уезжает в Хабаровск, к своим родителям...

— И, представь себе, не только к родителям, — добавил Семен Евсеевич, Сима Самойловна подала мужу едва заметный знак: к чему постороннему человеку все выкладывать? Но муж тут же выдал ее: — Аркадий для нас не посторонний человек, — сказал он. — Перед ним у нас не должно быть секретов. Так вот, Аркадий, о нашей внучке я тебе уже рассказывал. Не девушка — загляденье. Но один недостаток — привередлива. Наверное, с десяток женихов отвергла. Один не нравится по одной причине, другой не подходит — по другой. Одним словом, нет. Но нашелся в Хабаровске человек, с которым, кажется, будет — да. То есть наверное еще ничего неизвестно, но кажется... Когда она едет в Хабаровск, видится она там не только с родителями, но и с ним. В этот раз он позвонил, что достал билеты на спектакль московского театра, который гастролирует в Хабаровске.

— Кто же он, этот человек? — спросил Аркадий.

— Мы его еще не видели, но, слышать, человек что надо. Тоже врач. И, оказывается, знакомы они давно, еще с института. Единственный сын у каких-то очень важных родителей.

— Да что там говорить, — отозвалась Сима Самойловна, — ничего ведь еще неизвестно.

Семен Евсеевич больше ничего не сказал.

Аркадий больше ни о чем не спрашивал.

Поздно вечером вернулся он домой. С семьей Гринбоймов тепло попрощался. Его пригласили заходить, он обещал — гостеприимный дом, привстливые люди, и он, и она... А внучка? Ее он не видел, лишь слышал о ней, и — странное дело — история с хабаровским знакомым, с которым она встречается, чем-то задела его... «Что бы это могло значить?» — спросил он сам себя и про себя же усмехнулся: какое это к нему имеет отношение? Ну, действительно, какое?

В ту ночь ему плохо спалось. Мерещились какие-то сны, некоторые он даже запомнил.

...Бабушка и Сима Самойловна — на кухне. Бабушка такая, как он помнит ее с детства. Они заняты приготовлением фаршированной рыбы и соревнуются между собой — чье блюдо больше понравится ему, Аркадию.

Второй сон: девушка, юная, стройная, но — такое возможно только во сне — с постоянно меняющимся лицом: то это лицо Люси, то — Жанны. Девушка с Люсиным лицом сердито ему выговаривает: «Негодный ты, никудышный, плохой человек, я буду на тебя жаловаться...» Девушка с лицом Жанны, наоборот, мило улыбается и чуть слышно шепчет: «Ты славный, хороший... Я люблю тебя, но никому об этом не скажу... Достаточно того, что мы с тобой это знаем...»

И не может Аркадий взять в толк — какой же он? Плохой или хороший? Славный или никудышный человек?

3

За отсутствие на внеочередном заседании «Комсомольского прожектора» влетело-таки Аркадию. Правда, влетело не очень, но уже в одном том, что вопрос этот обсуждался на заводском комитете, было мало приятно, тем более что такое с Аркадием случилось впервые.

На том, чтоб вопрос этот был поставлен на обсуждение, настояла Люся. Она усматривала в этом случае не один какой-нибудь грех со стороны Аркадия Сатановского, а сразу несколько. В докладной, поданной в заводской комитет комсомола, она по порядку перечислила:

недисциплинированность, зазнайство, наплевательское отношение к общественным обязанностям, безответственность. Заключалась докладная непреложным выводом: если такое мог разрешить себе член заводского комитета комсомола, что же требовать от рядовых членов ВЛКСМ? И еще: что будет, если все (это слово было дважды подчеркнуто) станут поступать так, как это позволил себе Сатановский?

То же самое, почти слово в слово, повторила Люся в своем выступлении на заседании комитета и потребовала для Сатановского строгого наказания.

Другие члены комитета были настроены не так агрессивно. После выступления Люси посыпались реплики:

— Ну, Люся, перегнула ты...

— Надо же знать, о ком речь...

— Что, мы Сатановского не знаем?..

— И была же у него какая-то причина?

— Важна не причина, — отрезала Люся, — важен факт.

— Нет, так нельзя, — сказал молчавший до этого секретарь заводского комитета комсомола. — Давайте разберемся.

Невысокого роста, но ладный, черноволосый и черноглазый, крепко сбитый парень, Володя Черняк возглавил заводской комитет комсомола не так давно, после того как несколько лет подряд руководил комсомольской организацией инструментального цеха. В том же цеху он работал фрезеровщиком. Привык он мыслить масштабами цеха. Теперь же ему предстояло перестроиться — научиться то же самое делать в масштабе большого предприятия. Пока что ему еще не совсем удавалось, и он ощущал это как недостаток, от которого надо как можно скорее освободиться. Но еще больше, чем ранее, придерживался он правила: прежде чем принять решение, внимательно выслушать товарищей, хорошо взвесить ими сказанное, всесторонне обдумать, а потом уже делать вывод, решать. И еще он знал: на каком бы уровне ни приходилось руководить людьми — в масштабе бригады, цеха или завода, главное — ни к какому делу, большому или малому, не относиться формально (об этом он много читал у Ленина). Любой вопрос, любое дело, особенно касающееся людей, надо рассматривать конкретно, индивидуально, принимая во внимание все обстоятельства, мотивы, приведшие к тому, чтобы человек поступил так, а не иначе.

— Ты, Люся, не права, — обратился к ней секретарь. — Если мы хотим правильно судить о факте, мы должны досконально знать причину, вызвавшую его. Иначе мы никогда не сможем сделать правильный вывод.

И к Аркадию:

— Люся спросила у тебя, почему ты не можешь остаться на заседание «Комсомольского прожектора»?

Аркадий вспомнил ее предположение о свидании, проинический вопрос: «Стоящая ли девушка?» — но решил об этом не говорить.

— Собственно говоря, нет, — ответил он, — не спрашивала. Но я об этом ей сказал.

— А она?

— Не обратила внимания. — На миг Аркадий задумался и ответил: — Но, по правде сказать, я толком ей не объяснил.

— Почему?

— Почему? — повторил Аркадий вопрос. — Трудно сказать.

— Все же?

— Она разговаривала со мной в таком тоне, что объяснять ничего не хотелось.

— Но нам-то ты объяснишь?

— Конечно.

Аркадий рассказал все как было. В санатории жил он в одной комнате с очень славным пожилым человеком. Сдружились, договорились встретиться, когда вернутся домой. И вот, когда он уже совсем было направился в гости, явилась Люся и сообщила о внеочередном заседании.

— И ты не остался?

— Нет.

— Считаешь ли ты себя виноватым? — спросил секретарь.

— Формально — да.

— А по существу?

— По существу? — Аркадий говорил медленно, он мыслил вслух, пусть товарищи выслушают его и решат: прав или не прав. . . В санатории сжился он с человеком, хотел его видеть. Обещал заранее прийти, его ждут, готовятся к встрече. . .

— И хорошо провели вы тот вечер? — поинтересовался секретарь.

— Очень.

— Остались довольны?

— Да.

Хитро улыбнувшись, взглянула на секретаря Люся — какой молодчик! Задал пару будто бы пустяковых вопросов, но сколько в них иронии. . . До Сатановского пока не дошло, но скоро поймет, к чему тот клонит. . . Однако что это? Люся выпрямилась на стуле — он, кажется, говорит всерьез, секретарь. . . Он и не думает иронизировать. Вот заинтересовался:

— А они, новые твои знакомые, как думаешь, тоже остались довольны?

— Думаю, что да, — ответил Аркадий.

Люся недоуменно пожала плечами. Она не могла взять в толк: о чем тут речь? Кому это интересно, остались довольны или нет какие-то там старые или новые знакомые? Сатановский злостно (да, злостно) отказался участвовать в важном общественном мероприятии, и об этом надо вести разговор. Она была уверена, что так оно и будет. Но странно, секретарь вдруг заговорил таким тоном. Вместо того чтобы, как это подобает руководителю, категорично высказать свое мнение, он, как и Сатановский, собрался, кажется, мыслить вслух.

— Между людьми бывают, — говорил Володя Черняк, — отношения служебные, общественные и разные другие. Но есть, кроме них, еще и просто человеческие отношения. О них мы нередко забываем. А если и не забываем, то привыкли ставить их на последнее место после всех иных обязанностей, поручений, нагрузок. Не всегда это правильно. — Он подумал и продолжал: — Взять вот этот конкретный случай. Аркадий стал перед выбором: остаться на заседание «Комсомольского прожектора», о котором ему только что объявили, или встретиться с друзьями, пожилыми людьми, которых он заранее предупредил о приходе. Что он должен был сделать?

В небольшой комнатушке, в которой происходило заседание заводского комитета комсомола, водворилась настороженная тишина. В открытую форточку влетела и тут же, сильно жужжа, стала искать дорогу назад большая глянцеви́то-черная муха.

Ребята подались вперед к секретарю. Вопрос этот он задал себе или имел в виду, чтобы каждый из них сам на него ответил? Это было бы не так просто. И все с облегчением вздохнули, когда после небольшой паузы Володя Черняк продолжил:

— Представьте себе: Аркадий остался на заседании. Весьма возможно, что, согласившись с другими его участниками, он бы в этот раз никаких своих предложений не

внес, может быть, вообще бы не выступил. И без него все было сделано как надо, так что его отсутствие в данном случае не принесло вреда, тем более такого, за который следовало бы наказывать. Теперь представим себе, что он не пришел в тот вечер к своим знакомым. Пожилые славные люди готовились к его приходу, а он не пришел. Что могли бы они сказать? «Нынешняя молодежь! Когда-то уважали старших, чувствовали свой долг перед ними, верны были данному слову. А теперь? Ни с кем и ни с чем не считаются, кроме лишь как с собой, никакого чувства долга, ответственности...» Не так ли? И, заметьте, сказано было бы это не об одном Аркадии Сатановском — обо всех нас... Так что в тот вечер защитил Аркадий не только свою, но и нашу честь...

Высказано было все это с известной долей юмора, с улыбкой, но сквозила в словах и серьезная мысль. Членам комитета это пришлось по душе, и они согласились со своим секретарем.

Одна Люся не только не была согласна, она поражалась: как так можно?

Секретарь повернулся к ней:

— Ты настаиваешь на своем предложении о выговоре?

Она поняла: учитывая реакцию членов комитета на выступление секретаря, надо было предложение снять. Она это готова была уже сделать, но вдруг непримиримый дух противоречия взыграл в ней, и она крикнула:

— Настаиваю!

— Если так, ставлю на голосование, — сказал Черняк. — Кто за Люсино предложение — объявить Аркадию Сатановскому выговор, — прошу поднять руки.

Поднялась одна рука — Люсина.

— Кто за то, чтобы ограничиться обсуждением на данном заседании?

Руки подняли все.

Этот вопрос в повестке дня стоял последним, и можно было закрыть заседание. Но прежде чем это сделать, секретарь решил обратиться к Люсе.

— Ты могла бы быть неплохим, положительным работником, — сказал он ей.

— Могла бы? — округлила она глаза.

— Да, могла бы, — подтвердил Черняк, — но ты часто горячишься там, где это не нужно. Ты многого еще не понимаешь, но со временем, надеюсь, поймешь.

— Чего это я не понимаю? — обиженно вскинулась Люся.

— Вот это я и хочу тебе объяснить. Есть много важных понятий на свете, и среди них — дисциплина, ответственность, активность. Все, однако, зависит от того, как это осуществляется в жизни. Самое доброе дело можно превратить в его противоположность. Взять, к примеру, дисциплину. Нужно дело? Весьма! Но попробуй подойти к нему формально, абстрактно, не имея в виду человека, которому дисциплина должна быть на пользу, ее можно превратить черт знает во что. И еще: вот ты писала в докладной и сегодня тут повторила: «Что будет, если все станут поступать так, как Сатановский?» Слово «все» ты подчеркнула. В этом ты видишь главную опасность его поступка. Так ли я тебя понял?

— Так, — невнятно ответила Люся, не зная, какой вывод из этого собирается сделать секретарь.

— Так вот, — строго подолжал тот, — запомни: то, что относится к одному человеку — хорошее или дурное, — никогда не обобщай. Это и неверно, и попросту нечестно. В данном случае ты полагаешь, что Сатановский поступил плохо, так?

— Да.

— Ну вот, предположим, один человек поступил плохо, но кто дал тебе право полагать, что все, то есть вся наша заводская комсомольская организация, может поступить точно так же? Почему ты так плохо думаешь обо всех?

— Я сказала: «если»...

— Но, сказав «если», ты допускаешь, что такое возможно?

В начавшейся полемике Люся вдруг применила средство, оказавшееся для секретаря совершенно неожиданным, — она заплакала. Положила голову на руки и заплакала. Володя Черняк растерянно глянул на членов комитета, как бы прося у них помощи в неожиданной ситуации.

Две девушки склонились к Люсе:

— Что ты? Глулости...

— Перестань...

— Ничего страшного не произошло, — заявила одна из них. — Просто человек начал что-то понимать.

Вскочив, Люся выбежала из комнаты.

— Надо было помягче, Володя, — сказала вторая девушка.

— Я ведь не думал, — попытался оправдаться тот, все еще в растерянности от Люсиных слез.

— Ничего страшного, — откликнулась первая девушка, — это будет для нее наукой.

Аркадий чувствовал себя виноватым. Он не думал о том, что повинна сама Люся, затеявшая это дело, и конечно же ей стало досадно, когда оно повернулось против нее.

Комнатушка опустела. Об оконное стекло все еще билась, безнадежно жужжа, большая глянцеви́то-черная муха.

4

Несколько недель прошло, пока Аркадий во второй раз выбрался к Гринбоймам. Все это время был он по горло занят работой и своими общественными — партийными, комсомольскими делами. Так случилось, что и субботние, и воскресные дни тоже оказывались занятыми. Всего лишь один раз за это время он им позвонил.

Трубку взяла Сима Самойловна. Она обрадовалась его звонку, стала выговаривать, почему не является. На вопрос о муже ответила:

— Если меньше трех раз в неделю бывает на фабрике, он не живет. Вот и сегодня ушел туда еще с утра.

— У него там работа? — спросил Аркадий.

— Во-первых, он остался членом парторганизации фабрики, посещает собрания, выполняет поручения. К тому же он в группе народного контроля, в комиссии по качеству, еще в каких-то комиссиях — всех и не перечислю. Когда человек ищет работу, он ее находит.

— Но это хорошо, — заметил Аркадий.

— Хорошо то, что в меру, — ответила Сима Самойловна.

— А вы считаете, что он делает сверх меры?

— Мне кажется — так, — ответила та и тут же спросила: — Когда же вы к нам?

— Не могу сказать точно, но обязательно буду.

— Вот когда придете к нам, Семен Евсеевич никуда не уйдет. — Голос ее в трубке стал тише: — Хотите, выдам секрет.

— Какой же?

— Семен говорит, соскучился по нем, как по родному. . . Слышите? Это — о вас. . .

— Слышу.

— А вы не являетесь...

— Приду, Сима Самойловна, обязательно приду.

— И внучка наша хочет с вами познакомиться.

— Внучка?

— Да, от деда столько о вас наслышалась, что хочет и увидеть. Она пожалела, что была в Хабаровске, когда вы приходили.

— Но там ведь у нее интерес...

— Что вы... Вилами по воде писано. Приходите.

— Спасибо, Сима Самойловна. Приду.

Аркадий положил трубку.

Внучка... Конечно же в свой первый приход он надеялся ее увидеть. Чем-то она его интересовала. «Привередлива», — говорит о ней дед. Узнав, что у нее есть, надо полагать, жених, думал он, решил: к чему приходить? Да, признался он самому себе, это тоже было причиной того, что он так долго не мог выбраться со вторым визитом. Но это ведь нехорошо, — стал он тут же себя упрекать. Как мило с ним разговаривала Сима Самойловна! А чего стоят слова Семена Евсеевича... Она выдала его секрет. Славные, добрые люди...

Но и на этот раз всю неделю не смог он выполнить обещание. Отложил было на воскресенье, но на этот день был объявлен в цехе коллективный выезд за город, и Аркадий должен был в нем принять участие.

За город поехали все члены бригады, кроме Мусы Гризатулина. У них с женой не было на кого оставить ребенка, а брать с собой не рисковали — слишком мал еще, несмышленыш.

Василий Крылов и Олесь Чередниченко поехали с женами и детьми. Неженатый Егише Папаян прихватил гитару, которую нарек своей невестой. Всю дорогу веселил он народ в автобусе, а затем на месте. Место — чудо дивное! Километров пятнадцать от города, у подножия высокой, широко раздавшейся сопки, сплошь покрытой смешанным лесом — кедр, ольха, осина. В их густо-зеленом окружении, то здесь, то там, школьницей в белом фартучке мелькнет молодая березка...

Невдалеке разлилось озеро. У берега зеленеет оно отражением деревьев и кустов, чуть подальше переливается голубизной, а ближе к середине пламенеет купающимся в нем солнцем.

С ликующим криком и визгом плещется у берега загорелая ребятня. Чуть подальше, сильно взмахивая руками, проплывают юноши, девушки. Наплававшись, вы-

скакивают на берег, прыгают, с хохотом гоняются друг за другом юноши — в узких мокрых плавках, девушки — в цветных купальниках, выставив почти голую красоту загорелых тел сразу всем стихиям — солнцу, воздуху, воде, сами — неумная стихия...

Жены Василия Крылова и Олеся Чередниченко — у Василия — черноокая смуглолицая украинка, у Олеся — высокая светлая и голубоглазая красавица откуда-то из-под Рязани — стеснялись поначалу посторонних мужчин, но вскоре и они, как другие, сбросили платья и остались — Оксана (так звали жену Крылова) в красном, а Евдокия (Чередниченко) в голубом купальниках. Вместе с верхней одеждой женщины сбросили и бремя материнских и иных обязанностей, вспомнили, что они еще молоды, и, весело смеясь, побежали к воде.

Папаяна и его гитару подхватила другая компания, и песня его доносилась теперь откуда-то издалека.

Наплававшись, Василий отдыхал под высоченным кедром. Рассеянными солнечными бликами было испещрено богатырское тело. Рядом лежал Аркадий. Молчали. Не хотелось говорить. Хорошо было после купания ощущать на себе легкое дуновение ветерка, видеть на себе солнечные блики, вдыхать острые, живительные запахи земли.

— Ишь смельчак нашелся! — улыбаясь в мокрые усы, произнес вдруг Крылов.

— О ком ты? — не понял Аркадий.

Василий взглядом, молча, указал себе на грудь. Аркадий слегка приподнялся на локте и увидел: искусно лавируя в дремучих волосах на груди богатыря, пробивал себе дорогу маленький муравей...

— Щекочет, черт... — улыбнулся в усы Крылов. — Такая мелюзга, а не дрейфит, действует!... — Какое-то время он с детским любопытством следил за передвижением малюсенького существа и сказал: — Для него это же все равно как если бы мы с тобой попали в африканские джунгли... И что бы мы? Перетрухнули, конечно, да еще как! Эх ты... — Василий примял волосы на груди и подставил спасительный палец. Муравей тут же воспользовался неожиданной помощью и благополучно перебрался на высокую травинку...

Аркадий сказал:

— Знаешь, Вась, о чем я думал, пока ты с муравьем возился?

— Ну?

— Помог ты равному себе.

Крылов уставился на Аркадия:

— Что ты хочешь этим сказать? Человек подобен муравью?

— Наоборот! Муравей, хочу сказать, подобен человеку.

— Каким же образом?

— Муравей этот в своем муравьином обществе такой же богатырь, как ты в своем. Поэтому он так смело двигался по твоим джунглям.

— Возможно, — усмехнулся Крылов.

Аркадий лежал на спине, сплетя пальцы под головой. Зеленое, голубое и золотистое — вершины деревьев, небо и солнце — колыхалось над ним. Он прикрыл глаза. Удивительный покой наполнял его молодое тело. Он задремал. Вдруг сквозь дрему почудилось, что к нему обращаются с каким-то вопросом.

Крылов приподнялся:

— Дрыхнешь?

— Ничуть.

— Тебя ведь спрашиваю...

— Что?

— Будет ли этому конец?

— Чему?

— Не прикидывайся! — Василий всем корпусом повернулся к товарищу, а взгляд его — взгляд человека, которому очень важно, чтоб всем вокруг него было хорошо. — Вот ты — бригадир, — сказал он, — знатный человек на заводе, с тобой считаются. Но заслужил ли ты все это?

— А я и не говорю...

— Заслужил, — продолжал Василий, — по всем пунктам. Кроме одного.

— Какого же?

— Сам знаешь.

— И не догадываюсь.

— Тогда поясню. Вот — наша бригада: я и Олесь имеем хороших жен, славных ребят, старшенькие скоро в школу пойдут. У Мусы и Хафизы тоже есть уже первенец. Егеше холостяк, но у него хоть гитара за невесту... А у тебя и того нет...

— Вот ты о чем, — недовольно промолвил Аркадий.

— Да, об этом, — сказал Василий и подчеркнуто повторил: — Об этом...

— Что — об этом?

— А ты не понял, о чем речь?

— Нет.

— И тебе не стыдно? Так назвал Маяковский одну из своих поэм: «Про это». О том самом, значит, о самом важном. . .

— Маяковского люблю, — ответил Аркадий, — но эту вещь его не читал.

— И напрасно. — Крылов наморщил лоб. — Когда-то я целые куски из этой поэмы знал наизусть. Вот послушай. . .

Эта тема день истемнила в темень,
колотись — велела — строчками лбов.

Имя
этой теме

Затем, — пояснил Крылов, — следует многоточие и восклицательный знак. Вместо слова, которое должно было на этом месте стоять. Какое, как ты думаешь, слово?

— Наверное — любовь? — неуверенно ответил Аркадий.

— Вот, вот, — подхватил Крылов. — Оно-то и имеется в виду. Послушай дальше:

Чтоб не было любви — служанки
замужеств,

похоти,

хлебов.

Постели прокляв,

встав с лежанки,

чтоб всей вселенной шла любовь.

Каково?

— Сила! — воскликнул Аркадий и надолго задумался.

— Но Маяковский и сам никогда не был женат, — заметил он.

— И что же, ты собираешься ему подражать?

Но тут перебили их разговор. Появились женщины. Оксана вела за руку обоих недовольных русоволосых малышей, они хотели еще побыть в воде.

— Покупались, и хватит, — строго выговаривала им мать, — еще утонете.

— А Галя, а Валя почему? — хныкали они, имея в виду девочек Чередниченко.

— С ними остался отец, — ответила Оксана. — Если ваш папа хочет, пусть берет вас с собой.

Крылов тут же поднялся во весь свой богатырский рост, крикнул Аркадию: «Пошли!» — и схватил стар-

шего мальчугана на плечи. Вскочил и Аркадий, подхватил младшего, и вместе побежали.

— Тише, черти, — крикнула Оксана им вслед, — детей уроните!

Счастливым хохотом заливались малыши.

Накупавшись, вернулись на место. Женщины уже успели набросить на себя легкие ситцевые халатики. Под кедром на разложенной скатерти аппетитно зеленели пупырчатые огурцы, белели очищенные крутые яйца, горкой высились холодные котлеты. Стояло несколько бутылок вина и лимонада для детей. После купания на свежем воздухе пилося и елось с особым аппетитом. Подходили из других компаний, присаживались, вместе слушали транзисторную музыку, подпевали.

По ту сторону сопки медленно угасало солнце. Вот уже осталась от него только прохладная алая полоса, отраженная в озере. Мама забеспокоились, как бы вечерняя прохлада не повредила малышам. Оксана и Евдокия переодевали ребят, Олесь помогал им собираться.

Продолжали под высоким кедром прерванный ранее разговор Василий и Аркадий.

— Я не верю женщинам, — нахмуренно сказал Аркадий.

— Как так?

— Не верю, и все.

— Ты думаешь, все похожи на Зою? — Василий знал историю первой любви товарища.

— Не в ней дело.

— В чем же? На заводе так много хороших девчат.

— Не для меня.

— Обжегшись на горячем, всю жизнь дуешь на холодное?

— Знаешь, я тебе как-то уже говорил, — ответил Аркадий, — ни с кем не сойду, пока не встречу женщину... Такую, что почувствую: без нее — не жить...

— И ты такой еще не встречал?

Аркадий молчал, как бы не слыша вопроса, затем сказал:

— Валерий подвел.

— Какой еще Валерий?

— Крас.

— Этот хиппи?

— Хиппи, говоришь? Не совсем так. Из него еще может выйти человек. Я собрался этому помочь. А он уехал.

— Но — какое отношение?..

Неожиданно для себя Аркадий рассказал о встрече перед отъездом в санаторий.

— И больше ты ее не видел?

— Нет. Думал, вернусь, узнаю у Валерия — где, что? И вот нет его.

Василий расхохотался.

— Чему смеешься? — обиженно спросил Аркадий.

— Ищешь журавля в небе?

— А синицы мне ни к чему.

— Василий! Аркадий! — окликнула их Оксана. — Автобус отходит.

Заводской автобус уже двинулся с места, когда они втиснулись в него.

Наполненный громким говором, частыми всплесками смеха, лесной свежестью, автобус в сгущающихся сумерках быстро мчался по асфальту меж молодых дубовых рощиц по сторонам дороги.

Над все более удаляющейся сопкой долго еще угасала тонкая полоса заката...

5

Странно, но на следующий день с утра у Аркадия тяжело было на сердце.

Отчего бы? — думал он. Накануне так хорошо провел день в лесу. Разве что разговор, затеянный там Василием? Но у него не было злого умысла, — Аркадий это знал. Наоборот, он пекся о его благе. И все же... Все же задел тот болезненное место. Он, Аркадий, никогда ни с кем об этом не говорит, но — одинок он, и никуда от этого не денешься. Хотя почему одинок? — тут же мысленно перебил он себя. А товарищи, друзья, все, кто был с ним, — разве не близкие люди! Все это верно, отвечал он себе, но душа требует еще какой-то близости, той самой, которую поэт не посмел назвать по имени, а обозначил многоточием... «Про это». Речь о том, без чего жизнь не в жизнь, без чего она пуста, бессмысленна.

«Чтоб всей вселенной шла любовь...»

Здорово сказано. Но коли так, должна она коснуться всех, не обойти ни одно живое существо. А его вот обошла...

Эти мысли мучили его перед сном, с ними проснулся он на рассвете.

Испортилась и погода. Вчера был такой славный сол-

нечный день, а сегодня небо нахмурилось, вот-вот дождь пойдет. Невесело и на душе.

Он наскоро оделся (есть не хотелось), схватил болоньевый плащ (на случай дождя) и, уже сбега с лестницы, спохватился — с новой недели бригада его трудится ведь во вторую смену... Как он мог об этом забыть? Что же делать? Назад в свою пустую малогабаритную квартиру возвращаться не хотелось. Куда же девать половину дня? И тут он вспомнил о Гринбоймах. Конечно же к ним! Позвонить? Нет, он прямо к ним заявится. Сима Самойловна ведь сказала: не звонить, не предупреждать — выберется свободный часок, приходите. Вот он и придет. Но не рано ли? Ничего, не чужие ведь... Уже в первый свой визит он почувствовал себя у них как дома. Сима Самойловна чем-то напоминает ему родную его бабушку — так же приветлива, такая же труженица и умница... И хорошо, что не застанет внучку, она, конечно, на работе. И к чему ему она? У той в Хабаровске жених — на здоровье! Он с радостью проведет время с ее дедом и бабушкой — чудесные старики! Да, он во все не так уж одинок, Аркадий, есть и у него родной дом...

Через полчаса он был у Гринбоймов. Извинился за неожиданный приход. Хозяева, оба, — перебивая друг друга:

- Хорошо, что не позвонил.
- Хорошо, что не предупредил.
- К чему церемонии?
- Но не рано ли? — спросил Аркадий.
- Хорошо, что рано.

Он работает сегодня во вторую смену. Вот и хорошо, ответили, он успеет с ними пообедать.

Сима Самойловна извинилась — она торопится в овощной магазин, привезли свежую капусту. Она хочет приготовить к обеду голубцы. Он любит голубцы? Давно не ел и вкуса не помнит. Ну вот отведаст ее голубцы и вспомнит.

В дверях — мужу:

— Отложи свою работу и займись гостем. Я мигом обернусь.

— Что за работа? — спросил Аркадий, когда дверь за хозяйкой закрылась.

— Не знаю, что и сказать, — ответил Семен Евсевич, — когда делать нечего, все кажется делом.

Он ввел Аркадия в смежную комнату. На подоконнике большого оголенного окна стояла банка с разведенной светло-голубой краской, около нее лежала кисть.

— В прошлом году, — пояснил хозяин дома, — производили ремонт, но окно и дверь покрасили неудачно.

— И вы сами решили это исправить? — спросил Аркадий.

— Ну да.

— Не для вас это дело — взбираться на подоконник.

— А для кого?

— Это дело по мне! — ответил гость. — Я такую работу люблю. Когда служил на флоте, красить и драить приходилось, ого! Сейчас же примусь...

— Не торопись! — придержал его Семен Евсеевич. — Представляешь, вернется Сима и застанет тебя за работой. Ох и влетело бы мне... Ты хоть сегодня завтракал?

— А если нет?

— Так и говори. Позавтракаешь, а там увидим.

Вскоре вернулась Сима Самойловна. Муж ее тут же пожаловался на гостя:

— Знаешь, Сима, он ведь сегодня еще не завтракал, этот красавец!

Она поставила расpiraемую крупными кочанами кошелку и всплеснула руками:

— Что же вы молчали? А я там стою с соседкой и выслушиваю ее байки... Сейчас соорудим...

Не прошло и десяти минут, как на столе золотые очи пиялила глазунья, тут же стояли хлебница и масленка, и приятный пар поднимался над чашкой кофе.

Аркадий вдруг почувствовал зверский аппетит, а хозяева (они уже позавтракали) смотрели на него с удовольствием. Сима Самойловна вскоре удалилась на кухню, ей надо было успеть к обеду приготовить голубцы.

Аркадию бросилось в глаза, что Семен Евсеевич сегодня что-то выглядит невесело.

— Вам нездоровится? — спросил он.

— Тебе кажется.

— Что-то вы выглядите...

— Неважно?

— Не то что, но...

— Да, гипертония, будь она неладна. Но не только...

— Что же еще?

— Долго говорить.

— Все же?

— Ну, хорошо, ты расправляйся с глазуньей, а я тебе расскажу. Понимаешь, куда ни кинь, всюду одно и то же. Без этого дела ни туда, ни сюда...

— Что же за дело такое?

— Диалектика.

— Что? — поперхнулся Аркадий и не донес вилки до рта.

— Диалектика, говорю. Тебе удивительно, что ты слышишь от меня такое слово?

— Нет, но...

— Понимаю, — сказал Семен Евсеевич, — институтов не кончал, наук никаких не изучал, откуда же, хочешь спросить, у меня диалектика? Отвечу. А протопать от Смоленска до Сталинграда, а потом от Сталинграда до Берлина — это тебе не диалектика? Так что, — он на минуту задумался и продолжал: — Без нее — ни на шаг... Но речь теперь о другом. Война закончилась, наступил мир. Мы стали крепко на ноги, развернули строительство — новые заводы, города. Взять хотя бы и наш небольшой город, как разросся в последние годы! Что может быть лучше?

— Ну, да, — согласно закивал Аркадий, не зная еще толком, к чему клонит собеседник.

— Все это хорошо, очень хорошо, — добавил тот и вдруг как бы совсем не к делу спросил: — Волочаевскую улицу знаешь?

— Как же? В детстве я на этой улице жил.

— А теперь приходится там бывать?

— Не часто, но бываю. Прекрасная улица стала, новые пятиэтажные дома.

— А что раньше было, помнишь?

— Деревянные постройки первых переселенцев.

— Так вот, одно из строений по правой стороне улицы было моим.

— Вашим?

— Да. Вскоре по прибытии мы и построили этот дом. Когда я после женитьбы переехал в колхоз, в доме оставались мои родители. После войны и я тут поселился с семьей. К тому времени вокруг дома поднялся сад, радовали глаз огородные грядки. И не было у меня большего удовольствия, как в выходной или субботний день после работы покопаться в саду, в огороде, видеть, как растет все, и помогать матушке-природе производить благословенное изобилие свое на радость людям. Что может быть лучше этого?

— Ничего не может быть лучше, — подтвердил Аркадий и спросил: — А теперь?

— Теперь? Город, знаешь, растет. И растет не лишь бы как — по плану. План утверждают высокие инстанции. И вот по этому плану очередь подошла к нашей улице. С правой стороны ее предстояло поставить три пятиэтажных кирпичных дома на сто квартир в каждом. И ставить их надо было на том самом месте, где стояли наши деревянные строения. Мне и соседям моим предложили выбор: за дома свои, сады, огороды получить сколько следует и — или поселиться в новых коммунальных домах со всеми удобствами, или на полученные деньги приобрести квартиру в кооперативном доме. Вот мы и приобрели эту кооперативную квартиру.

— Вам жаль старого дома? — спросил Аркадий.

— Что значит — жаль? — переспросил Семен Евсевич. — Иногда бываю я на этой самой Волочаевской. Прошелся по ней и вчера. Большие дома, люди получили в них удобные квартиры — хорошо! Но как глянешь на холодный асфальт, прикрывший землю на том самом месте, где когда-то цвели мои груши и яблоньки, больно становится сердцу... — Семен Евсевич умолк, затем добавил: — Вот тебе еще раз — диалектика...

— Это не худший вид ее, — заметил Аркадий.

— И еще, — не слушая его, продолжал Семен Евсевич, — раньше, в старом доме моем, приходилось колоть дрова, чтоб отопить его, воду ведрами таскать из колодца и делать много других работ. Теперь, в новых домах, ничего этого не нужно. Живешь на всем готовом. Тепло, вода, газ — все под рукой, и пальцем пошевелить не надо...

— И хорошо, что так, — заметил Аркадий.

— Хорошо-то хорошо, — ответил Семен Евсевич, — да не очень. Вот вы, молодежь, вам уже даже неведом вкус такого простого дела, как колка дров... А это ведь — радость! Вспоминаю: занесешь топор и опустишь на толстый сухой чурбак — трах! — и он разлетелся надвое. Потом еще и еще половинишь... Попадется сук, топор вязнет. Поднимаешь вместе с топором, о колоду — раз, если надо — во второй, и — разлетается... Мороз под тридцать, а тебе жарко, от тебя пар идет... А у ног кучей — сухие пахучие поленья... Эх... Запомни, Аркадий, пока жив человек, обязан он колоть дрова... А не колет дров, не достоин он, чтоб земля его носила...

— Только колку дров вы имеете в виду?

— Труд — вот это имею в виду, — ответил Семен Евсеевич, — человек должен трудиться. Трудится он, и все блага — его! А не трудится человек, жди от него всякой пакости...

От вкусного завтрака, от слов Семена Евсеевича Аркадий ощутил в себе какую-то веселую приподнятость. Утреннего уныния как не бывало.

— Теперь я понял, — воскликнул он, — почему вы решили, Семен Евсеевич, перекрасить окно и дверь...

— Что же, — улыбнулся тот, — что-то делать надо.

— И все же я эту работу у вас отберу, — решил гость.

Из кухни появилась Сима Самойловна.

— Еще кофе? — предложила она.

— Спасибо, — ответил Аркадий, — сыт — вот так! А теперь собираюсь отработать завтрак.

— Что вы, — показала она на мужа, — человек еле придумал себе какую-то работу — и вы хотите ее у него отнять? — Обвела обоих смеющимся взглядом и решила: — За столом надо уступить место старшему, за работой — тому, кто помоложе.

— Bravo! Вы умница, Сима Самойловна! — воскликнул Аркадий.

Не прошло и нескольких минут, как он в одной майке (рубашку скинул) стоял уже на подоконнике с кистью в руке.

— Я с этим справлюсь по-флотски, — заявил он, — быстро и хорошо! А вы, Семен Евсеевич, займите почетное место в кресле и поинтересуйтесь, о чем сообщают сегодняшние газеты.

Но Сима Самойловна нашла для мужа другое дело — прокручивать мясо для голубцов.

Аркадий усердно взялся за дело. Работал не торопясь, аккуратно, стараясь, чтоб ни одна капля краски не попала в неположенное место. Любую работу надо делать чисто — таково было его правило. Захваченный делом, Аркадий и не заметил, как прошло больше часа. Вдруг раздался звонок в дверь. Сима Самойловна пошла открывать. «О, Миронька, — воскликнула она, — так рано сегодня на обед?»

«Внучка!» — понял Аркадий, и, неизвестно отчего, у него сильно забилося сердце. Это его самого удивило, и он подумал: оттого, что сегодня он не полагал ее встретить. И еще подумал: любопытно глянуть на нее, столь

ко о ней наслышан. Старики зовут ее Мирой, Миронькой — он не раз слышал уже от них это имя.

В коридоре перешли на шепот. Рассказывают, что в доме гость.

Звонкий голос внуки:

— Бабуля, у меня всего полчаса. Сегодня у нас консультирует профессор. Он специально приехал из Хабаровска.

Аркадий растерялся. Таким она увидит его? На подоконнике, в майке, с пальцами в масляной краске? Но не успел он оглянуться, как она появилась на пороге. Теряя равновесие, крутанулся он на одной ноге и, чтобы не упасть, протянул кисть вперед... На оргалитовый красный пол упало голубое пятно.

— Вы? — вне себя от изумления выдохнул Аркадий и прыгнул на пол. — Марлена??

6

Ну и смеялась же она! Она изнемогала от хохота. Он, обалдевший, беспомощный, стоял перед нею...

Привлеченные смехом, Сима Самойловна и Семен Евсеевич появились из кухни. Они знали, что внука их при случае не прочь посмеяться, но так хохотать?! Они заметили изумление Аркадия, услышали его: «Марлена?..»

— Вы что, знакомы? — удивился Семен Евсеевич.

— Конечно, — ответила Марлена.

— Каким образом? — спросила бабушка. Внука не успела ответить, так как одновременно услышала вопрос Аркадия:

— Разве... помните?

— Конечно, помню, — ответила она и тут же повернулась к старикам: — Представляете, я вхожу, а он на подоконнике — ха-ха — с кистью... Он чуть не свалился, ха-ха...

— Довольно! — прикрикнул дед.

— Ты как пойдешь смеяться... — укорила хохотунью бабушка.

— Вы понимаете, — без смеха, серьезно обратилась Марлена к Аркадию, — с тех пор, как дед вернулся из санатория, он не перестает о вас говорить. Бабушка с того дня, как вы побывали у нас, тоже. Ну, думаю, надо же на него посмотреть. А мы-то, оказывается, знакомы...

— Извините, — сказал Аркадий, — пойду смою крас-

ку, — и вышел. Сима Самойловна за ним, показать, где что.

— Что за смех такой? — тихо, с укоризной спросил Семен Евсеевич. — Человек ведь может подумать бог весть что...

— Не подумает, — весело ответила Марлена и поцеловала деда в голову, в то место, где между седовато-жестких волос стыдливо круглилась у него лысинка.

Осталось это у нее с детства — она тогда часто любила говорить: «Дай, дед, я поцелую тебя в лысинку». Он подставлял голову и испытывал при этом блаженство. Но теперь дед только недовольно пожал плечами:

— Впервые видеть человека — и так смеяться.

— Не впервые, говорю тебе...

Позже, во время обеда, она рассказала, как их познакомил Валерик.

— Валерик? — с удивлением спросил Семен Евсеевич.

— При чем тут Валерик? — сказала Сима Самойловна.

— Они вместе куда-то шли, — ответила Марлена, — а я им навстречу. Остановились. Вы помните, Аркадий, как Валерик вас рекомендовал? «Человек правильный на все сто процентов — не пьет, не курит и тэдэ». Имя ваше, по правде сказать, я тут же забыла, но характеристику запомнила. Действительно вы такой — правильный?

— Вам должно быть известно, какой Валерик пересмешник...

— Известно, но в данном случае он, видимо, был прав. Дед вот то же о вас рассказывает...

Но дед их перебил:

— Откуда, Аркадий, ты знаешь Валерика?

— Он работал у нас на заводе. Помните, в санатории я получил письмо, ребята из бригады писали мне о парне, который после моего отъезда бросил пить, перестал прогуливать. Это о нем шла речь.

Аркадий хотел спросить, откуда знают Валерия хозяева этого дома и почему все они зовут его Валериком, но не стал этого делать. Слишком много неожиданного было для него и так.

— Как вам мои голубцы? — полюбопытствовала хозяйка.

— Отменны! — похвалил Аркадий.

— Это блюдо, — сказал Семен Евсеевич, — евреи когда-то вкушали раз в году, в день большого праздника.

— Может быть, и сегодня большой праздник? — спросила Марлена.

— Ты права, — ответила Сима Самойловна, — когда сходятся хорошие люди, это всегда большой праздник. Ешьте, прошу вас, — и она каждому в тарелку подложила еще по одному празднично пахнущему голубцу...

— Уже опаздываю! — спохватилась вдруг Марлена и выскочила из-за стола. Бабушку — чмок в щеку, деду — в лысинку, Аркадию — приветственный взмах рукой.

— Всегда так: хватать — и нет ее! — то ли с укором, то ли с плохо скрытым удовлетворением сказала бабушка. И тут же спросила: — Как вам внучка? — В тоне ее вопроса был уже и ответ: «О такой разве скажешь плохо?»

Поэтому Аркадий не ответил. Спросил:

— Почему вы ее зовете Мирой?

— О, тут целая история, — ответил дед.

— Мать ее, наша невестка, — сказала бабушка, — преподает французский. Она окончила Хабаровский пединститут.

— Факультет иностранных языков, — добавил Семен Евсеевич.

— Когда невестка родила дочь, — продолжала Сима Самойловна, — она хотела назвать ее на французский манер — Мадлен.

— Ей нравилось это имя, — пояснил Семен Евсеевич, — еще и потому, что так звали героиню послевоенного романа Эренбурга. Она любила этого писателя.

— Но наш сын Давид, — сказала далее бабушка, — предложил внести небольшое изменение — заменить «д» на «р».

— То есть не Мадлен, а Марлен, — уточнил дед. — Так, говорил он, это будет больше на наш, советский лад. Вы знаете, что означает Мар-лен?

— Да, — ответил Аркадий.

— И нам это имя тоже понравилось, — продолжала Сима Самойловна. — Марлена созвучно имени Мариам, а Мариам почти то же, что Мириам — так звали мою бабушку.

— Одним словом, имя в честь прабабки, — добавил дед.

Сима Самойловна:

— Записана она: Марлен.

Семен Евсеевич:

— Зовут ее Марленой.

Сима Самойловна:

— А для нас она — Мира, Мирела...

Аркадий поблагодарил за обед и попрощался.

Всю дорогу в автобусе и позже, когда он пришел в цех, и во все время, пока работал, ставил и снимал новенькие детали со своего полуавтоматического станка, — он, кажется, никогда еще не ставил и не снимал их с таким усердием, — у него в ушах, во всем существе его, не переставая, звучали, пели, играли эти слова: Мира — Мирела — Марлен... Мира — Мирела — Марлен... Они были всюду и во всем, эти слова, они излучали радужный свет, ими полны были воздух, небо, земля...

Ребята знали — бригадир их мастак работать. Менее ста двадцати процентов в смену не вырабатывал. И они не отстают. Но когда в этот раз к концу дня взглянули на его рабочее место, они были ошеломлены. Неслыханное количество новеньких отточенных деталей слепило глаза.

— Ну и даешь, бригадир! — присвистнул Папаян.

— Шайтан в тебя забрался, что ли? — спросил Гризатулин.

— О, цэ да! — только и смог выговорить Чередниченко.

Василий Крылов, положив руку на плечо Аркадия, заглянул ему в глаза и тихо сказал:

— Случилось что-то хорошее? Вижу.

С благодарностью за понимание посмотрел на него Аркадий.

— Случилось. Расскажу.

— Хорошо, — ответил Василий, — другим разом, — и отошел к своему станку.

После работы Аркадий вернулся домой. Включил свет и... не узнал своего жилища. Все в нем было как всегда, на тех же местах, и все же сквозило во всем что-то небывалое новое. Он долго плескался под душем, с удовольствием обтирался махровым полотенцем. Что бы выкинуть такое-этакое, а? Он один, никто не видит его. Руки — на пол, ноги кверху, пошагал... Комнатушка, жаль, мала, он мог бы долго так шагать...

Около телевизора встал на ноги. Цветной салфеткой была покрыта коробка старенького «Рекорда», на которой примостился плюшевый мишка. Аркадий и не помнил, откуда тот взялся. Да, года три тому назад, когда

жившей здесь молодой чете с трехлетним сынишкой предоставили жилье попросторней, а его, холостяка, вселили в эту однокомнатную квартиру, прежние хозяева оставили ему кое-какую мебелишку, в том числе телевизор и этого плюшевого медвежонка. Жилось тому, видать, несладко у юного владельца — на боках и животе плюш был стерт, болталось полуоторванное ухо, а на мир глядел многострадальный звереныш одним-единственным черным пуговичным глазом, второй был напроць вырван.

Когда Аркадию становилось очень уж тоскливо, он брал в руки мишку.

— Что, старик, — говорил он ему, — несладко живем? И долго еще так будет?

И теперь задал он ему тот же вопрос. О чудо! Неужто многострадальный мишка обрел дар речи? Аркадий мог бы поклясться, что услышал его ответ: «Недолго»...

— Недолго, говоришь? Ах, зверюга милый, — Аркадий поднял мишку над головой, затем поставил его на место, а сам, не разбирая постель, упал на низкую тахту лицом в подушку.

Неужто только сегодня утром из этого своего жилья уходил он с такой тяжестью в душе? Он бежал к Гринбоймам искать у них спасения от тоски и одиночества... А теперь? Эти минуты, когда он лежит лицом в подушку на неразобранной постели, от прошедшего утра отделяют, кажется, не часы — нет, — а годы. Что же в эти годы-часы произошло? Ничего особенного... Но что все же было? Был ее смех... От изумленья он чуть не свалился с подоконника... А она смеялась... Попробуй не смеяться... Он представляет себе, какое у него было обалдевшее лицо... Почти месяц прожил с ее дедом в санатории и ничего не знал. Стал заходить к ним в дом и ни о чем не догадывался... И вот — она... Мирела — Марлен... Когда Валерий (почему в доме у Гринбоймов все его кличут Валериком?) их познакомил, светлые волосы Марлены двумя широкими волнами падали ей на плечи. Сегодня золотистым стогом они были собраны у нее на голове. Но он ее сразу узнал. А глаза... Тогда, на улице, в предвечерний час казались они черными. Сегодня, днем, — светло-карими. Много говорили эти глаза. Но что — оставалось неуловимым для него и в тот вечер, и сегодня... И только теперь это ему стало ясно. Двух маленьких оленят ему когда-то пришлось видеть.

У них, у этих нежных зверей, были точно такие глаза — огромные, чуточку испуганные и без меры жизнелюбвые...

В ушах его все еще звенит ее смех, не обидный — добрый и радостный смех...

Так в ту ночь Аркадий и не сомкнул глаз. К утру лишь забылся в недолгом сне.

Над сопками, чуть синеющими у горизонта, едва прорезалась утренняя заря. Заглянув в окно Аркадиного жилища, она застала тут спящего человека. Над ним чутко бодрствовал маленький одноглазый медведь с наполовину оторванным ухом...

7

— У меня возникло странное сравнение, — после долгого молчания сказал он. — До такого, мне кажется, никто еще не додумался.

— Какое же? — спросила она.

— Отражение луны в реке видите?

— Конечно.

— Хорошо отточенная деталь.

— А? — приподняла она вопросительно брови.

— Да, деталь. Река — шлифовщик. Отшлифовала до блеска, а кругом серебряная стружка, ею покрыта вся река..

— Является ли человек, которому пришло в голову такое сравнение, поэтом, сказать затрудняюсь, — не торопясь промолвила она, — но что он руководит бригадой шлифовальщиков на заводе, это — факт! — И она звонко рассмеялась. Отзвук ее смеха перелетел на другой берег реки и затерялся там среди немых трибун городского стадиона.

Было поздно. Вдвоем стояли они на берегу Биры, смотрели на ее стремительно бегущие волны. От реки веяло прохладой.

Вокруг было пусто. С одной стороны темнело здание архитектурных мастерских, законченное снаружи. На противоположной стороне возвышались еще два строящихся здания. Среди них широкими окнами светился высокий белый дом современной архитектуры, чем-то похожий на большой корабль.

— Город уже спит, а тут еще бодрствуют, — сказала Марлена. Мимо этого дома — тут помещался областной

комитет партии — они прошли уже несколько раз туда и обратно. — Бай-бай, — сказала Марлена.

— Еще немного, — попросил Аркадий.

В длинном ряду домов с потухшими окнами на противоположной стороне дороги был и кооперативный дом, в котором жили Гринбоймы. Аркадий привел сюда Марлену, провожая ее с концерта, на котором они побывали вместе. Немного постояли во дворе, а когда Марлена собралась прощаться, он попросил:

— Пройдемся еще к реке.

Это был уже третий или четвертый вечер, который они проводили вместе. Встречи эти их сблизили. Они о многом говорили, во многом сходились во взглядах, а там, где были в чем-то несогласны, одному было интересно узнать мнение другого.

Она держалась с ним по-дружески просто, и он понемногу стал привыкать к тому, что Марлена, на встречу с которой он перестал уже надеяться, — рядом. Иногда она касается его руки, не возражает, когда он берет ее под руку.

Правда, после каждой встречи, придя домой, он сам себе не верил. Неужто правда, что всего полчаса тому назад она стояла рядом? Они о чем-то разговаривали, и он смотрел в ее глаза — огромные глаза молодого олененка, чуть испуганные и полные неуемной жажды жизни.

Он брал с телевизора медвежонка:

— Это правда, старик?

Но тот безответно смотрел на него единственным пуговичным глазом.

— Эх ты, — ставил его Аркадий на место, — ничего ты, бедолага, не знаешь...

Однажды, прощаясь, Марлена сказала:

— Вот вы придете домой один, наверное, вам будет тоскливо? — сказала просто, с сочувствием.

— А я, — ответил Аркадий, — не один.

— Как? С вами еще кто-то живет? Почему вы об этом молчали?

Ох и смеялась же она, когда он рассказал о медвежонке, смеялась до слез.

— Ну и шутник вы, — сказала. — Вы меня обязательно должны с ним познакомить.

Он это ей обещал.

В один из вечеров зашла у них речь о человеческих недостатках.

— Как вы думаете, — спросила она, — есть люди, у которых не было бы недостатков?

Он подумал и сказал:

— Думаю, что нет. Какой-нибудь недостаток есть у каждого.

— Но не каждый об этом знает, — заметила Марлена. — Вот вы — знаете?

— Да.

— В чем же ваши недостатки?

— У меня слабая воля.

— У вас — слабая воля? — удивилась Марлена. — Как же вы людьми руководите?

— Люди думают, что я герой, а я про себя знаю иное.

— Что же?

Он рассказал: когда отслужил на флоте и пришел сюда работать, поступил он в механический техникум при заводе. Работал и учился четыре года. Получил диплом техника-технолога и тут же должен был подать документы для поступления на заочную учебу в политехнический институт. Но он этого не сделал.

— Почему?

— Решил год отдохнуть.

— А потом?

— Потом пошел уже второй год, а я еще документов не подал.

— Причина?

— То-то же и оно! Побоялся. Трудно будет, не справлюсь, большие требования...

— А в будущем году?

— Поступлю обязательно. Но два года уже потерял.

Некоторое время шли молча. Вдруг она спросила:

— А у меня? У меня вы заметили недостатки? — сказано это было с известной долей кокетства, без чего, видимо, не обходится ни одна женщина в мире.

— Заметил, — ответил Аркадий.

— Какие? — насторожилась она.

Он смотрел на нее и улыбался.

— Почему же вы молчите?

— У меня была, — начал он, — славная бабушка, чем-то похожая на вашу. Помимо всего была она кладзем народной мудрости. Знала невероятное количество пословиц, присловий. Некоторые и я запомнил. Например: «У невесты большой недостаток — она слишком красива»...

Благодарно распахнутым взглядом окинула Марлена Аркадия и тут же опустила глаза.

— К сожалению, — сказала, — есть у меня и другие недостатки.

— Какие?

— Спросите об этом у моих деда и бабы.

— И что они скажут?

— Они скажут, что я расточительна.

— Вот как?

— Представьте!

— И это правда?

— Не знаю. Вот послушайте... — Она рассказала ему историю с сапогами, длинными эластичными белыми сапогами-чулками на высоком каблуке, из тех, которые ни в одном магазине не сыщешь, но которые все же молодые женщины и девушки носят. — У меня была возможность приобрести такие сапоги, — рассказала она. — Вы ведь знаете, такое бывает лишь по случаю. И представьте, дед и баба заартачились и денег не дали.

— У вас таких сапожек еще не было?

— Почему? Были черные и коричневые. Но вы представляете: к светлой дубленке (отец мне ее купил) белые сапожки...

— И что же, дед и баба настояли на своем?

— Нет, я их уговорила. Но пока уговаривала, сапоги продали другим. Вы, может быть, думаете, что мои дед и баба без недостатков?

— Хотел бы думать.

— Ошибаетесь. Не скажу многого, но один большой недостаток есть у обоих.

— Какой же?

— Они скупы.

— Скупы?

— Да.

— Вы это можете доказать.

— Истории с сапогами вам мало? Есть еще...

— Мне неудобно вмешиваться в ваши семейные дела, — сказал Аркадий, — но меня интересует: почему это дед и баба должны вам давать деньги на покупки? Вы ведь получаете зарплату?

— Конечно, получаю. Но они ее у меня отбирают.

— Кто отбирает?

— Дед и баба.

— Отбирают вашу зарплату?

— Да.

- И для чего?
- Кладут на сберегательную книжку.
- На чье имя?
- На мое.
- Ничего не понимаю.

— Что же тут непонятного? Я живу у деда и бабы на полном иждивении. Отец хотел им выплачивать ежемесячно какую-то сумму, они с ним чуть не поссорились. Мне говорят: ты сыта, одета, обута, что тебе еще надо? А заработок твой — в сберкассе. Выйдешь замуж, будет на кооперативную квартиру. Понятно?

— Теперь я понял.

— Что же вы поняли?

— Я понял, Марлена, что вы в самом деле не прочь иногда потратить лишнее, а дед и баба ваши — не скупые люди.

— Какие же?

— Хотите, Марлена, я вам скажу, в чем действительно ваш недостаток.

— Слушаю.

— Недостаток это не только ваш. Он относится ко многим таким, как вы, к большей части нашей нынешней молодежи. С малых лет вы жили в нормальных условиях, то есть на всем готовом. Вы учились в школе, потом в институте, и все это доставалось вам без особых трудностей. У вас есть родители, дед и бабушка. Они о вас заботятся, опекают вас, а вы полагаете, что так оно и нужно, что иначе быть не может. Не так ли? Вы в этом неповинны — такова теперь жизнь. Они же, дед и бабушка ваши, жили в иных условиях. Они испытывали и голод, и холод, и тяжкий труд. Они пережили страшную войну. Они знают, с какими жертвами все досталось. И то, что вам кажется скупостью, в действительности не больше как желание не тратить по пустякам то, что добыто с большим трудом. Они знают цену копейкам и цену куска черного хлеба. Мы, молодые, не всегда это знаем...

УМ Марлена молча слушала, затем спросила:

— Вы так думаете?

— Да.

— Возможно, вы правы, — задумчиво произнесла она, шагая с ним рядом. — Дед часто со мной беседует. Одного не пойму, говорит. После революции выкинули на свалку много старых обычаев, и среди них — приданое к свадьбе и прочее. Казалось, все это никогда уже

не возродится. Как же случилось, что снова стало модным тратить большие деньги на свадьбу, на приданое, хотя теперь это называется как-то иначе, на золотые украшения и прочую дребедень...

— Знаете, — продолжала она, — ни дед, ни бабушка никогда не носили обручальных колец. Их у них просто не было. Недавно они отметили сорокалетие совместной жизни. Съехались сыновья с семьями, привезли много подарков и среди них два золотых кольца. Бабушка свое колечко надела, а дед сказал: «Всю жизнь обходился без этого, обойдусь и дальше». Еле уговорили его примерить колечко. Один день поносил его и снял, сказал, что тяжело оно ему на руке... Так больше на него и не глянул.

— Каждому поколению — свое, — сказал Аркадий. Не знал он, что эти самые слова пришли на ум Семену Евсеевичу, когда тот размышлял о нем, об Аркадии, и его поколении.

— Стало прохладно, — заметила Марлена. — И поздно. Старики мои, наверное, уже волнуются.

Они шли по пустому ночному тротуару недалеко от ее дома. Остановились у ворот. Над ними возвышался большой старый тополь. Густую листву его испещрили лунные блики, падавшие и на остановившуюся под ним пару.

— Доброй ночи? — не сказала — спросила Марлена.

— Доброй ночи? — переспросил Аркадий.

— Доброй ночи! — подтвердила она.

— Доброй ночи! — ответил он и повернулся уходить.

— Аркадий...

Она зовет его? Так тихо? Или ему почудилось?

Он оглянулся. Она все еще стояла под деревом, вся в колышущихся лунных бликах.

— Что? — спросил он.

— Ничего.

— Все же?

— Просто так. Станный вы человек, Аркадий.

— Чем?

Она не ответила.

— Чем я странен? — переспросил он.

— Недавно, — сказала она, — мне довелось провести вечер с одним молодым человеком. Получилось это слу-

чайно, до этого мы даже не были знакомы. Когда прощались — представляете? — он кинулся меня целовать...

— Ну, и...

— Ну, и схлопотал пощечину.

— Вы удивляетесь, почему и я не собираюсь схлопотать...

— С вами мы уже не первый вечер...

— И я бы мог рискнуть?

— Может быть...

— Марлена, — начал он и умолк.

— Что?

— Я еще знаю вас очень мало. Мне неизвестно, как вы жили до этого, с кем встречались. Не знаю и, возможно, не должен знать. Но о себе скажу.

— Скажите.

— Вот мы ходим с вами, стоим, беседуем, я вижу вас... Не знаю, как для других, для меня уже одно это... — Он на мгновение умолк, подыскивая слово, которое могло бы точно передать, что это значит для него. Не найдя слова, закончил: — Этого для меня достаточно. Что-то большее было бы уж слишком... Понимаете?

— Понимаю, — выдохнула она. — И это действительно так?

— Так.

— Коли так... — на лбу ощутил он прикосновение ее губ.

Домой возвращался он улицей, которую недавно нарекли Набережной. С одной стороны она была уже сплошь застроена длинным рядом пятиэтажных каменных домов, с другой доживали свой век деревянные двухэтажные строения.

Улица во всю длину была пустынна. Один лишь старичок попался навстречу. Поравнявшись, странно посмотрел на Аркадия, прошел, затем уже издали донеслось:

— Шатаются тут... Пьяные...

Кого тот имел в виду? Его, Аркадия? Разве он шатается? Но пьян... Прав старичок, — пьян... И что-то произошло с небом — оно слишком низко опустилось к земле. Эти ребристые, почти прозрачные облачка с полной луной посередине — вот они, стоит поднять руку, и коснешься их...

Мыльный многоцветный пузырь разрастался на лету. И чем становился больше, тем нежнее краски. В прозрачной округлости радужного шара изогнуто отражались дома, деревья, двор с играющими детьми. И вдруг все это великолепие рассыпалось на серые пылинки.

На одном из балконов второго этажа мальчуган лет восьми с темной челкой усердно дул в тонюсенькую трубку, выдувая гирляду за гирляндой мелких пузырьков. Но вот — удача! — медленно стало округляться и легко отлетело новое цветистое чудо...

Аркадий следил глазом, пока шар не растворился в высоте. Вот кто по-настоящему счастлив, подумал он, мальчуган с челкой. Знай макай себе трубку и выдувай чудесные миры...

А он сам, Аркадий, тут же подумалось ему, разве не счастлив и он? Да, счастлив, и началось это с того самого дня, когда узнал, что в этом доме, куда часто стал наведываться, — он и теперь направлялся туда, — живет Мира, внучка Гринбоймов. Сперва была она для него загадкой, тайной, потом оказалась — Марленой.

После того вечера, когда допоздна гуляли, встречались они еще несколько раз. Она с ним держалась просто, как всегда, как будто ничего особенного в тот вечер не произошло. А он не смог ни о чем напомнить. Она была рядом, он смотрел ей в глаза, и ему было хорошо. Да, он был не менее счастлив, чем этот мальчуган, беспечно пускавший мыльные пузыри.

— Дядя, а дядя!

Аркадий оглянулся. Мальчик с балкона обращался к нему. Пустив на волю новый расцвеченный шар, тот спросил:

— Вы к тете Марлене?

Аркадий удивился — мальчугана этого он видел впервые.

— А тебе откуда это известно?

— Знаю. Но ее нет дома.

— Где же она, коли ты уж такой знаток?

— Ушла с другим дядей.

— С каким?

— Не знаю, его я видел в первый раз.

— А меня ты тут видел раньше?

— Ого! — ответил мальчуган и вновь принялся за свое дело.

Чету Гринбойм Аркадий застал в необычном для них состоянии. Сима Самойловна убирала со стола. По всем признакам, был гость к обеду. Семен Евсеевич сидел в кресле с газетой в руке, но в нее не заглядывал. Оба были чем-то явно возбуждены и не могли этого скрыть, хотя и пытались.

— Что-нибудь перекусить, Аркадий? — как обычно, предложила Сима Самойловна.

— Спасибо, — ответил он, — сыт, поел в заводской столовой.

— Может быть, чаю?

— Спасибо.

— Что ты набросилась на человека? — недовольно спросил Семен Евсеевич. — Передохнуть не дашь...

— Ну-ну, — так же недовольно ответила хозяйка, — попотчуй уж ты гостя своими байками...

— И попотчую.

Чувствовалось, недовольный тон стариков относился не к тому, о чем речь шла теперь, а к чему-то другому, о чем, видать, говорилось до прихода Аркадия. Тот понял это и решил отвлечь хозяев от того, что их волновало.

— Можете меня поздравить! — весело заявил он.

— С чем, Аркадий? — спросил Семен Евсеевич.

— Моя бригада вышла на первое место!

— В цеху? — поинтересовался Гринбойм.

— Берите выше!

— По заводу?

— Еще выше!

— Ишь ты...

— По городу. Она занесена на городскую Доску почета.

— Поздравляю! — воскликнул Семен Евсеевич. — Большие обязательства взяли?

— Пятилетку за три с половиной года.

— А прошлую? Я имею в виду, прошлую за сколько выполнили?

— За четыре. Теперь собираемся шагнуть дальше.

— Так и должно быть, — задумавшись о чем-то, сказал Гринбойм и добавил: — Вспоминаю первые пятилет-

ки. Магнитогорск... Днепрострой... Тебя-то тогда еще на свете не было... А теперь... Далеко мы ушли с тех пор, даже и сравнить нельзя...

— А если бы еще не война, — заметила Сима Самойловна.

— О, если бы не война... — Как бы вспомнив о чем-то, Семен Евсеевич подошел к стеллажу и вынул из плотного ряда небольшую, аккуратно обернутую в белую бумагу книгу. Внутри страницы ее были прорваны.

— Она была со мной на фронте, — показал на эти страницы Гринбойм. — И он воевал вместе со мной.

— Кто он? — не понял Аркадий.

— Мотл.

— Какой Мотл?

Гринбойм раскрыл плотную пробитую обложку. У него в руках была еврейская книга — «Мальчик Мотл» Шолом-Алейхема.

— Это было на марше, — сказал он. — Мы шли к Сталинграду. Откуда ни возьмись — «мессеры»... Ох и сыпанули! Осколок, уже на излете, пробил книгу...

— Кто знает, — отозвалась Сима Самойловна, — может, «Мотл» и спас тебе жизнь...

— А может быть, я — ему, — усмехнулся Семен Евсеевич и бережно водворил книгу на место.

— Книга эта должна стоять не здесь, — заметил Аркадий.

— Где же?

— Ее место в музее. Пусть люди смотрят и узнают о ней и о вас. Это — история.

— В музее, говоришь? Он никуда не денется, музей. А книга пусть еще побудет здесь. Пока мы живы, история с нами...

— А это что? — поинтересовался Аркадий, показывая на плотно составленные цветные корочки на книжной полке.

— Это еврейский журнал «Советиш геймланд». Издается в Москве. Я его выписываю много лет.

— Случится, номер запоздает, — заметила Сима Самойловна, — он тут же бежит на почту...

— Не скрою, — сказал Семен Евсеевич, — люблю читать этот журнал. В нем печатаются видные писатели. Бывают материалы о Биробиджане. И еще много интересного. — Он взял в руки свежий номер журнала, полистал его и сказал: — Сколько, к примеру, евреев живет в Ираке, знаешь? Тут можешь об этом узнать: шесть-

десять пять тысяч. А если ты думаешь, что нет евреев на Гавайских островах, ты ошибаешься. Их там без малого две тысячи. И живет большинство их на острове Оау...

Аркадию все это было интересно узнать, но показалось ему, что Семен Евсеевич готов сегодня увезти его даже на Гавайские острова и еще дальше, лишь бы избежать другого разговора.

— Где Марлена? — спросил он.

Старая чета переглянулась.

Всегда так: он может довольно долго у них посидеть, если не застанет Марлены дома, говорить о том о сем, но наконец спросит: «Где Марлена?» Сегодня, видать, на этот вопрос непросто было ответить. Он не сказал, что знает, что ушла она не одна, думал, они сами скажут — с кем, но именно это им и трудно было сказать.

Дед и бабушка Марлены так долго смотрели друг на друга, пока оба сразу не выпалили:

— Наверное, еще на работе.

— Скоро придет.

И оба тут же опустили глаза. Лгать не умели — сразу видать — ни она, ни он.

— Может, включим телевизор? — спохватился Семен Евсеевич. — Сима, где программка?

— Вот она, перед твоими глазами.

Семен Евсеевич взял листок, надел очки.

— Ша, — воскликнул он, — сейчас начнется «Очевидное — невероятное». Ты смотришь эту программу?

— Иногда, — ответил Аркадий.

— Великое дело — телевизор, — сказал Семен Евсеевич. — Включил его — и сиди помалкивай весь вечер. Мало ли до чего можно договориться, если все время болтать языком. Тут же за тебя говорит ящик, а ты знай лишь время от времени подкручивай колесико — громче, тише...

Телевизор не успели включить. Очевидное — невероятное началось без него.

Позвонили в дверь. Сима Самойловна пошла открывать. На пороге стояли:

очевидное — Марлена; легкое платье на ней радужной своей расцветкой радовало глаз;

невероятное — высокий молодой человек с темными бакенбардами, в белом, с иголочки, летнем костюме.

В первую минуту все растерялись. Аркадий не ожидал, что Марлена вернется со спутником. Тот не полагал застать здесь Аркадия. Для Марлены это тоже было не-

ожиданно. Но тут же, как будто ничего невероятного не произошло, она стала их знакомить.

— Аркадий, — чуть приподнявшись, назвал он себя.

— Арно, — произнес гость, усаживаясь на стул, поднесенный ему Симой Самойловной.

И тут же все заполнил звонкий голос Марлены:

— Бабуля, чаю! Арно решил ехать попозже. Посидим еще. Ну, рассказывай, рассказывай, Арно, — повернулась она к нему. — Ты ведь не закончил...

— Не знаю, будет ли это интересно другим, — ответил он и взял с журнального столика номер «Недели». — Последний? Тут есть интересная статья об операциях на сердце. Я говорил тебе об этом, Марлена. Но меня теперь занимает иное...

«Они на «ты», — отметил про себя Аркадий. — Самоуверенности в голосе, в тоне — не занимать... Стоп! — мысленно приказал себе Аркадий. — Впервые видишь человека, а уже готов о нем думать плохо...»

Сима Самойловна принесла чай, варенье в маленьких розетках.

За столом властвовал густой, самоуверенный бас Арно.

— Одно время, — говорил он, — в моде были лирики. Затем — физики. Потом и те, и эти. Пустое! Время лирики раз и навсегда прошло.

— Не слишком ли категорично? — спросила Марлена.

— Могу доказать.

— Попробуй.

— Были когда-то большие поэты — Блок, Есенин, Маяковский. Теперь вы можете назвать хотя бы одного поэта такого же масштаба?

Марлена — она одна поддерживала разговор:

— А если и нет, то что из этого следует?

— И еще: можете вы назвать сегодня поэта, который сравнился бы в славе с Королевым, с Ландау? Нет, не назовете. Почему? По той же причине — время лирики ушло. Мы живем в эпоху точных наук, синхрофазотронов, кибернетики. Лирики не нужны, и очень просто можно обойтись без них.

— Мне думается, не так это просто, — вставил слово Аркадий.

— Вы так полагаете? — повернулся к нему Арно. — Извините, какова ваша профессия?

— Токарь. Руковожу на заводе бригадой.

— Токарь? Бригадир? И чтоб вы такое говорили? Анна Ахматова, к примеру, чем-нибудь может вам помочь при расточке деталей?

— Возможно, да...

— Ну, знаете...

— Кроме того, моя жизнь не только в расточке деталей. Кроме работы человеку требуется что-то еще.

— Выдумки! — уверенно сказал Арно.

Категоричность эта задела Аркадия. Он не любил слишком самоуверенных людей, людей, которые высказывают свое мнение как приговор в последней инстанции. При их появлении в каком-нибудь обществе все сразу как бы сникают. Главное — они, эти люди, а другие прочие — так... Нечто подобное случилось и теперь. Даже блистательная Марлена в присутствии Арно как бы потеряла что-то от своего обаяния...

Все это было досадно Аркадию. Ему жаль было хозяев этого дома, которые стали ему родными. «Дорогие, — хотел он им сказать, — что вы склонили головы? Перед кем? Кроме всего прочего, человек этот не прав».

И Аркадий тихо спросил:

— Вы Хикмета читали?

— Вы спрашиваете меня? — в голосе Арно неподдельное удивление: вместо того чтобы слушать его, ему задают какие-то вопросы.

— Да, вас.

Впервые с той минуты, что Арно вошел в дом, он с открытым интересом взглянул на Аркадия. Чего добивается этот токарь? Но он ему ответит.

— Читал ли? Нет. Но слышал. Если не ошибаюсь, турок по национальности? У себя в стране подвергался преследованиям, жил у нас. Кажется, умер?

— Все верно, — заметил Аркадий.

— И что же?

— К сожалению, и я не очень начитан в поэзии, — сказал Аркадий. — Говорю, к сожалению. Но каждый раз, когда есть возможность заглянуть в книжку с короткими строчками, делаю это. Так вот, — Аркадий повернулся к хозяину дома, — когда мы с вами, Семен Евсеевич, отдыхали в санатории, в библиотеке там попался мне в руки томик Хикмета. Помните, вы еще спросили, что хорошего принес, и я показал... — Ко всем: — У него своеобразная манера, у Хикмета. Рифма — не всегда, чаще нет ее. Строчка может быть совсем короткой, дру-

гая длинной. Но каждая строка его, каждое слово в ней полны мысли, чувства и идут от сердца...

Бригадир этот, кажется, готов прочесть лекцию, с досадой подумал Арно и взглянул на Марлену, не разделяет ли его досаду и она. Но нет, она как будто собирается его слушать. Странно... Ну что же, попытается и он...

Семен Евсеевич, когда Аркадий обратился к нему, подвинулся вперед и со злорадством подумал о госте: «Ага, не у тебя одного язык подвешен. Послушай-ка, что наш брат рабочий тебе скажет...» Сима Самойловна ни о чем особенном не думала, она лишь время от времени поглядывала на внучку, пытаясь угадать, что думает та.

Марлена смотрела на Аркадия.

— Одно небольшое стихотворение, — продолжал тот, — мне особенно запомнилось.

— Вы его знаете наизусть? — спросила Марлена.

— Нет, наизусть не знаю. Но мысли, выраженные в нем, могу пересказать.

— Перескажите.

Арно передернул плечами.

Семен Евсеевич вместе с креслом придвинулся ближе к столу.

Сима Самойловна поправила скатерть и приготовилась слушать.

Аркадий — тихо:

— ...Я хотел бы быть деревом, в тени которого можно отдохнуть... Я хотел бы быть книгой, которую читают в бессонную ночь, не чувствуя скуки... Дверью, что открывается перед добрыми людьми и закрывается перед плохими... Окном, широко распахнутым, вбирающим в себя весь город... Я хотел бы быть словом, зовущим к красоте, к справедливости, к истине... Быть словом, чтобы с нежностью рассказать о своей любви...

Аркадий умолк.

В зеленоватом аквариуме золотая рыбка шевельнула хвостиком.

— Все? — тихо спросила Марлена.

— Да.

Аркадий заметил:

— А вы говорите... — с этими словами обратился он ко всем, но в виду имел одного Арно... — Как же можно без этого жить? Вот Хикмет говорит о любви. Она ведь останется. Останется в кибернетический век точно так

же, как была в первую мезозойскую эру... Но если так, требуется и слово, чтобы выразить ее...

Арно пришел в себя. Бригадир этот слишком разошелся. И слишком часто глядит в сторону Марлены. Тоже — мыслитель нашелся. Надо его поставить на место.

— О любви говорено больше, чем надо, — ответил он. — Горы вранья вокруг нее наворочены. Теперь и с любовью дело обстоит иначе.

— Как же?

— Любовь не болтает, любовь действует.

— Прекрасно сказано! — воскликнул Аркадий. — Любовь действует, творит! Верно. Но и действует, и творит она прежде всего потому, что говорит. Говорит сердцу...

Арно глянул на часы.

— О, я уже опаздываю к поезду.

Все вскочили с мест.

— С вами мы еще подискутируем при случае, — сказал Аркадию Арно.

— Надеюсь, — ответил тот.

— Может, останешься до завтра? — спросила Марлена у Арно.

— Нет, завтра ассистирую при сложной операции. Новый профессор, строгий. — Демонстративно положил руку на плечо Марлене. — Проводишь?

— Конечно.

— А обратно? — спросил Арно, бросив взгляд на Аркадия: не вызовется ли тот проводить?

Аркадий молчал.

— Я схожу с вами на вокзал, — отозвался Семен Евсеевич.

— Это тебя не затруднит? — спросила Марлена.

— Недалеко ведь.

Из дому вышли все вместе. У ближайшего угла разошлись — Марлена, Арно и Семен Евсеевич — в одну, Аркадий — в другую сторону.

В тот вечер долго блуждал он по городу, поздно вернулся домой и снова не узнал своего жилья. Как-то совсем по-иному, чужим выглядело оно, хотя все было на привычных местах, и потерянный плюшевый мишка тоже.

— Так что, старик, снова мы с тобой одни остались? — спросил Аркадий.

Глава сия о том, как разные люди по-разному отнеслись к случившемуся.

Прежде всего — Аркадий в ту бессонную ночь. Ну да, все это ведь ему уже было известно. Еще в первый приход к Гринбоймам Семен Евсеевич рассказал: в Хабаровске у нее кто-то есть. Аркадий помнит перехваченный взгляд Симы Самойловны на мужа — зачем, дескать, при постороннем человеке выдавать семейные секреты? И помнит его ответ: «Аркадий для нас не посторонний. Он нам как родной, и перед ним не должно быть секретов». «Кто этот человек?» — спросил Аркадий. Знатный парень. Единственный сын у именитых родителей. Тоже врач. Оказывается, Марлена и Арно знают друг друга еще по институту. Аркадий вспоминает: чем-то это сообщение уже тогда задело его. Хотя что? Он ведь тогда еще их внучку в глаза не видел. Задело, видать, просто потому, что речь шла об их внучке. Они сами славные люди, и внучка, наверное, не хуже, хотелось, чтоб ей было хорошо.

Позже, когда он стал вхож в их дом, когда все существо его переполнилось радостью оттого, что он прогуливается с Марленой, беседует с нею, видит ее, он и не вспомнил ни разу о том, что слышал о Хабаровске, о каком-то там парне. Все это касалось ведь внушки Гринбоймов, какой-то неведомой ему Миры. Но — Марлена? Какое это может иметь отношение к ней?

Сегодня, увидев Арно, он понял, что такое отношение существует.

Как мог, старался он побороть в себе удрученность. Сколько времени знает он Марлену? Ему кажется, он знает ее уже целую вечность. А в действительности? Месяц. Месяц всего, не более. А до того прожила она значительную часть своей жизни — окончила школу, институт. Работает. Чего же он хотел? Чтоб во все это время никого не полюбила она? И чтоб никто не полюбил ее? Или, может быть, она должна была дожидаться его, Аркадия Сатановского? Возможно, так и поступила бы, знай она, что такой существует. Но не знала ведь... Зато знала, что есть Арно. «Еще с института они знают друг друга», — рассказывал Семен Евсеевич. Рассказывал это о своей внучке, и тогда это Аркадия не трогало: мало ли что? Но теперь, когда он уже знает, что речь о Марлене...

Арно. Аркадий пытался думать о нем объективно. Хорош собой, неглуп, нет, неглуп. Имеет свои убеждения. Кому-то они не нравятся? Но он мыслит так. Излишне самоуверен? Чересчур категоричен? Бывает. И все же не мог Аркадий побороть в себе неприязнь к этому человеку. Из-за Марлены? Нет, не только.

«А Марлена, — мучительно думал Аркадий, — как понять ее отношение к Арно?» Раньше это его не трогало, настолько переполнен он был собственным чувством к ней. Она его не избегает, и хорошо, больше ничего ему не надо. Он бывал с нею рядом, заглядывал ей в глаза, большие глаза маленького олененка, такие любопытные, чем-то чуть напуганные, такие жадные до жизни...

Но теперь, после встречи с Арно, когда Аркадию ясно стало, что того связывают с Марленой определенные отношения, он крепко задумался: как же понимать в таком случае ее отношение к нему, Аркадию? Он ведь был уже чуть не на седьмом небе! Ну и что, отвечал он сам себе, мог быть и на десятом! Какое это имеет отношение к ней? Дала ли она к этому хотя бы малейший повод? Никакого! Пару раз с ним прогулялась — и что же? Разговаривали о том о сем? Она бы так разговаривала с любым. К тому же дед ей наговорил о нем, вот она к нему и дружелюбна, но не более. Поцелуй? Поцелуй в лоб, после которого он бежал, опьянев, по городу и ему казалось, что весь мир стал ему тесен... Это для него мир стал тесен, а она ничего не имела в виду, — так, девичий каприз...

Вдруг вспомнил он о мальчугане, пускавшем с балкона мыльные пузыри... «Тетя Марлена, — сказал он, — ушла с другим дядей». Потом он этого дядю увидел... Что же теперь остается ему, Аркадию? Он вспомнил летающие мыльные пузыри мальчугана. Долог ли век такого пузыря... Миг красуется он в воздухе, и — нет его...

Поздно в ту ночь вернулся Аркадий домой и — к мишке:

— Послушай, старик, может, бросить все к чертовой бабушке, а? Махнем куда-нибудь на далекий остров? Есть, оказывается, такой остров — О-а-у...

О чем думала в ту ночь Марлена?

Арно задержался в тамбуре, махнул ей и деду рукой и скрылся в вагоне. Дед хмурился. Немного догады-

валась она о причине, но вдаваться в это не хотелось. По дороге с вокзала молчали. Бабушка ждала их. Предложила стакан молока, но Марлена отказалась, хотелось спать. Заснуть, однако, долго не могла.

Арно... Смехотища — кто-то ему там, в Хабаровске, уже успел донести, что здесь, в Биробиджане, видели ее с парнем. И он притащился: кто? где? Она тут же охладила его пыл. Во-первых, сказала, она не думает, что у него есть какие-то права указывать, с кем ей встречаться. Она вполне может это делать по своему усмотрению. Что касается человека, о ком речь, он добрый знакомый ее деда, они вместе отдыхали в санатории, и тот теперь иногда заходит в гости. «И ты думаешь, его интересуют твои дед и бабушка?» — спросил Арно. «А если и не только они?» — ответила Марлена. Этим она хотела дать понять Арно, что не считает свои отношения с ним такими, которые давали бы ему на нее какие-то права. Тогда он уже в который раз стал уговаривать ее переехать в Хабаровск.

— Мой профессор, — сказал он, имея в виду отца, — устроит это в два счета.

Она ответила, что здесь работать ей интересней и что она не хочет ни от кого зависеть.

С Арно они знакомы давно. Она поступила на первый курс института, а он уже был на пятом (он старше ее). Тогда еще он заинтересовался ею. Но разве он один? Сколько было студентов на всех курсах, от первого до последнего, столько, кажется, было у нее поклонников. А она? С одним посмеется, с другим потанцует, с третьим прогуляется, и — ничего больше. А если кому-нибудь казалось, что ему повезло, что он может считать себя избранником, она указывала ему на дверь.

С детских лет Марлена знала, что нравится. Ее радовала ставшая привычной атмосфера всеобщего восхищения, поиска знакомства с нею, ее дружбы. Но она никого из общей массы не выделяла. Ей было достаточно того, что все восхищались ею, и, может быть, в какой-то мере поэтому она долго не нуждалась в восхищении кого-либо одного...

Она заканчивала последний курс института, когда на ее пути вновь появился Арно. Появился с тем, чтобы больше не отступать. До сих пор, говорил Арно, он ни с кем не сходилась, ждет ее, одну ее... Для девушки такое немало значит, тем более когда говорит это такой мужчина, как Арно. Когда они бывали в городе, все огля-

дывались на обоих, и она знала — на него не менее, чем на нее. Подруги ее по институту не могли понять: чего она тянет? Почему не скажет «да»? А она все оттягивала. Как ни странно, ее отпугивала его красота, пригожесть. Слишком уж был он пригож, и закрадывались сомнения: а каков он в глубине души?

У нее было к нему двойственное отношение. Она охотно с ним встречалась, когда приезжала к родителям в Хабаровск, иногда и специально приезжала, когда он доставал билеты на концерт или в театр. Но была она с ним сдержанна, и это выводило Арно из себя. Слишком он был самоуверен и не знал, что именно это заставляет Марлену думать еще и еще раз — может ли она с таким человеком связывать свою судьбу?

В центре Хабаровска, на улице Карла Маркса, повстречалась ей в прошлом месяце Лилька. На ней были сверхмодный парик, брюки. Когда-то учились они на одном курсе. Еще отбывали практику, когда та выскочила за ответственного работника, намного старше ее.

Марлену забросала комплиментами.

— Ты лучше, чем была. Время тебя не берет. Еще не замужем?

— Нет.

— Кого ждешь? Думаешь, красота твоя — навек?

— А разве женятся ради одной красоты?

— А ты думала? Не будь дурочкой. У тебя ведь был роман с Арно. Чего ждешь? Такие предки, такая хата...

— Я не собираюсь жить ни с его предками, ни в его хате.

— А сам? Классный ведь мужчина!..

Разошлись. Марлена не понимала, как можно быть такой легкомысленной, как Лилька, а та поражалась наивности Марлены.

Вскоре появился Аркадий. В санатории жили они с дедом ее в одной палате. Вначале было, рассказывал дед, испугался, хотел бежать, но передумал. Они друг другу, старый и молодой, пришли по душе, сдружились даже. Дед полюбил его, как родного, не переставал о нем говорить. И вот пришла однажды на обед, а он на подоконнике, с малярной кистью в руке... Ох и смеялась же она... Оказалось — они знакомы. Валерик их познакомил. А он, когда ее увидел... Она никогда не забудет, какое у него было лицо... От удивления чуть

с подокоонника не свалился. Потом они несколько раз встречались, беседовали, и — странное дело: Арно она знает давно, с Аркадием только познакомились, а говорить с ним легче, интересней, все схватывает с полуслова. Правда, есть в нем и что-то не совсем для нее понятное, слишком скромн, что ли? Он не верил, что она с той первой короткой встречи его запомнила. А почему было не запомнить? Сразу видно, парень бравый, бедовый, да и собой хорош. Верно, красота его не такая, как у Арно. У того она вся наружу, а у этого... И все же странный он, не такой, как все. Не было еще парня, который в первый же вечер знакомства не хотел ее поцеловать. Ни одного. А этот — нет. В первый вечер это еще никому не удавалось. Но на четвертый, пятый — случилось. А этот: один вечер, второй, третий — ни малейшего намека. Может быть, это было не слишком умно с ее стороны, но она об этом завела как-то речь. И он ей ответил. Такого ей тоже ни от кого еще не доводилось слышать. Ему довольно того, сказал он, что он ходит с нею, видит ее. «Что-нибудь больше того, — добавил он, — было бы слишком...» При этом он так взглянул на нее, что она не выдержала — поцеловала его... И убежала. Потом она уже вела себя с ним строже, чтоб не подумал чего. Просто наградила его за умный ответ.

И вот приехал Арно, и они познакомились, такие непохожие, разные. Она сидела между ними и поглядывала то на одного, то на другого. Они чуть не поссорились. Кто из них прав? Видать, каждый прав по-своему. Но когда Аркадий стал пересказывать стихи Хикмета... Она не полагала, что он так тонко разбирается в поэзии. Когда он говорил о желании Хикмета стать словом, которое с нежностью выразило бы его любовь, Аркадий так взглянул на нее, как тогда, когда объяснял, почему не хочет ее поцеловать... И как тогда, ей самой захотелось поцеловать его... Но тут был Арно. Можно понять его недовольство: они давно знают друг друга, а тут пришел некто невесть откуда и — пожалуйста! Глупый Арно, ему нечего беспокоиться. Она не собирается влюбляться в нового знакомого. А Арно... Его она любит? Она еще ни разу не сказала ему — «да». Но ни разу не сказала и «нет».

Неясно все, спутано и в сердце, и в голове... Зыбким туманом окутал ее сон...

В спальне тишина. Гардины на окне не плотно сведены, и в темноте меж ними струится узкая лунная полоска.

Старики не спят.

Шепот.

— Сима, а Сима?

— Что?

— Не спишь?

— А ты?

— Как видишь.

— Почему?

— Не спится. А ты?

— Тоже.

Через мгновение:

— Думаешь?

— Может быть...

— О чем же ты думаешь?

— Так. А ты?

— Наверное, оба мы думаем об одном и том же.

Он:

— Славный парень...

— Кто?

— Аркадий.

— А...

— Тебе показалось, я имею в виду того?

— Как знать. Тише, Мирочку разбудим.

— Она спит. Ты хоть обратила внимание, как Аркадий с нее не спускает глаз?

— Обратила.

— Ну?

— Что из того?

— Как что?

— Ничего.

— А тот недоволен.

— Еще бы. Столько времени знакомы, а тут — здарсьте!

— А как Аркадий отчитал его! Знай наших...

— Ничего не отчитал. И вообще — не сравнишь.

— Кого?

— Их, обоих.

— Что же, тебе кажется, Арно более важная птица?

— А тебе?

— Что и говорить, отец — профессор.

— При чем тут это? — шепот усилился. — Он сам — человек.

- А Аркадий не человек?
- Все — люди. Но нашей Мире...
- Что — нашей Мире?
- Больше подходит Арно.
- Ну-ну... — буркнул Семен Евсеевич. Не станет он среди ночи разводить дискуссии. И, может быть, Сима по-своему права. Но ему жаль Аркадия. Он видел, какое мрачное у того было лицо, когда они разошлись на углу. — Жаль парня, — сказал он. — Как ты думаешь, она хоть замечает?
- Что?
- Что Аркадий...
- Неужели не замечает? Но лучше бы не замечала.
- Ничего еще нельзя знать.
- А когда не знают, лучше молчать, — сердито проговорила Сима.

3

Вернулся Валерий Крас, его видели в городе. Аркадию об этом рассказал Папаян.

- Как он выглядит? — спросил Аркадий.
- Такой, как был.
- И патлы?
- С патлами и со всеми причиндалами... Его не переделаешь.
- С таким выводом никогда не надо торопиться, — заметил Аркадий.
- А ты думаешь, что из него еще может выйти человек?
- Все может быть. Ты говорил с ним?
- Нет. Ни к чему.
- Вот ты и не прав. Именно с такими, как Валерий, надо разговаривать, много и терпеливо разговаривать.
- Это дело по тебе, — ответил Папаян, — у меня терпения на таких не хватает.
- Жаль. Не слышал, обратно на завод не собирается?
- Не слышал, но думаю, что нет.
- Почему?
- Потому что тут его уже знают. Впрочем, слышал, что он уже работает где-то в другом месте.
- Где?
- На стройке, кажется, но где, не знаю.

Аркадий хотел встретиться с Валерием, но это все не удавалось. Где искать его, не знал. И вот, возвращаясь однажды с работы, столкнулся с ним нос к носу. Тот шел с опущенной головой, черные патлы до плеч, борода, ни дать ни взять — морской пират, какими рисовали таких в старых детских книжках.

Увидев Аркадия, Крас метнулся было в сторону, но поздно.

— Привет, Валерий!

Тот глянул на руку Аркадия как бы с сомнением, действительно ли протянута она ему, и лениво вложил в нее пальцы.

— Где пропадал?

— Так...

— Когда вернулся?

— Это имеет значение? Что там, что здесь, не все ли равно?

— Как — все равно?

— Та же чертовщина.

— Слышал, работаешь?

— Да.

— Где?

— На стройке.

— Что делаешь?

— Майна — вира.

— На кране?

— Зачем! На кране другой. Я цепляю панели, ящики с раствором — что придется.

— Ну, для этого не требуется большой квалификации.

— А зачем мне квалификация? Мне нужна общага, чтоб было где переспать, и сколько-то рэ на выпивку. Это есть.

Говорилось все это с ленцой, равнодушно. Но вдруг во взгляде Валерия что-то загорелось.

— Знаешь, бригадир, где с тобой столкнулись?

— Где?

— На том же самом месте, что перед твоим отъездом. Рок какой-то... На этом углу шашлычная.

Аркадий оглянулся.

— Верно.

— Но знаешь, — оживился Валерий, — за то время, что мы не виделись, произошли большие изменения.

— Где?

— В шашлычной.

- Там подают шашлыки на шампурах?
- Наоборот, сняли вывеску и заменили другой.
- Какой?
- «Закусочная». И правильно. По крайней мере без вранья. Зайдем? Сегодня я угощаю.
- Из каких таких капиталов?
- О, — ответил Валерий, — на Сахалине я здорово подзаработал. Кое-что еще осталось.

Аркадий подумал и сказал:

— Понимаешь, Валерий, именно об этом — как ты вдруг очутился на Сахалине, что ты там делал, какой черт унес тебя туда, какой вернул обратно, — обо всем этом хочу с тобой потолковать. Хорошо, что встретились. Но туда, как бы это ни называлось — «Шашлычная» или «Закусочная», — не пойду.

- Куда же?
- Давай сядем в автобус и махнем ко мне.
- Домой?
- Да.
- А кто там у тебя?
- Никого. Мы будем вдвоем.
- Дело, — согласился Валерий. — Я мигом, бутылку и закусь... — И он побежал.

— Валерий! — крикнул ему вдогонку Аркадий. Тот на ходу обернулся:

- Все знаю, возьму что надо.
- Не то, — крикнул Аркадий. — Ничего не надо!
- Как же, — остановился от удивления побежавший было Валерий, — как это — не надо? Два мужика, значит, сядут и... И что делать будут? Что пить, спрашиваю, чай?

- Да, чай.
- Ну и чудило же ты, бригадир. Какой может быть мужской разговор за чаем?

— Валерий, хочу чтобы у нас с тобой был разговор мужской, но трезвый, понял?

— Ну-ну, — Крас пожал плечом, как если бы ему предложили нечто донельзя нелепое, немыслимое, но согласился, и они сели в подошедший автобус.

— Э, бригадир, бедновато живешь, — таковы были первые слова Валерия, когда они переступили порог.

— А что? — спросил Аркадий и сразу метнулся на кухню.

— Такой знатный работяга, как ты, и вдруг... Нет...

— Это кто еще знатный работяга? — хохотнул Аркадий из кухни.

— Кто же еще, как не ты, — ответил Валерий, продолжая осматривать квартиру.

— А с чего ты взял? — спросил Аркадий, зажигая газ.

— В газете портрет, на Доске почета портрет — этого мало?

Из кухни донесся шум открытого крана и ответ хозяина квартиры:

— Портреты, Валерий, еще ничего не значат, главное — человек.

— Но не с каждого человека рисуют портреты, — ответил Валерий. — Вот с меня, например, когда-нибудь нарисуют портрет?

— С тебя? — переспросил Аркадий, ставя чайник на газовую плиту. — Это зависит от тебя.

— Ты так думаешь?

Аркадий немного прибрался на кухне и вошел в комнату. Валерий стоял у телевизора с мышкой в руке.

— Это еще что за чучело? — спросил он.

— Обижаешь, — ответил Аркадий, — это — большой мой друг. Когда на душе бывает паршиво, тоска навалится, я с ним потолкую — полегчает.

— У тебя на душе паршиво, у тебя — тоска?

— Чему ты удивляешься?

— Я был уверен, что такие, как ты, состоят сплошь из энтузиазма...

— Не дури. Бывает до того тошно, что хоть на стенку лезь...

— А причина? — заинтересовался Валерий.

— Мало ли причин? Взять хотя бы то, что по земле топает такой субъект, как ты...

— Можно подумать, что этот субъект тебе не до лампочки.

— Человеку ничего не должно быть до лампочки...

— А все-таки бедно живешь, — повторил Валерий, ставя мышку на место. — Ну что это за телик? «Рекордишко» чуть ли не из самых первых, давно пора его на свалку. А сюда — новый, цветной.

— До меня, — пояснил Аркадий, — жила здесь молодая пара с малышом. Им дали квартиру побольше, и, переезжая, они оставили мне свою мебелишку. А мне что надо? Прихожу только почевать, целыми днями на заводе.

На кухне запрыгала крышка над чайником. Аркадий подался туда, вскоре вернулся с подносом, на нем: чайник со свежесваренным чаем, два стакана, сахар, вазочка с печеньем, которое продают в магазинах «Кулинария».

— О, — поразился Валерий, — ты ведешь хозяйство?

— Кое-что есть, самое элементарное, — ответил Аркадий. — А как иначе?

Принимая от Аркадия стакан крепкого чая, Валерий сказал:

— Эх, в американском фильме глянешь, как живут эти проклятые капиталисты, право, завидки берут...

— На что — завидки? — спросил Аркадий.

— Ну, как же... Стоит себе книжный стеллаж. Книжки — так себе, у нас тоже такие есть, даже лучше. Но подвинь их, за ними — мама родная — бар. Виски, бренди, чего хочешь? А коктейли какие! Эх...

— И ты им завидуешь? — снова спросил Аркадий.

— А ты — нет?

— Никогда!

— Так я тебе и поверил.

Аркадий поставил недопитый стакан.

— В том-то, Валерий, и беда таких, как ты, — сказал он. — Насмотрелись зарубежных фильмов и думаете — так оно все и есть. Невдомек вам, что фильмы эти — пена, которая сверху плавает, ею затуманивают таким, как ты, мозги. А что глубже, под этой пеной творится, — об этом ты думал? Не говорю уж о безработице, преступности. Главная беда в том, что люди не уверены там в завтрашнем дне. Нет уверенности и нет веры. Ни во что. Нет, я им не завидую. А что касается всяких там виски, бренди, они готовы всю эту муру отдать за бутылку нашей доброй русской водки, которую ты тут имеешь на каждом шагу. Так что, Валерий, завидовать они тебе должны...

— Ну и мастак ты! — восхитился Валерий.

— Не понял...

— Мастак, говорю, переворачивать.

— Что переворачивать?

— Здорово же ты это повернул, что не я им, а они мне должны завидовать...

— Да, Валерий, мозги у тебя немного того, набекрень, и их нужно крепко повернуть, чтобы стали на место. Ну, хватит, — добавил Аркадий. — Рассказывай о

Сахалине. Какого черта тебя понесло туда? Как там жил? Почему вернулся?

— Нечего рассказывать, — ответил Валерий. — Ну, уехал... Ну, вернулся... Что тут такого?

— Но была ведь причина?

— Никакой.

— Э, нет, — возразил Аркадий, — без причины ничего не бывает. Видишь, вот муха с телевизора перелетела к нам на стол, — он отогнал муху. — Она унюхала, что здесь сахар.

— Но я-то не муха, — обиделся Валерий.

— Тем более должна быть причина. Более того, — сказал Аркадий, — что бы человек ни совершил — добро или зло, — если как следует вникнуть, этому всегда бывает не одна даже, а несколько причин.

— Несколько, говоришь? — спросил Валерий.

— Да, несколько. Но одна уж обязательно. Выкладывай.

— Ну, кореш был, — неохотно начал Валерий и тут же умолк.

— Что — кореш?

— Не знаешь, какой бывает кореш?

— Откуда он взялся?

— Обыкновенно: выпили вместе и...

— Что — и?

— Молодой еще, а побывал уже где хошь...

— И в тюрьме?

— Откуда ты знаешь?

— Догадываюсь.

— Да, и в тюрьме. Незадолго до нашего знакомства освободился. Давай, говорит, завербуемся на Сахалин. «А что я там не видел?» — спрашиваю. «Можно, говорит, завербоваться на китобойное судно. Полгода — небо и вода... Свежий воздух. Шторма... Пушка стреляет гарпунами. Гарпун попадает в кита, тушу подтягивают, этак несколько десятков тонн, а судно — плавающий завод...» Э, думаю, что вижу я здесь? Что ни день, тот же штамп. Надоело...

— И что же?

— Махнули на Сахалин.

— И к китобоям?

— Нет, те ушли без нас.

— А вы как?

— На берегу большой рыбокомбинат. Поступили туда.

— И кореш тоже?

— Да. Но вскоре тот ушел.

— Куда?

— К своей кодле, он ведь не завязал. И меня тащит туда же. Я говорю: «Нет». Ну, с ними знаешь как в этих делах. Подстерегли однажды, когда с работы шел, и — на меня. Поначалу их было двое, расшвырял я их, как котят. Я ведь секцию бокса посещал, вот и пригодилось. Но гляжу, еще двое. Тут бы мне и хана, но, на счастье, шли еще ребята с работы, выручили. Одного из уроков удалось задержать, отняли у него здоровенный нож...

— Видишь, Валерий, — волнуясь сказал Сатановский.

— Что, видишь? Такое может случиться всюду.

— Ну, а дальше?

— Дальше? Вернулся сюда.

Валерий умолк. Молчал и Аркадий, ворочая в пальцах пустой стакан. Потом спросил:

— Ну, а наш уговор, Валерий?

— Какой уговор?

— Забыл? Перед моим отъездом в санаторий...

— А...

— Я ведь обещал, что тебя переведут в бригаду. Если ты выполнишь мое условие. А я знаю — ты выполнил его.

— Откуда знаешь?

— Ребята из моей бригады мне писали.

— Ребята из твоей бригады?

— Да. Видишь, тебе кажется, что никому ты не нужен, а тобой интересуются. Так что, забыл?

— Нет. Не забыл, — ответил Валерий и надолго умолк.

Сказать или не сказать, думал он. Сказать ему, что главный виновник того, что он, Валерий, ушел с завода, в том, что ринулся неведь куда искать свою долю, вовсе не какой-то там кореш — за того он просто ухватился, — а собственной персоной он сам, бригадир Аркадий Сатановский. Сказать или не сказать? То-то сделает большие глаза. Нет, ничего он не скажет...

Валерий решительно поднялся.

— Хватит, бригадир. За чай и сахар спасибо, а больше некогда мне с тобой лясы точить. Чао! — и он направился к двери.

— Валерий! — вскочил Аркадий. — Куда торопишься? Посиди.

— Больно ты хитер, как я погляжу, — повернулся тот от двери.

— Я — хитер?

— Да, ты. Подал стакан чаю и за это хочешь, чтоб человек душу тебе вывернул наизнанку? Не дешево ли?

— Валерий, — с упреком ответил Аркадий, — я думал, ты умнее. Ну, хорошо, — рассердился и он, — мотай отсюда ко всем чертям! Но перед тем ответь на один вопрос.

— Что еще?

— Отвечай: о нашем уговоре помнил ты или нет?

— За душу тянешь?

— Ответь и топай.

— Эх... — одним прыжком Валерий очутился на кухне и распахнул холодильник. — Ну, бригадир, — как-то сконфуженно вернулся он в комнату.

— В чем дело?

— Все время думал, — ответил Валерий, — что у тебя там стынет пара бутылок доброго коньяка, а тебе жалко их выставить... Оказывается, нет. Ну и чудило ты, бригадир...

— Как ты мог такое подумать?

— Виноват. Но будь у меня такой холодильник, одни бутылки в нем и стояли бы...

— К чему?

— К чему? Есть вещи на свете, о которых за чашкой чая никак не расскажешь...

— Я мигом в магазин, коли так...

— Не надо, — возразил Валерий. — Если сказать всю правду, мне сегодня по душе пришелся твой чай. Давно такого не пил. И печенье это тоже давно не пробовал. Запах у него домашний...

— Я нагреем еще чаю.

— Давай.

Вернувшись из кухни, Аркадий застал Валерия задумчиво сидящим за столом с надломленным печеньем в руке.

— Так знай, — поднял Валерий голову, — главный виновник того, что я ушел с завода и очутился на Сахалине, вовсе не кореш, о котором тебе тут бухтел, кореш — так себе...

— Кто же?

— Ты.

— Я?

— Да, ты. И не делай такие глаза...

— Но меня тут и не было вовсе.
— Тебя не было, но уговор наш я помнил.
— Значит, помнил все же?
— Помнил и именно потому уехал.
— Не улавливаю связи.
— Такой умный, а не улавливаешь... Поясню. Чай закипел...

Аркадий побежал на кухню, внес кипящий чайник, разлил чай. Обхватив руками стакан, Валерий рассказывал:

— В сквере тогда, когда ты начал интересоваться мной, я сначала было подумал: туфта. Сегодня сказал, завтра забыл. Так часто бывает. Но потом, когда ты повел речь о бригаде, я понял, что ты — всерьез. Не подумай только, что пить я бросил потому, что тебе обещал, нет. Просто сам себе сказал: «Валерий, мужчина ты или не мужчина? Если мужчина, можешь ты сам себе раз в жизни доказать, что есть у тебя хоть какая-нибудь воля? Вот ты сам себе приказываешь: месяц — ни капли, и выполни!» Вот я и выполнил. Если бы я этого не сделал, сам себе был бы мерзок. А раз перестал пить, и прогулы кончились. В цеху ни черта не могут понять — что стало с Валерием? И вот месяц кончается, ты скоро должен вернуться из санатория. А что ты за человек, мне уже ясно: обещал, значит, исполнишь. И вот подумал: явишься, узнаешь, что условие выполнено, и начнешь пихать меня в порядочную бригаду. А там честные трудяги, у каждого семья, дети, они нуждаются в прогрессивке, в тринадцатой зарплате. А я что? Месяц выдержал, а дальше? Дальше могу в любой день сорваться, и пойдет все как было. И подведу я и их, и тебя... Эх, думаю, к чему эти хлопоты? И тут как раз подвернулся тот самый кореш... Море, шторма, китобой... Вот так...

Чай Аркадия остыл, он к нему и не притронулся.

— Помнишь, Валерий, — сказал он, когда тот закончил свой рассказ, — в сквере тогда говорил я, что в тебе живет неплохой парень и надо как можно скорее вытащить его на свет...

— Помню.

— Ну, так вот, поздравляю. Парень тот, вижу, выбирается уже на поверхность.

— В чем ты это видишь? Наоборот: с завода ушел, куда-то подался...

— Вот в этом самом и вижу.

— Если так, — сказал Валерий, — надо идти.
— Что так?
— Парень тот выползет, нас будет уже трое, а «сообразить» у тебя нечего. И чаю не хватит.

— Сиди, хватит, — пытался Аркадий его усадить. Но тот продолжал стоять.

— Знаешь, Аркадий, — пожалуй, впервые он назвал его не бригадиром, а по имени, — когда ты мне раньше предложил свое чаепитие, я про себя посмеялся. Никак не представлял себе, как это два лба сядут рядом и — о чем говорить-то будут без бутылки. Оказывается, можно и без бутылки...

— Вот видишь.

Валерий вдруг почувствовал, что в нем шевельнулось теплое чувство к этому парню, который стоял перед ним, очевидно, искренно желал ему добра. Захотелось еще о чем-то ему рассказать, о чем-то сокровенном, в чем не признаются и самому себе...

— Ты тут сказал, Аркадий, что всему, что ни делает человек, есть причина...

— Да, а иногда их бывает даже несколько. Ты мне выложил уже две причины, почему ты подался на Сахалин.

— Есть еще одна.

— Третья?

— Нет, первая... — Но Валерий тут же пожалел о том, что у него вырвалось это слово. — Хватит, — сказал он. — Ты мне сегодня доказал, что можно по-доброму поговорить и без бутылки. За это спасибо. Но — хватит. Салют!

Не успел Аркадий оглянуться, как гость его был уже за дверью.

4

То, о чем Валерий Крас не рассказал Аркадию Сатановскому, он в тот же день поведал другому. Не собиравшись он пить, но неожиданно для себя самого в тот день напился и совершенно чужому человеку выложил все то, чем ни с кем не собирався делиться.

Вот как это произошло.

Выйдя от Аркадия, Валерий с минуту постоял в нерешительности, раздумывая, куда бы податься. Ничего не придумав, зашагал наобум, куда глаза глядят. Обошел несколько пятиэтажных зданий нового микрорайо-

на, который вырос тут не так давно, перебрался на другую сторону улицы с аптекой на углу и двинулся дальше среди огромных рейсовых автобусов у автовокзала. Впереди потянулась небольшая тополиная аллея, она вела к вокзальной площади, с которой недавно был убран старый фонтан.

Напротив широкого двухэтажного, в светлые тона окрашенного здания железнодорожного вокзала с большими, закругленными кверху окнами и круглыми часами над ними Валерий остановился. С тех пор как он помнит себя, влекло его это здание. Чем? Еще бы! Войди, стань к любому окошку и куда хочешь бери билет... Днем и ночью гудят поезда, с востока на запад, с запада на восток. Они увезут тебя даже на край света... Сокровенной мечтой Валерия были путешествия. Какое счастье, думал он, видеть, узнавать новые места. Он был уверен, что многое еще увидит в жизни. В школе любимым предметом его была география. Но вышло так, что, кроме ближайшего большого города Хабаровска, он долго нигде не бывал. Его первая поездка в места более отдаленные была на Сахалин, откуда он недавно вернулся.

Пока он ехать больше никуда не собирался. Но в здание вокзала все-таки вошел. Как всегда, тут было много людей, ко всем окошкам тянулись очереди. Радиодинамик под высоким потолком гремел объявлениями: с такого-то пути вышел один поезд, с такого-то пути отходит другой...

У газетного киоска Валерий остановился. Ему нравилось смотреть на аккуратно разложенные пачки газет, журналов, брошюр. Спросил последний номер газеты «Футбол — хоккей». «Не поступил еще», — ответили ему, и он отошел. Дверь рядом с киоском вела в буфет. Вошел туда, спросил стакан морса, ему подали. Опорожнив стакан, подошел к открытой двери, ведущей в вокзальный ресторан. Зал в нем был небольшой, но довольно уютный, пара столиков у окна пустовала.

— Браток, а браток!

Валерий оглянулся. У дверей, в темноватом углу, стоял человек, которого он не сразу заметил.

— Пол-литра на двоих сообразим? — спросил тот.

Валерий присмотрелся к человеку. Невысок, в темном костюме, довольно поношенном. Непонятного цвета галстук был закручен веревкой. Во всем облике человека было что-то сильно потрепанное. Возраст его трудно было

определить, но чувствовалось — он выглядит намного старше своих лет. В глубоких глазницах под торчащими темными бровями выцветшие голубые глаза блестели лихорадочным блеском, как будто от того, что Валерий ответит, зависели жизнь и смерть...

Видать, со своим вопросом обращался он уже ко многим.

— Ну? — переспросил он, и в надтреснутом голосе пробила нотка надежды.

— Лады, — ответил Валерий. Что-то привлекло его в незнакомце, хотя он сам не мог бы сказать — что. Может быть, некое подобие интеллигентности, не совсем еще выветрившейся. А может быть, это просто была жалость. — Лады, — повторил Валерий.

— Спасибо, браток! — схватил незнакомец руку Валерия, а другой стал тащить из кармана свою долю и подался к буфету.

Валерий брезгливо выхватил руку.

— Не тут.

— Где же?

Валерий указал на ресторан.

— Там?

— Да.

— Там нам не дадут.

— Дадут, — Крас шагнул в зал, занял свободный столик недалеко от окна и пригласил незнакомца. С опаской оглядываясь — как бы не прогнали, — тот подошел, присел на кончик стула и жалобно глянул на длинного патлатого и бородатого парня. — Что будешь пить? — смея ради спросил Валерий.

— На что хватит, — снова вытащил незнакомец свою мелочишку.

— Заткнись, — сказал Крас. — Я плачу.

— Ты? Но ты ведь меня не знаешь...

Валерий подозвал официантку.

— Бутылочку «Экстры», но экстренно! Видите, человек при последнем издыхании... Две пары пива, ну, и какую-нибудь закуску — салат, шницель, что там у вас есть...

Официантка отошла.

Вне себя от удивления, незнакомец глядел на Валерия, потом приподнялся и протянул ему бледную, влажную руку:

— Коли так, познакомимся, молодой человек. Дроздов Порфирий Сидорович, инженер-конструктор.

— Валерий, — коротко отрекомендовался Крас. — Что же мы конструируем?

— Давно... Все это было давно. Теперь уже ничего не конструируем, — криво усмехнулся тот. — Когда-то все было. Было... Служба, жена, дети. Было, да сплыло...

— Очень давно?

— О, так давно, что не помню уже, было ли это наяву или только приснилось...

Официантка принесла водку в графине, пиво, расставила рюмки, фужеры.

Алчным взглядом следил Дроздов за рюмкой, пока Валерий ее наливал, затем схватил и тут же опрокинул ее в рот. С тарелки взял ломтик хлеба и понюхал его.

— Легче стало на душе, — выдохнул он. — Поверишь, во рту еще сегодня не было...

— Не жрал?

— Жрать — пустое. Ни капли — это хуже. Ну, будем здоровы! — опрокинул он в рот вторую рюмку.

Жадно пил и Валерий. Прошло с полчаса. Пивные бутылки пусты, да и водки осталось немного. В тарелках — остатки шницеля. Порфирий Сидорович с безразличным видом ковырялся в них вилкой. А Валерий, держа в руке недопитую рюмку и перегнувшись через стол к опьяневшему собеседнику, говорил:

— Сегодня вот, до того как встретиться с тобой, разговаривал я с человеком... Знаешь, с настоящим человеком, не то, что мы с тобой... Мы с ним за чашкой чая беседовали.

— За чаем? — хмыкнул Дроздов.

— Да, представь себе, за чаем. И хорошо, по-настоящему беседовали. Эх, знал бы он, что я сижу вот теперь с тобой и глушу водку... Но что поделаешь, одним чаем не проживешь, верно, Порфирий Сидорович?

— Верно.

— Так вот, рассказал я ему, этому человеку, чего вдруг понесло меня на Сахалин.

— Куда?

— На Сахалин. Ты что, забыл уже, только что тебе рассказывал...

— А, да, Сахалин...

— «Почему туда подался?» — спросил. Выложил я ему одну причину, другую...

— Да, да, — пьяно кивал Дроздов.

— Но главную, настоящую, причину я так ему и не

сказал. А тебе, Порфирий Сидорович, скажу. Ему — нет, тебе — да. Можешь ты такое оценить?

— Конечно, ценю, как не ценить? .. — ответил Дроздов, ковыряясь в тарелке.

Валерий взглянул на свою недопитую рюмку и неожиданно спросил:

— Порфирий Сидорович, только правду: любовь у тебя была?

— Любовь? — пьяно воззрился тот на Валерия.

— Да, любовь.

— Нет такого дела, любви то есть, — опустил Дроздов глаза в тарелку.

— Как так — нет?

— Нету, и все.

— А я говорю — есть. И сейчас мы с тобой за это выпьем. — Валерий наполнил обе рюмки.

— Выпить можно, — согласился Порфирий Сидорович. — Почему не выпить? Но за что пить, нету. Пустое. Выпили.

— А теперь послушай, — еще ближе перегнулся через стол к собеседнику Валерий. — Мы ходили с нею в один детский сад. Потом учились в одной школе. Сказать тебе, что в садике еще в нее влюбился, не поверишь, смешно, но так оно и было. Вот такое: однажды смотрю, два пацана ее за косички дергают в разные стороны. А косички у нее — загляденье — золотистые, бантики голубые. Пацаны побольше меня, но я кинулся на них, растолкал, а ее домой привел. Мама ее, узнав, в чем дело, говорит: «Он хороший, поцелуй его». Подошла она, чмокнула меня в щеку. Веришь, поцелуй тот до сих пор не могу забыть.

Дроздов с удрученным видом уставился в тарелку.

— Потом учились мы с нею в одной школе, — продолжал Валерий, — вместе переходили из класса в класс, до последнего, десятого. И было так: она растет и с нею — ее красота. А я расту — и растет моя любовь к ней. Но что я, в нее были влюблены все ребята старших классов, а на меня она и не смотрит. Для нее я остался Валериком из детского сада... Подали документы в институт. Она поступила, я — нет. Двух баллов недобрал. Ну, с тех пор все и пошло у меня... Годы идут. Она заканчивает институт и возвращается в наш город на работу. Однажды встретил ее на улице. Красива — словами не скажешь. Оглядываются на нее. «А, говорит, Валерик?» Для нее я все тот же Валерик... И вот, я решился. Хватит, думаю,

шуточки шутить, не маленькие, все ей выскажу, как есть... И высказал. А она? Рассмеялась. А смех у нее знаешь какой!.. «Разве, Валерик, ты умеешь любить? — говорит и смеется... — Любить, говорит, надо уметь...» Понимаешь, я к ней всей душой, а она — смеется...

Валерий налил еще рюмку и, не закусывая, выпил.

— Потом узнаю, — говорил он дальше, — что в другом городе парень у нее есть и они встречаются. Однажды, узнав, что она едет, и я за нею. И в том городе парня того увидел. Ничего не скажешь, парень что надо, всем взял. И я понял, надеяться мне не на что... «И не хнычь, — сказал себе, — уберись куда-нибудь подальше, к черту на кулички, может быть, забудешь...»

Дроздов поднял на Валерия ословевшие глаза.

— Слышишь, — слегка потрянул его Валерий, — и я уехал. Вот это и была главная причина, из-за которой уехал, а не те, о которых я тому человеку говорил. Тот так ничего и не знает.

— Ну, и какого же дьявола ты вернулся? — почти трезво спросил Дроздов.

— По той же самой причине.

— По какой?

— Вот ты толкуешь, старый хрыч, что любви нет...

— Нет.

— А я говорю — есть.

— А я говорю — нет.

— А я говорю — есть.

— А я...

— Хочешь, чтоб я разможил твою дурную башку? — угрожающе схватил Валерий со стола графин.

— Разможи, — с пьяным безразличием ответил Дроздов, — а я свое скажу: нету.

Такое упорство подействовало. Валерий поставил графин на место. Долго, испытующе смотрел на Дроздова и тихо сказал:

— Ну, хорошо. Но если так, поясни мне, старый хрыч, откуда вот такое?

— Что?

— Такое вот: вдруг чувствую, в том краю не могу больше оставаться. Ни одного дня. Назад потянуло, туда, откуда бежал. Далеко от нее быть не могу. Понял? Я должен жить в одном месте с нею, ступать по той земле, что она... Случается, неделями ее не встречаю, но знаю — здесь я могу ее встретить, и от этого мне легче. А встречу — большего праздника не надо. Обычно мы с нею ни

о чем серьезном не говорим. Она мне «Валерик», и я детским именем ее назову. Шутя потолкуем о чем-нибудь и разойдемся. Но мне — хорошо. Шагаю тротуаром и думаю: несколькими минутами раньше она тут прошла... Могла пройти... Кажется, я вижу следы ее каблучков... И мне хорошо. Или она пройдет здесь после меня — тоже хорошо! Ни в каком другом месте я ведь так думать не смогу. Пусть ходит с другим, но пусть все у нее будет ладно. А мое место там, где она... Потому и вернулся. А тому человеку я об этом тоже — ни гугу. Ничего-то он не знает, тот человек. Эх, люди-людишки! Все думают, что знают что-то такое, а на поверку ни черта не знают. Так — маленькие правдочки какие-то известны каждому, но настоящая большая правда...

— Волос на тебе много, — перебил Валерия Дроздов, — а годков мало, но брешь ты дело. Верно, настоящей правды никто не знает. Сказать — почему?

— Потому что скрыта глубоко?

— Нет.

— Почему же?

— Потому что нет ее вовсе.

— Кого нет?

— Правды.

— И любви нет?

— Нет.

— Что же есть?

— А вот это есть — дурман, — указал Дроздов на графин.

— И это все?

— Все.

Валерий заглянул в графин.

— Да и тут пусто.

— Это не беда, — заметил Дроздов, — его можно еще раз наполнить.

— Наполнить? — с готовностью спросил Валерий.

— Как хочешь.

Валерий глазами стал искать официантку, но вдруг сказал:

— Нет.

— Почему? — спросил Дроздов.

— Могу еще раз наполнить графин, но с условием — мы с тобой выпьем за...

— За что?

— За правду и за любовь.

— Ну, давай.
— Что «давай»?
— Выпьем.
— Но ты же не веришь ни в то, ни в это. Говоришь — нет.

— Но выпить можно.
— Так не пойдет. Веришь — пьем, не веришь — иди своей дорогой.

Валерий подозвал официантку. Та вынула маленькие белые счета, кинула костяшками туда-сюда. Из заднего кармана затасканных джинсов Валерий вытащил три бумажки.

— Сдачи не надо.
— Сколько ты дал ей на чай? — угрюмо спросил Дроздов, когда официантка отошла.

— Так, мелочь.
— Нет, не мелочь, — ответил тот, — у нее осталось больше рубля. Лучше бы мне отдал...

— На что?
— На опохмелку завтра.
Валерий с удивлением глянул на Дроздова.

— Ну, Порфирий Сидорович, погляжу я, ты — фрукт... Такого еще не видал...

— А что?
— Пообедал, нажрался водки, пива, и тебе же от меня еще что-то причитается?

— А то как же? — Пояснил: — Не даром ведь...

— Как — не даром?
— Ну, да.
— Ты сделал что-то для меня?
— И немало.
— Что же?
— Я выслушал тебя.
— И это все?

— Выслушал от тебя такое, что никому другому, кроме меня, Порфирия Сидоровича Дроздова, ты рассказать не мог, верно ведь?

— Ты так думаешь? — опешил Валерий.
— Не думаю, а так оно и есть. Скажу больше, — продолжал Дроздов. — Уже не день и не два ходишь ты по городу — и тебя распирает охота кому-то все это рассказать. Но — некому. А сегодня тебе повезло — ты встретил меня, и я тебя выслушал. Неважно, что мне начхать на твои дурацкие бредни, — это дело десятое, — но я, Пор-

к примеру, отцу моему. бедняку из бедняков, кто-нибудь сказал когда-то, что внук его будет иметь дело с алмазами, мог бы он этому поверить? Да что отец? Я сам вспомню, как до поздней осени босиком месил грязь в местечковых переулках, и сравню это с нынешним днем... Не верю, что столько изменений — да каких! — произошло за одну человеческую жизнь. Мы живем поистине в золотое время! Ну, а то, что не все еще люди — золото, — это дело другое.

— Кого вы имеете в виду? — спросил Аркадий.

— Мало ли кого...

Несколько очищенных ядрышек придвинул Аркадий Семену Евсеевичу:

— Попробуйте.

— Я до них небольшой охотник, — ответил тот, с безразличным видом отправляя ядрышко в рот.

— Когда я, бывало, займусь этим делом, — сказал Аркадий, — бабушка садилась напротив, смотрела мне в рот, и трудно сказать — кто из нас испытывал большее удовольствие... Я и ее хотел угостить: «Мне ядрышко, тебе ядрышко»... Она возьмет одно, вот как вы, и скажет: «Ешь сам, не для моих это зубов»...

Как бы продолжая какую-то свою невысказанную мысль, Семен Евсеевич заметил:

— О, если можно было бы человека, характер его раскусить так же легко, как сливовую косточку, жить на свете было бы намного легче... — И тут же, без всякого перехода: — Как тебе показался Арно?

Аркадий теперь был у Гринбоймов впервые после того памятного вечера, когда они впервые встретились.

— Ничего не скажешь, — ответил тот. — Человек видный. Держится с достоинством. Знает себе цену.

— А не переоценивает он себя?

— Трудно сказать, видел я его впервые.

— Хорошо ты ему растолковал насчет физиков и лириков.

— Он был не прав, вот я и решил сказать.

Помолчав немного, Семен Евсеевич заметил:

— Не доверяю я людям, которых с колыбели холят и пестуют, которые не знали в жизни трудного дня. Взять вот нашу семью. Вырастили мы с Симой трех сыновей. Дочек не было у нас. В Марлене души не чаем, она нам и дочь, и внучка... Отец ее, Давид, наш первенец. Много лет работал тут, в Биробиджане, теперь в Хабаровске, прораб на большой стройке. Младший наш, Григорий, в

к примеру, отцу моему. бедняку из бедняков, кто-нибудь сказал когда-то, что внук его будет иметь дело с алмазами, мог бы он этому поверить? Да что отец? Я сам вспомню, как до поздней осени босиком месил грязь в местечковых переулках, и сравню это с нынешним днем... Не верю, что столько изменений — да каких! — произошло за одну человеческую жизнь. Мы живем поистине в золотое время! Ну, а то, что не все еще люди — золото, — это дело другое.

— Кого вы имеете в виду? — спросил Аркадий.

— Мало ли кого...

Несколько очищенных ядрышек придвинул Аркадий Семену Евсеевичу:

— Попробуйте.

— Я до них небольшой охотник, — ответил тот, с безразличным видом отправляя ядрышко в рот.

— Когда я, бывало, займусь этим делом, — сказал Аркадий, — бабушка садилась напротив, смотрела мне в рот, и трудно сказать — кто из нас испытывал большее удовольствие... Я и ее хотел угостить: «Мне ядрышко, тебе ядрышко»... Она возьмет одно, вот как вы, и скажет: «Ешь сам, не для моих это зубов»...

Как бы продолжая какую-то свою невысказанную мысль, Семен Евсеевич заметил:

— О, если можно было бы человека, характер его раскусить так же легко, как сливовую косточку, жить на свете было бы намного легче... — И тут же, без всякого перехода: — Как тебе показался Арно?

Аркадий теперь был у Гринбоймов впервые после того памятного вечера, когда они впервые встретились.

— Ничего не скажешь, — ответил тот. — Человек видный. Держится с достоинством. Знает себе цену.

— А не переоценивает он себя?

— Трудно сказать, видел я его впервые.

— Хорошо ты ему растолковал насчет физиков и лириков.

— Он был не прав, вот я и решил сказать.

Помолчав немного, Семен Евсеевич заметил:

— Не доверяю я людям, которых с колыбели холят и пестуют, которые не знали в жизни трудного дня. Взять вот нашу семью. Вырастили мы с Симой трех сыновей. Дочек не было у нас. В Марлене души не чаем, она нам и дочь, и внучка... Отец ее, Давид, наш первенец. Много лет работал тут, в Биробиджане, теперь в Хабаровске, прораб на большой стройке. Младший наш, Григорий, в

Якутии. Средний, Леонид, агроном в совхозе. Разница между ними в полтора-два года. В детстве дрались так, что пыль столбом. Но стоило кому-нибудь со стороны задеть, друг за дружку заступались, да еще как! С малых лет знали, что надо отцу с матерью помогать по дому, в огороде, в поле. А подросли — и вовсе помощниками стали. Надо накосить сена для коровы — накосят. Привезти дров из леса — привезут. Жарились в летнюю жару, мерзли в зимнюю стужу. И выросли молодцами, дай бог каждому. И людям от них польза, и от людей им уважение, почет. А вот представь: в семье, живущей в полном достатке, растет единственный сыночек. Чего только с малых лет не пихают в него. Не успеет высказать пожелание, тут же его выполняют. Вот и растет такое дитя в полной уверенности, что он пуп земли и вся вселенная вокруг него одного и вертится. Вырастает и с таким понятием входит в жизнь... Может ли такой спасти кого-нибудь в беде? Прежде всего он будет спасать себя... Может такой посочувствовать другому в трудную минуту, помочь? Ему и невдомек, что это такое...

Семен Евсеевич умолк.

— Вы говорите о конкретном человеке? — спросил Аркадий.

— Нет, вообще, — ответил Семен Евсеевич.

Из кухни появилась Сима Самойловна.

— Он вас тут, наверное, уже заговорил? — спросила она.

— Спасибо, Сима Самойловна, за угощение. Давно не получал такого удовольствия, — сказал, поднимаясь, Аркадий.

— На здоровье! — ответила Сима Самойловна. — Но куда торопитесь?

— Сказал ведь, у меня еще сегодня партийное собрание.

Уже в двери:

— А где Марлена?

— В Хабаровске. Сегодня уехала.

— В Хабаровске?

Когда он ушел, старики переглянулись.

— Ты хоть видела его лицо, когда он услышал о Хабаровске?

Сима Самойловна ничего не ответила и, собрав со стола скорлупу от косточек, удалилась на кухню.

Семен Евсеевич не знал, что вчера вечером между бабушкой и внучкой состоялся разговор. Он ушел на фаб-

рику — там собиралась группа народного контроля, — и Сима Самойловна этим воспользовалась.

Марлена пришла вчера с работы немного не в себе. Она лежала на тахте в своем цветном халатике, прикрыв ноги темным пледом. Около нее лежала раскрытая книга, но она в нее не заглядывала. Окно справа пылало закатным заревом, и Марлена до половины была им освещена,

— Марленочка!

— Что, бабуля?

— Дать тебе горячего молока?

— Не надо.

— Чего же?

— Ничего не надо.

— У тебя температура? — приложила Сима Самойловна ладонь ко лбу внучки.

— Нет. Так... Пройдет...

— Можно мне присесть около тебя?

— Садись, бабуля, — отодвинулась Марлена. — Почему ты спрашиваешь? Я ведь люблю тебя, бабуля...

— Скажи, внученька, сердечко твое спокойно?

— А что?

— Не переживаешь?

— Скучаю.

— О ком?

— О матери, об отце. В прошлую неделю не могла ведь съездить, уже две недели не виделись...

— Завтра пятница. Поедешь после работы и останешься на субботу и воскресенье.

— Обязательно.

— А больше ни о ком не скучаешь? — заглянула ей бабушка в глаза.

— О ком же еще?

— А — Арно?

— Арно? Скучаю ли о нем? Не знаю...

— Когда же будешь знать?

— И этого не знаю, бабуля...

— А пора знать. — Бабушка придвинулась ближе, положила руку Марлене на плечо. — Сколько так может тянуться, внученька?! Скажу по правде, меня удивляет его терпение... Другой на его месте давно бы не выдержал. Ты не говоришь да и не говоришь нет. Сколько можно?

— Тебе хочется, бабуля, меня скорее выдать замуж?

— А тебе этого не хочется?

— К чему торопиться?
— На все приходит время.
— Ты полагаешь, для меня это время уже пришло?
— Ты многим нравишься, знаю, и это нравится тебе.
Но пора когда-нибудь сделать выбор.

— И ты думаешь, он должен пасть на Арно?
— На кого же?
— И мама так говорит, и подруги... — Веселые чертенята заиграли у Марлены в глазах. — А как быть, если я его не люблю?

— Как? С каких пор знаете друг друга! Ты едешь к нему, он — к тебе...

— И что же?

— Марлена, не будь ребенком. Ты ведь взрослая. Разве можно так играть с человеком, тем более с таким человеком?

— Шучу, бабуля, шучу. Он славный, Арно.

— Славный, умный, ученый. Не успеешь оглянуться, станет профессором, как и его отец. Светлая голова.

— Но ко всем этим качествам не мешало бы еще одно...

— Какое?

— Он должен меня любить...

— Бог с тобой, Марлена! Он ведь готов стать твоей тенью...

Закатный свет передвинулся в окне, и Марлена теперь была лежала в его зареве.

— Что говорит дед? — спросила она, приподнимаясь.

— Что мужчины понимают в этих делах? Ты слушай меня...

— Что же мне делать, бабуля?

— Вот будешь в Хабаровске, ты там встретишься с ним?

— Возможно. Сказать ему да?

— Нет, если не спросит, не говори ничего...

— Обязательно спросит. Он всегда об этом спрашивает.

— Тогда скажи, и дело с концом.

— Да?

— Да.

— Да? — еще раз переспросила Марлена.

— Да.

На том порешили. С тем и уехала Марлена в Хабаровск.

Между двумя сменами, утренней и вечерней, на заводе прошел митинг. В проходах и между станками огромного механического цеха собралось около тысячи рабочих. Внимание всех было приковано к импровизированной трибуне. На ней стояли высокий молодой, в белой безрукавке и темных роговых очках инструктор горкома партии и приземисто-осанистый крепыш с седоватым ежиком — секретарь заводского партийного комитета.

В широкие окна цеха вливалось нестерпимо жаркое солнце, высвечивая на лицах собравшихся рабочих и работников капельки пота.

Неподвижно и немо застыли мостовые краны, станки. Под высокими сводами цеха, многократно усиленный рупорами, властвовал хрипловатый голос секретаря заводского парткома, он зачитывал текст Стокгольмского воззвания, подчеркнуто выделяя в нем повторяющееся слово: «вместе».

«...Вместе бороться за всеобщее и полное разоружение!»

«...Вместе бороться за скорейший созыв всемирной конференции по разоружению!»

Начались выступления. Поднялись на трибуну, затем сошли с нее пожилой мужчина — начальник цеха, молодая работница.

Аркадий со своими друзьями по бригаде стоял недалеко от трибуны.

— Ребята, — сказал он, — возьму слово. И от вашего имени тоже. Лады?

— Валяй! — за всех согласился Крылов.

Секретарь парткома заметил поднятую руку, сказал что-то инструктору горкома и объявил:

— Слово — бригадир комсомольско-молодежной бригады коммунистического труда Аркадию Сатановскому!

Аркадий почти вбежал на трибуну, огляделся. На таком многолюдном митинге ему еще не приходилось выступать, и в первую минуту он растерялся. Сотни пар глаз устремлены на тебя, ждут: что ты им скажешь? А сказать надо важное, такое, чтоб оправдывало твое присутствие на этой трибуне. Иначе зачем выступать?

Он произнес первое слово: «Товарищи!» — и вдруг у него похолодела спина. Ему показалось, что все слова,

которые он хотел сказать, куда-то исчезли. Заметили ли паузу? Для него она длилась вечность... Но он тут же овладел собой.

— Товарищи, — повторил он окрепшим голосом, многократно усиленным рупорами, — о чем мы с вами говорим? О мире. О том, чтоб никогда, нигде больше не проливалась кровь... Это ведь значит: миру — всему миру! — так я это понимаю — объясниться в любви...

Духотой наполненный воздух раскололся аплодисментами.

— И это, — продолжал Аркадий, — у меня, у каждого из вас в сердце. Мы производим комбайны, гусеничные комбайны, для уборки урожая на переувлажненных почвах. Пусть же никогда земля не будет переувлажнена кровью... Мы производим не пушки, не танки — комбайны. Те, кому надлежит знать, знают: мы можем делать пушки, и танки, и кое-что похлеще. Можем, но не хотим. Мы хотим мира!

— Хорошо сказал! — похвалили товарищи своего бригадира, когда он сошел к ним с трибуны.

Воззвание было огпечатано на белых листах голубым шрифтом. Голубыми были и контуры голубя на листах. Подобно голубям витали листы эти по пролетам огромного цеха и заполнялись сотнями то убористых, то размашистых подписей. Подписи теснились, их становилось все больше, и казалось, вот вытеснят они голубей — и те взметнутся над цехом.

Вдруг звонкий девичий возглас:

— Глядите, вверх глядите!

Все подняли головы. Трепеща крыльями, под высокими сводами цеха носилась пара сизых голубей.

Инструктор горкома обернулся к секретарю заводского парткома:

— Признайся — ты?

— Что? — не понял тот.

— Организовал?

— Нет, — ответил он, широко улыбаясь, — это они по собственной инициативе. — Добавил: — Иногда залетают...

В приподнятом настроении покинул Аркадий завод. На улице было жарко. Только тень от молодых деревьев на краю тротуара давала прохладу. Над городом, обрамленным синеющими вдали сопками, простиралось чистое небо с редкими, почти прозрачными облачками. На востоке, у самого горизонта, собиралась темная туча, но

пока еще трудно было угадать, то ли она разрастется, то ли, наоборот, незаметно исчезнет. . .

Митинг. Голуби. Те, что на больших белых листах, и те, сизые, под сводами. . . Его речь. Все это заставило Аркадия отвлечься от тяжести, которая томила его в последние дни.

Вдруг Аркадий остановился. Тут, на этом месте, впервые увидел он Марлену. Тут Валерий познакомил его с нею. Они так по-свойски шутили. Она ему: «Валерик», он ей: «Марленочка». . . Неужто между ними что-то было, есть? До сих пор это ему неизвестно, как-то неудобно было спросить ни у него, ни у нее. . . Затем эта вторая, такая неожиданная, встреча с Марленой. . . Гуляли, беседовали. Ее поцелуй. . . Неужели все это было, не приснилось? А теперь. . . Как просто бабушка ее пару дней назад ему ответила:

— Она в Хабаровске.

В Хабаровске. Днем уехала. Сколько раз она будет ездить и возвращаться оттуда? Когда-нибудь ведь случится так, что она там останется. Останется с этим, с Арно. . . Достоин ли тот такого счастья? А он, Аркадий, достоин? А если и достоин, что он в силах сделать для своего счастья: ничего. . .

Аркадий двинулся дальше. Шел он медленно, не замечая в задумчивости прохожих, и мысли увели его далеко. Настанет же когда-нибудь, думал он, время без кровопролитий, войн. Но все ли будут счастливы? Останется ведь это — он любит ее, а она — другого. И в тебя влюблена женщина, которая тебе безразлична. . . Несчастные будут и тогда. Или, может быть, в те отдаленные времена люди обратятся друг к другу с воззваниями о. . . любви. . . И об этом пойдет речь на будущих митингах. . .

— О чем задумался, бригадир? Как лучше выгнать норму?

Аркадий поднял голову:

— Валерий, ты? Откуда?

— Прямо с митинга.

— С митинга?

— Да, подписывали воззвание о мире.

— И мы.

— О чем же ты кренко так задумался?

— Сказать?

— Валяй!

— Ты куда направился?

— Могу с тобой.

— Так слушай. Будет же когда-нибудь время — эксплуатации нигде нет, войн нет, все равны, свободны.

— Когда это будет? — спросил Валерий.

— Неважно когда, будет. Так вот, о чем тогда люди будут говорить на митингах?

— А митинги все-таки будут?

— Думаю, да.

— Коли так, речь на них пойдет о...

— О чем?

— О любви

— Ты гений, Валерий! Угадал мою мысль.

— О чем же еще? — усмехнулся в бороду Валерий. — Все другие проблемы к тому времени будут уже решены... — И добавил: — Так вот о чем размышляет бригадир. А я думал, о плане, о премиях.

— План, премии, нормы, — ответил Аркадий, — это важно. Но все это и гроша ломаного не будет стоить, если хотя бы мысленно не пытаться заглянуть в те времена, когда будут жить наши внуки и правнуки...

— Но чтобы говорить о потомках, — заметил Валерий, — как минимум надо иметь детей. Нам же с тобой до этого пока далеко...

— Ты прав, — ответил Аркадий и вдруг спохватился: — Знаешь, Валерий, если бы мы теперь не встретились, я пошел бы тебя искать.

— Чего это я тебе понадобился?

— Вот видишь, понадобился...

— Зачем?

— Когда ты был у меня, я не успел об очень важном тебе рассказать.

— Это я тебе не успел.

— Ты так неожиданно убежал.

— Для того и бежал, чтоб не успеть...

— А я не успел потому, что ты бежал. Не подумай только... Ты ведь можешь подумать, что я нарочно от тебя скрываю. Так вот...

— И ты не подумай. Хотя тебе это, собственно, все равно...

— Для меня, к твоему сведению, ничто не все равно.

— А это имеет отношение лишь ко мне одному.

— Нет ничего такого, — сказал Аркадий, — что имело бы отношение только к одному человеку. То, что касается одного, всегда касается и других.

— Это уже философия, — отмахнулся Валерий. — А речь вот о чем...

Они вышли к площади Советов.

— Может, присядем? — спросил Аркадий.

— Можно, — согласился Валерий.

Площадь Советов красовалась среди видных зданий. С одной стороны — областной исполнительный комитет, напротив, через дорогу, — городской комитет партии; с другой стороны — большое трехэтажное школьное здание, напротив — еще один жилой дом. А посередине — деревья, пылко алеющие цветочные клумбы, скамьи. Молодые матери тут прогуливаются с колясками, отдыхают пенсионеры.

Аркадий и Валерий присели на свободную скамью.

— Знаешь, — сказал Аркадий, — мы почти подружались с Марленой.

— Да? — довольно безразлично отозвался Валерий.

— Это тебя не удивляет?

— Не очень.

— Почему?

— Достаточно увидеть ее один раз, чтобы обязательно захотеть увидеть во второй.

— Но ты ведь меня подвел...

— Я?

— Ну да.

— Чем же?

— Я собирался, когда вернусь из санатория, подробно у тебя узнать о ней. А ты уехал...

— Да, уехал. Ну и как?

Аркадий рассказал, как они встретились, и добавил:

— Ну и смеялась же она...

— Смеялась? Это она умеет. Никто не смеется так, как она... А дальше?

— Ничего.

— То-то и оно.

— А что?

— Ты знаешь, что у нее жених?

— Знаю. Видел его.

— Видел. Где?

— У нее дома.

— И как?

— Мужик что надо.

— То-то и оно.

— Думаешь, она его любит?

— Кто знает? Ясно одно: не только мне, но и тебе до него тянуться и тянуться...

— И не подумую.

— Собственно, это уже не важно.

— Да, а ты, Валерий, откуда так близко знаешь Марлену? Давно собирался у тебя спросить.

— Старая любовь. — ответил Крас.

— Правда?

— Не веришь?

— Нет, почему же. . .

— Чудак! — повернулся к нему Валерий. — Мы вместе росли, в один детский сад с ней ходили, учились в одной школе. С тех пор и осталось: «Марленочка», «Валерик».

— А потом, когда выросли?

— Для нее я не вырос. Для нее я и теперь все тот же Валерик. . . — И добавил: — Эх, Аркадий, знал бы ты, какой свиньей я на днях оказался. . .

— Когда?

— Когда ушел с твоего чаепития.

— Что же случилось?

— Не веришь. В тот же день надрался, как скотина. . .

— С кем?

— Не спрашивай, с подонком из тех, что на выпивку кланчат. . .

— Зачем он тебе сдался?

— Сказал, что он мне был нужен. Может быть, он и прав. . . — Валерий умолк на минуту и тихо добавил: — Ему-то я все и рассказал. То, о чем трезвый не мог поделиться с тобой, все это я выложил ему. . .

— Что же такое ты ему выложил?

Как бы не слыша вопроса, Валерий надолго умолк. Затем почти беззвучно вымолвил:

— Люблю Марлену. . . С детских лет. . .

— А она?

— Смеется.

Оказалось: один другому они собирались рассказать важные и, как мнилось им, разные вещи, а рассказали об одном и том же.

— А ты? — помолчав, спросил Валерий.

— Что я? Теперь-то уже не имеет значения. . .

— Да, не имеет.

Они поднялись и медленно зашагали по площади. Не знали, что в эти минуты чегдомынским поездом Марлена вернулась из Хабаровска. На этот раз она провела там два дня не напрасно. Они подали с Арно заявление в загс.

К свадьбе готовились и в Хабаровске, и в Биробиджане. Родители Арно, как водится, приготовили подвенечное платье для невесты, родители невесты — свадебный костюм жениху. Золотые кольца в мягких футлярах дожидались торжественного часа. Отец Арно, профессор, известный в городе человек, позвонил куда надо и договорился, что в центральном ресторане в день свадьбы будут сервированы столы на сто персон, — столько ожидалось гостей: родственников, друзей, знакомых и «пужных» людей. Все делалось так, чтобы никто — боже упаси! — не мог сказать, что что-то недоделано или что-нибудь со стороны родственников жениха или невесты сделано не так. Были отправлены письма дяде Грише в Якутию и дяде Лене в его совхоз, и те ответили, что конечно же вместе с супругами приедут на свадьбу.

Сима Самойловна заказала новое платье: шутка ли — выдают старшую внучку! И мужа уговаривала, чтобы к свадьбе сшил себе новый костюм, но тот ответил, что и старый еще неплох.

Единственный человек в обеих семьях, жениха и невесты, который не разделял общего ликования в связи с предстоящим событием, был Семен Евсеевич. Более того, именно в эти возбужденно-хлопотливые дни он ходил с насупленно-сумрачным лицом и не находил себе места. Когда его спрашивали о причине, он ссыался на гипертонию. Сима Самойловна знала, что не в одной гипертонии дело, но все же состояние мужа ни себе самой, ни кому-нибудь объяснить не могла.

— Можно подумать, — сказала она однажды, — что старшую внучку твою не замуж собираются выдать, а...

— А что?

— А, не дай бог, собираются ее сослать куда-нибудь на край света...

— Лучше бы уж сослали, — ответил он.

— С тобой говорить... — жаловалась жена. — Да и времени нет у меня с тобой препираться, — и она уходила к своим действительно многотрудным делам.

Когда Марлена в ту памятную пятницу появилась дома, мать ее, учительница французского языка, стройная привлекательная женщина, которой еще нельзя было дать ее сорока двух лет, тут же осыпала ее поцелуями, которые перемежались упреками.

— Но как же так? Ты совсем забыла своих родителей... Ты уж и знать их не хочешь...

— Почему же, мамуля? — Марлена разбросала по комнате цветную сумку, кофточку, зонт.

— Почему не приехала на прошлой неделе? Мы уже полмесяца не виделись...

— Занята была, а время, мамуля, бежит так быстро...

— Нет, ты о нас вовсе не скучаешь...

— Скучаю, скучаю, — прижалась Марлена к матери, — а папа где?

— Не знаешь? Утро его выносит, а вечер приносит. Сегодня у него заседание парткома. Звонил, обещал скоро прийти.

Мать приготовила чай, поставила домашнее печенье, которое Марлена любила, и, усаживаясь напротив дочери, глядя на нее и любуясь ею, сказала:

— Ну, хорошо, доченька, о маме и папе ты не скучаешь...

— Скучаю, скучаю...

— Но есть ведь еще кто-то, о ком ты должна скучать...

— И не собираюсь.

— Почему?

— Так.

Мать поднялась, подошла к дочери и слегка обняла ее.

— Марленочка, ты ведь уже не ребенок.

— Знаю, знаю, что ты хочешь сказать...

— Откуда это тебе известно?

— Бабушка уже со мной разговаривала.

— Бабушка?

— Да. С чем она меня проводила, с тем же и ты встретила.

— Что же такого бабушка тебе сказала?

— То же, о чем всегда толкуешь ты. Надоело слушать одно и то же.

— Коли надоело, — возразила мать, — делай, как тебе советуют, и кончатся все разговоры.

— Сделаю, сделаю, — примирительно ответила Марлена.

— Вот и будешь умницей.

Мать с каким-то особенным блеском в глазах сказала:

— А вообще, Марлена, я отказываюсь тебя понимать.

— Почему?

— Если бы во времена моего девичества ко мне посватался такой Арно, я бы и минуту не колебалась...

— Вижу, он тебе нравится?

— А тебе?

— И мне. Но к чему торопиться?

— Есть вещи, дитя мое, с которыми надо поторопиться. — Мать привлекла к себе Марлену и — шепотом: — Его же могут перехватить. Ты этого не опасешься?

— Что же я должна делать?

— Умный вопрос. Первым делом ты должна ему позвонить.

— Сейчас?

— Да.

— Поздно. Я устала, хочу спать...

— Выспишься. Позвони, чтобы знал, что ты здесь. С утра и придет.

— Ты его не знаешь? Только услышит, тут же и явится.

— Тем лучше.

Марлена позвонила. Арно был дома и сам взял трубку. Она решила немного его разыграть. Сказала, что звонит из Биробиджана.

— Почему так поздно? — спросил он. — Что-нибудь случилось?

— Ничего. Звоню просто так, — ответила она.

— Просто так? — переспросил он. — Когда же ты собираешься в Хабаровск? Тебя уже две недели не было...

— Возможно, и на этой неделе тоже не смогу. Много работы.

Мать немymi жестами просила Марлену прекратить разыгрыш, но та продолжала:

— Что, соскучился? Приезжай ко мне. Когда? Хотя бы завтра...

Он вдруг спохватился:

— Что-то я очень хорошо тебя слышу...

— У нас исправили линию, — ответила Марлена и, глядя, как мать не перестает подавать ей знаки, прямо в трубку расхохоталась.

— Ты дома, Марлена? — догадался наконец Арно.

— Да.

— Когда приехала?

— Только что.

— Бегу!

— Успеешь. Завтра.

— Сейчас! — он положил трубку.

— У нас будет гость, — сказала Марлена.

Пришел отец, невысокий, крепко сбитый, очень похожий на Семена Евсеевича, только шапка волос гуще и без малейшего намека на седину, — точно такая же, видеть, была когда-то и у деда.

— Ага, соскучилась! — обнял он дочь. — Когда же ты вернешься сюда?

— Куда?

— Не знаю, можешь к нам, можешь к себе, как захочешь... — Кивок в сторону матери: — Политбеседу с тобой уже провели?

— Как всегда.

— И есть результаты?

— Сегодня, кажется, будут, — ответила мать. — Ждем гостя.

Вскоре явился Арно. К его приходу стол был уставлен закусками но он ни к чему не притронулся. Он хотел прогуляться с Марленой.

Они ушли. Гуляли допоздна. Несколько раз она просила отпустить ее — устала, ей надо отдохнуть, — но он был неумолим. «Успеешь», — говорил он, и они продолжали гулять. А когда в последний раз довел ее до дома, спросил:

— Когда? ..

— Что когда? — прикинулась она непонимающей.

— Сама знаешь. Когда ответишь на мой вопрос?

— А когда бы ты хотел?

— Сегодня, сейчас.

— Какой ты скорый!

— Марлена, сколько можно? ..

— Ну, хорошо.

— Ты сказала — хорошо?

Плечистый, статный, возвышался он над нею. Ждал. Арно прислонился к дереву, росшему у дома, и так стояли они втроем — Марлена, выше ее Арно и намного выше их обоих — дерево. Оно, казалось, тоже застыло в ожидании. Чего-то ждала, кажется, и совершенно пустынная в этот поздний час улица. Марлена вспомнила слова бабушки: «Скажи сму, и дело с концом». То же говорила и мать. Отец молчит, но думает так же. А она? Она сама? Разве не этого хочет? К чему же тянуть? Вот стоит он над нею, такой большой, сильный. Ждет.

Так бросаются в воду с высокого обрыва.

— Да.

— Да?

Она — еще тише:

— Да.

Он — громко:

— Да?

— Да.

— Да, да, да! — на талии ее с силой сомкнулись большие его руки, он поднял ее. Затем опустил и стал осыпать лицо поцелуями.

— Какой ты сильный, — прошептала она, вырываясь из его объятий, и убежала.

— Вернись! — крикнул он ей вслед.

— Завтра!.. — ответила она на бегу и скрылась в подъезде.

На следующий день они пошли в загс. Настоял на этом Арно. Оставили заявление: он, такой-то, и она, такая-то, желают соединить свои жизни и вступить в брак.

— По закону, — разъяснила им пожилая миловидная женщина, заведующая загсом, — вы ровно через месяц сможете сыграть свадьбу.

— Этот месяц дается на раздумья? — спросил Арно. — Но вот уже годы, как я только об этом и думаю.

— Где годы, там и месяц, — ответила она.

— Вы думаете, месяц может что-то изменить?

— В жизни всякое бывает, — сказала заведующая. Ей нравилась эта красивая пара, и она, улыбаясь, добавила: — Смотрите на это как на необходимую формальность и наберитесь еще немного терпения.

Событие это было отмечено обедом в профессорском доме. Присутствовали и родители Марлены.

Во время обеда с края стола упала и разбилась фарфоровая тарелка. Профессор рассмеялся.

— То, что у нас сегодня происходит, — пояснил он, — когда-то у евреев называлось «тноим», что-то вроде смотрин. По обычаю во время «тноим» разбивали тарелку на счастье. Так что все верно, — и он предложил тост за молодых.

Потом Арно в огцовской «Волге» отвез Марлену на вокзал. Когда поезд уже тронулся с места, он еще долго бежал за ее вагоном и глаза его светились, как у человека, у которого сбылась наконец давнишняя мечта.

Неделю спустя, под вечер, Арно заявился к Гринбоймам. Дома был один Семен Евсеевич. Нежданному гостю он не выказал особой радости. Пригласил сесть.

— Где Сима Самойловна? — спросил тот.

— Именно она вам и нужна?

— Да, то есть нет...

Явилась хозяйка с двумя полными сумками из магазина.

— Боже, какой гость! — воскликнула она, ставя сумки на пол. — Где же Марленочка? Она знает? Я быстренько приготовлю ужин.

— Не беспокойтесь, ничего не надо, — сказал Арно. — Где Марлена?

— У соседки, — ответил Семен Евсеевич, — она сейчас придет.

В будничном халатике, волосы кое-как собраны на голове, на пороге появилась Марлена.

— Арно? — удивилась она. — Когда приехал?

— Сегодня.

— Почему не позвонил?

— Хотел — сюрпризом.

— Надолго?

— На несколько дней.

— Сейчас переоденусь, — побежала она к себе в комнату.

Когда они уже гуляли по улице и он крепко держал ее под руку, она подняла к нему голову:

— А все-таки, чего это ты приехал?

— Ты недовольна?

— Что ты! Но ты ведь на работе?

— Отпросился. Соскучился. А ты?

— Осталось ведь недолго.

— Каждый день как год!

Гуляя, дошли до центральной гостиницы.

— Я тут остановился, — сказал он. — Отдельная комната. Уютно. Хочешь, войдем?

— Нет, — ответила она.

Пошли дальше. Долго мерили улицу в одну и другую сторону и снова остановились у широких ступеней, ведущих в гостиницу.

— Войдем?

— Нет.

— Почему?

— Так.

— Милая... Ведь через три недели...

— Вот тогда...

— А теперь?

— Тогда, — повторила она строго и сказала: — Отведи меня домой.

— Ты меня не любишь, — сказал он у ее дома.

— Это ты меня не любишь.

— Почему?

— Долго объяснять . . Сам должен понять.

Договорились завтра вечером сходить в парк.

Он пришел за нею. Марлена была уже готова. Белая короткая юбка. белоснежная кофта, на высоком каблуке лакированные белые туфли. Золотистые волосы — короной на голове.

Они стояли уже на пороге, готовые к выходу.

— Дети, — предупредила Сима Самойловна, — не возвращайтесь поздно, мы вас будем ждать.

Марлена рассмеялась:

— Бабушка все еще думает, что я хожу в детский садик. . .

Не успела закрыться за ними дверь, как бабушка тут же приникла к окну и позвала деда.

— Подойди! Сколько можно пялить глаза в газету? Посмотри на детей, оба — загляденые. . .

Дед не двинулся с места.

— Что ты насупился? — спросила бабушка, отойдя от окна. — Вскоре ведь свадьба. Можно подумать, что ты не желаешь счастья нашей внучке. . .

— В том-то и дело, что именно этого я и желаю, — ответил он и снова уткнулся в газету.

Марлена и Арно прошли мимо больницы, где она работала. Окна на всех трех этажах ярко светились.

— Сегодня была моя очередь дежурить ночью, — сказала Марлена, — но я поменялась. — И добавила: — Ради тебя.

— Благодарю! — стиснул Арно руку Марлены, которую крепко держал в своей.

Прошли мимо универсама, мимо Дома культуры с тяжелыми колоннами. Вскоре были у гостиницы. На первом этаже прозрачная стеклянная стена отделяла от улицы аккуратно расставленные, красиво накрытые столики, вокруг которых сидели посетители. С улицы видно было, как в глубине зала вихлялись в модерновом танце. Приглушенно долетала музыка.

— Войдем? — спросил Арно.

— Мы ведь направились в парк.

— Посидим, немного потанцуем. А потом. . .

Марлена заколебалась. Ее тоже потянуло сюда, в атмосферу яркой праздничности, музыки. Почему бы и нет? Но ответила:

— В парке лучше. А стоит войти сюда, в парк мы уже не выберемся.

— Как знаешь, — недовольным тоном ответил он.

Они повернули вправо мимо окрашенных в зеленый цвет старых строений. Переждав поток грузовых машин, перешли дорогу и направились в парк.

Марлена помнила время — она тогда была еще ребенком, — когда вход в парк был не в этом месте, а несколько левее, и вел к нему узкий деревянный мост, колебавшийся под ногами. Мост затем убрали, вода высохла, и место это теперь было не узнать — оно поросло травой, зазеленело кустами, забелело стайкой молодых березок.

Вчера еще Марлена решила побывать в парке с Арно. По парку она просто соскучилась, давно тут не была, все как-то не получалось. И хотелось ей показать Арно некоторые места, которые ей по-особому были памятны и дороги.

Вошли под густые кроны центральной парковой аллеи.

— Тебе известна история этого парка? — спросила она.

— Расскажи.

— А тебе интересно?

— Почему бы и нет.

— Об этом рассказал мне дед, — начала она, — он был тут одним из самых первых переселенцев... Когда прибыли сюда, увидели сплошную тайгу. Стали вырубать ее и строить дома. Зарождался город. Когда добрались до этого места на берегу Биры, кто-то предложил: «Давайте оставим таким, как есть, этот кусок тайги, и пусть следующие поколения — то бишь и мы с тобой, Арно, — будут иметь представление о том, что мы застали здесь». Потом тут устроили парк.

— Занятно, — промолвил Арно, — но неужели ты думаешь, что твой дед и другие тогда уже пеклись о нас с тобой?

— Почему бы нет?

— Глупенькая, каждый старается для себя.

— Как так? — изумилась Марлена.

— Прежде всего — для себя.

— Но люди вынесли столько трудностей и все же работали, строили.

— Для себя.

— Но мы с тобой ведь пользуемся тем, что сделали они, вот хотя бы гуляем по этому парку.

— Почему же нам не гулять, раз парк этот есть? Но поверь мне, меньше всего те первые думали о нас.

— Арно, ты говоришь странные вещи. Мне даже трудно тебе возразить, настолько неожиданно то, что ты утверждаешь...

— И не надо возражать, — погладил он ее руку, — не надо. Покажи мне лучше то, что собиралась показать.

Они повернули к детской площадке. В вечернем сумраке как бы дремали игрушечные домики, качалки, невысокие качели. На одну из них Марлена присела и указала Арно на другую рядом.

— Не бойся, не упадешь! — И стала рассказывать: — Девчонкой я очень любила тут кататься... — Вдруг, перегнувшись, в сторону: — Валерик! Это ты, Валерик? — Выпрямившись: — Показалось... Откуда здесь мог взяться Валерик?

— Что еще за Валерик? — недовольным голосом спросил Арно. — Уж не тот ли бригадир, что увлекается Хикметом?

— Нет, — засмеялась Марлена, — тот — Аркадий. А с Валериком мы ходили в один детский сад. Летом наша воспитательница Софья Семеновна каждый день водила нас сюда. Тут было очень весело. Однажды двое мальчишек завели меня вон в тот темный угол под старыми деревьями и давай меня тянуть за косички, один в одну сторону, другой — в другую тянет. «Больно!» — кричу, а они — тянут и еще смеются... Рядом оказался Валерик. Был он меньше этих мальчишек, но кинулся на них, не побоялся, а они — наутек... Мама потом сказала: «Валерик хороший, поцелуй его»...

— Ты поцеловала?

— Конечно.

Арно придвинулся к Марлене.

— Ты что?

— И меня поцелуй.

— За что?

— Просто так.

— Просто так это не делается, — погрозила она ему пальцем.

— Тогда я — тебя...

Она соскочила с качелей.

— Арно...

— Что?

— Успокойся. Пойдем посмотрим Биру.

— Ты хочешь меня в ней охладить?

— Хочу показать тебе, как хороша она по вечерам.

Когда мы закончили школу, после выпускного вечера всем классом пришли сюда. Пришли и из других школ. Все вместе тут встречали восход солнца...

Они пошли вправо по направлению к аллее Славы, где друг против друга висели крупные полотна — портреты знатных людей, героев труда. Между детской площадкой и ярко освещенной аллеей тянулась глухая ди-коватая часть парка. Тут было темно, низко над головой сплошным пологом сомкнулись кроны старых деревьев, по бокам темнели высокие кусты, было безлюдно.

Марлена взяла Арно под руку.

— Пойдем быстрее, — сказала она.

— Ты трусиха? — ухмыльнулся он. — Где же она, твоя Бира?

Сделали еще несколько шагов.

— Прикурить есть?

Арно выпустил руку Марлены. Она почувствовала пустоту рядом. Где же Арно? Из окружающей темноты мрачным сгустком выступила одна фигура. За ней — еще: вторая, третья... А может, померещилось? Деревья, кусты? Как ни странно, она ощутила в себе твердость. Сказала:

— Ребята, не надо. Идите своей дорогой. — Сказала тихо, спокойно. Ей казалось, это должно было подействовать. Но мрачная фигура придвинулась ближе, другие за ней. На Марлену дохнуло пьяным перегаром. Ее охватил страх. Где же Арно? В крошечной тьме робко светле-ли ее блузка, юбка. — Ребята...

Темнота обрела речь.

— Леха! Сашок! Слыхали? — К Марлене: — Чувак твой где? Куда девался? Нет у него огня, чтобы прикурить? Может, ты нам дашь...

Ей больно стиснули руку. Потащили в сторону, к кустам. Она чуть не упала. Хотела кричать, но спазм сдавил ей горло. Все сжалось в ней, замерло, только сильно колотилось сердце. И одна мысль: Арно...

— Стой, падлы!

Тот, кто тащил за собой Марлену, от неожиданности выпустил ее руку.

— Но люди вынесли столько трудностей и все же работали, строили.

— Для себя.

— Но мы с тобой ведь пользуемся тем, что сделали они, вот хотя бы гуляем по этому парку.

— Почему же нам не гулять, раз парк этот есть? Но поверь мне, меньше всего те первые думали о нас.

— Арно, ты говоришь странные вещи. Мне даже трудно тебе возразить, настолько неожиданно то, что ты утверждаешь...

— И не надо возражать, — погладил он ее руку, — не надо. Покажи мне лучше то, что собиралась показать.

Они повернули к детской площадке. В вечернем сумраке как бы дремали игрушечные домики, качалки, невысокие качели. На одну из них Марлена присела и указала Арно на другую рядом.

— Не бойся, не упадешь! — И стала рассказывать: — Девчонкой я очень любила тут кататься... — Вдруг, перегнувшись, в сторону: — Валерик! Это ты, Валерик? — Выпрямившись: — Показалось... Откуда здесь мог взяться Валерик?

— Что еще за Валерик? — недовольным голосом спросил Арно. — Уж не тот ли бригадир, что увлекается Хикметом?

— Нет, — засмеялась Марлена, — тот — Аркадий. А с Валериком мы ходили в один детский сад. Летом наша воспитательница Софья Семеновна каждый день водила нас сюда. Тут было очень весело. Однажды двое мальчишек завели меня вон в тот темный угол под старыми деревьями и давай меня тянуть за косички, один в одну сторону, другой — в другую тянет. «Больно!» — кричу, а они — тянут и еще смеются... Рядом оказался Валерик. Был он меньше этих мальчишек, но кинулся на них, не побоялся, а они — наутек... Мама потом сказала: «Валерик хороший, поцелуй его»...

— Ты поцеловала?

— Конечно.

Арно придвинулся к Марлене.

— Ты что?

— И меня поцелуй.

— За что?

— Просто так.

— Просто так это не делается, — погрозила она ему пальцем.

— Тогда я — тебя...

Она соскочила с качелей.

— Арно...

— Что?

— Успокойся. Пойдем посмотрим Бирю.

— Ты хочешь меня в ней охладить?

— Хочу показать тебе, как хороша она по вечерам.

Когда мы закончили школу, после выпускного вечера всем классом пришли сюда. Пришли и из других школ. Все вместе тут встречали восход солнца...

Они пошли вправо по направлению к аллее Славы, где друг против друга висели крупные полотна — портреты знатных людей, героев труда. Между детской площадкой и ярко освещенной аллеей тянулась глухая ди-коватая часть парка. Тут было темно, низко над головой сплошным пологом сомкнулись кроны старых деревьев, по бокам темнели высокие кусты, было безлюдно.

Марлена взяла Арно под руку.

— Пойдем быстрее, — сказала она.

— Ты трусиха? — ухмыльнулся он. — Где же она, твоя Бира?

Сделали еще несколько шагов.

— Прикурить есть?

Арно выпустил руку Марлены. Она почувствовала пустоту рядом. Где же Арно? Из окружающей темноты мрачным сгустком выступила одна фигура. За ней — еще: вторая, третья... А может, померещилось? Деревья, кусты? Как ни странно, она ощутила в себе твердость. Сказала:

— Ребята, не надо. Идите своей дорогой. — Сказала тихо, спокойно. Ей казалось, это должно было подействовать. Но мрачная фигура придвинулась ближе, другие за ней. На Марлену дохнуло пьяным перегаром. Ее охватил страх. Где же Арно? В крошечной тьме робко светлели ее блузка, юбка. — Ребята...

Темнота обрела речь.

— Леха! Сашок! Слыхали? — К Марлене: — Чувак твой где? Куда девался? Нет у него огня, чтобы прикурить? Может, ты нам дашь...

Ей больно стиснули руку. Потаскили в сторону, к кустам. Она чуть не упала. Хотела кричать, но спазм сдавил ей горло. Все сжалось в ней, замерло, только сильно колотилось сердце. И одна мысль: Арно...

— Стой, падлы!

Тот, кто тащил за собой Марлену, от неожиданности выпустил ее руку.

— Гляди, вернулся ее чувак...
— Что, достал прикурить? Го-го...
— Ну, ближе подходи, ближе... Давай свой огонь...
«Арно!» — встрепенулась Марлена.
— Леха, Сашок! Не ее это чувак, не ее...
— Кто же?
— Тот без бороды, я видел. А этот с бородой. Что тебе тут надо, борода?
— Это моя чувиха! Отпустите ее!
— Леха, Сашок! Слыхали? Его чувиха... Чувак ее — тютю... И ты — давай, пока борода цела...
Марлена не двигалась с места. Валерий? Откуда?
— Отпусти чувиху! — с угрозой в голосе приказал Крас.
— А если не отпущу?
— Будете иметь дело со мной!
— Ого! Леха, Сашок, а ну... — А сам — к Марлене. Валерий стал между ними.
— Беги, Марлена! — он перехватил направленный на него кулак и, развернувшись, двинул главного из троих по башке...

Длинной светлой аллеей бежала Марлена. Не спасалась, нет! Бежала за помощью. Валерий — откуда он взялся? — там один против троих... А Арно? Нет Арно... На бегущую Марлену с двух сторон глядели неподвижные портреты. Тут не было в этот поздний час ни одной живой души... Все было залито ярким слепящим светом. А там, всего в нескольких шагах отсюда, — темень, мрак... И один там дрался с троими...

Задышавшись, Марлена бежала к центру парка...

— На помощь! На помощь!... — не своим голосом кричала она.

Сама душная темень, казалось, выдыхала из себя глухие звуки ударов. Трах! Трах! Как при колке дров. Кулаки дубасили по грудной клетке, по ребрам. Валерию такое было не впервой. Случалось с ним такое на Сахалине да и раньше. Там выручали его парни из рыбокомбината. А тут? Где Марлена? Лишь бы она была вне опасности. Лишь бы... Трах! Один из троих, которого он только что свалил, поднялся, и он ему еще раз поддал. Другому — тоже. Третий угодил ему ногой в живот, в бок. Темень. Из глаз — искры. Губы разбиты, кровь... Только не упасть. Главное — не упасть... Упа-

дет — затопчут, он знает. Трах! Трах! Одному, другому... А третий? Он, кажется, со спины заходит...

В то мгновение, когда Валерий оглянулся назад, двое оглушили его ударами по голове, один поднял ногу, целясь в пах. Валерий молниеносно отскочил, устремив кулак вперед, но... Но что это? Что-то больно вошло ему под лопатку, раз, другой... Он медленно повернул голову назад и как подкошенный рухнул... Последнее, что он слышал, был удаляющийся топот... Слышал он и другие шаги, которые приближались, но все поглотил мрак...

— Здесь это, здесь, — сказала Марлена.

— Где? Ничего не видно.

Она привела двух дружинников.

По траве, кустам зашарили ручные фонарики. Тихо. Никого.

Два луча скрестились на белом. Человек лежал в высокой траве на животе. Одна нога была подогнута, как если бы он пытался подняться. На спине разрасталось красное пятно.

— Валерик! — вскрикнула Марлена и упала около него на колени.

Закрыв лицо руками, заплакала. Плакала долго. Когда открыла лицо, оглянувшись, возле нее был только один дружинник. На ее немой вопрос он ответил:

— Побежал звонить. Вызывать «скорую»... Милицию...

Марлена спохватилась — почему она ничего не делает? Дорога каждая минута... Пульс... Одна рука его была поджата, другая откинута.

Медленно подняла Марлена глаза на дружинника. Они светились в темноте.

— Жив!...

Спустя несколько минут появились милиционеры. Машина «скорой помощи» не смогла проехать сюда, она остановилась невдалеке, в освещенной аллее. Дружинники осторожно подняли Валерия и понесли.

— Кто поедет с ним? — спросил врач.

— Я, — ответила Марлена.

Носилки с Валерием внесли в машину. Пригнувшись, забралась туда и Марлена. Всю дорогу она держала в своей руке чуть теплую руку Валерия.

Пьяно колыхалось голубое облако сигаретного и папиросного дыма над потерявшими и теряющими трезвость головами. Все столики в ресторане были заняты. С большим трудом в дальнем углу огромного зала отыскал он свободное местечко за столиком, занятым двумя юнцами и девушкой.

Юнцы оба, видать, были влюблены в девушку, а та кокетничала то с одним из них, то с другим. Танцевать ушли все трое. Вот они вихляются там, в центре зала, среди таких же юнцов, переламаываются надвое, трясутся друг перед дружкой. Играет небольшой ансамбль. Усилители наполняют помещение оглушающим громом и грохотом. Пусть, пусть музыка гремит, грохочет, заглушает то, что творится у него, Арно, в душе... Оборванные мысли то выныривают откуда-то, то исчезают и вдруг снова начинают выползать, вертяться, вихляясь, как те танцующие пары... Ералаш. Он откладывает одну недокуренную сигарету, закуривает другую... Все вокруг видится ему сквозь пелену сигаретного дыма... Из небольшого, уже наполовину опорожненного графина он наполнил рюмку коньяком, подержал ее в руке, бездумно разглядывая золотистую жидкость на свет, затем выпил и принялся за салат.

Как он очутился здесь? Надо же было куда-нибудь ему подагся. Спать еще было рано, да все равно ему теперь бы не уснуть. Вот и забрел сюда...

Как все-таки в жизни все неустойчиво, изменчиво, шатко, неожиданно-негаданно... Послушалась бы его, и было бы все по-иному. Он ведь с самого начала предлагал пойти сюда, в ресторан. Посидели бы, потанцевали, а потом... Поднялись бы к нему на третий этаж. Вчера она не соглашалась. Каприз. Сегодня после ресторана пошла бы, а как же? И... И все было бы, как он задумал. Ведь всего три недели до свадьбы... Так нет, ей захотелось, видите ли, в парк. А для чего? Чтобы рассказать историю парка. Очень это ему нужно... История с первыми переселенцами, тайгой... Кого это может заинтересовать? Ну, приехали на край света. Ну, строили, и что? Странное дело -- представлять тех, первых, которые стали строить тут бараки, чуть ли не героями, которые будто пеклись о чем-то будущем... Глупости! Им просто не хватило ума или способностей остаться на старых обжитых местах, их понесло сюда, в дремучую тайгу... Она

ему, видите ли, покажет реку, где они встречали восход солнца. . . Глупые сантименты. Но ей этого хотелось, и он пошел. Думал, постоят немного на берегу и вернутся сюда, в ресторан. И вдруг: «Прикурить есть?» Знает он, чем это пахнет, наслышан. Ты — зажигалку, а тебе — железкой по голове. . . Не успел он еще как следует осознать случившееся, как ноги сами собой понесли его прочь. . . Сердце бешено колотилось в груди. . . Он ободрал руку о какие-то кусты, ветка невидимого дерева хлестнула больно по лицу. . . Он бежал. Вот и детская площадка, где они только что сидели. Лишь у выхода из парка он на миг остановился, чтобы перевести дух, и тут, как током, его ударила мысль: Марлена. . . В те первые минуты, пока он бежал, она совсем вылетела у него из головы. . . Теперь, когда опасность как будто миновала, он вспомнил. Она там, одна. . . Но он ведь крикнул ей: «Беги!». . . Знал он, что ничего не крикнул, не успел, но ухватился за эту мысль. А она так и сделала, чего же ждать? Посмотрел вдоль аллеи, никого не видно. Значит, побежала в другую сторону. Он подождал еще немного и направился к выходу из парка.

«Не позвать ли милицию?» — шевельнулась мысль, но он тут же ее отогнал. А что он, собственно, скажет? Где и что произошло? А может быть, ничего не произошло. . . А где был он сам? Нет, лучше не начинать. А Марлена? Она наверняка уже дома. Неприятно, конечно, но. . . как-нибудь образуется. . .

Оркестр умолк, танцы прекратились, и юная троица вернулась к столику. Лица в поту. Вид довольный, поработали — можно отдохнуть. Девушке лет шестнадцать, не более. Ее ухажеры на год или два старше. С двух сторон закрывают лицо девушки длинные светлые волосы. Для обозрения остаются только глаза, вздернутый носик и ярко накрашенные губы. Из начатой пачки на столе густо наманикюренными пальцами девушка вынула сигарету, и тут оба юнца услужливо поднесли ей свои зажигалки. Сигарету она по очереди приложила к одному огоньку и к другому, при этом каждому из кавалеров милостиво улыбаясь одними губами, и глубоко затянулась. Потом они пили, закусывали тем, что оставалось в тарелках, лениво переговариваясь. Когда они в очередной раз наполнили рюмки, Арно налил свою (небольшой графин был уже почти пуст) и сказал:

— Я для вас, молодые люди, чужой, совершенно чужой человек. Но мы сидим за одним столиком, и вы мне

очень симпатичны. Если не возражаете, я выпью с вами...

— Пожалуйста! Пожалуйста! — в один голос откликнулись оба кавалера.

— За что же мы с вами выпьем? — спросила девушка, бросив кокетливый взгляд на незнакомца.

— За вашу юность, — ответил он.

Снова загромыкала музыка. Арно осенила забавная мысль: показывая глазами на девушку, он слегка поклонился одному пареньку, другому:

— Разрешите!

Затем встал и склонился перед девушкой. Та охотно вскочила с места.

Во время танца эта пара привлекла внимание. Он, высокий, стройный красавец, выкидывал такие фортели, что здесь подобных еще не видавали, а она, маленькая, верткая, чертенком вилась напротив него.

Танец закончился, и Арно подвел девушку к столику.

— Возвращаю вам вашу даму целой и невредимой, — сказал он паренькам.

Потом подозвал официантку, расплатился и медленно поднялся на третий этаж. Тут он принял душ, лег под тонкое летнее одеяло и вскоре заснул.

10

На высокой подставке у койки возвышается капельница. В эти дни она стала, кажется, частью его самого. Меняется жидкость в ней, ее запах, цвет. Он не знает, что за лекарства без конца вливают в него, но чувствует, что с каждой каплей к нему возвращается жизнь.

Кружится голова, он слаб, но сердце полно благодарности к этим людям, что ходят тут вокруг, — врачам, сестрам, нянечкам. Все они ходят за ним с таким видом, как будто он бог вещь какое добро для них сделал, а они перед ним в долгу и стараются оплатить этот долг...

— Ну как, в порядке?

— Все в порядке, Машенька, спасибо!

Машенька. Полная она, и все в ней такое — носик толстый, губы припухлые, но хотя и некрасивая, она вся как бы светится изнутри... Ни одна сестра не умеет так, как она, ввести иглу в вену, чтобы этого даже не успеть почувствовать, так обвязать руку, чтобы нигде не терло, не саднило. Каждые десять — пятнадцать минут она тут как тут около него.

Иногда он ненадолго задремлет. Так и теперь вздремнул и ему что-то приснилось. Что? Не помнит... Он открыл глаза и... Что это? Неужто продолжение сна? Он вспомнил: снилась ему Марлена. А это кто, стоя рядом с капельницей, наклонился над ним? Он слабо разомкнул губы:

— Марлена? Ты? ..

— Да, да, я, — склонилась она еще ниже. — Это я, Валерик.

Он никогда еще не видел ее в белом халате и белой шапочке. Как они ей к лицу...

— Странно, — прошептал он.

— Что?

— Ты только что снилась мне, Марлена.

— Да?

— Но знаешь как? Мы оба, ты и я, еще маленькие...

— Мы давно с тобой уже взрослые. Даже очень взрослые. Как ты себя чувствуешь, Валерик?

Она сказала «Валерик»? Ну да, она всегда его так называла. Но теперь интонация у нее другая. Совсем другая, не то что раньше. Раньше «Валерик» означало: «Тоже мне... Валерик есть Валерик, какой с него спрос!» А теперь в ее голосе ему слышалось: «Так вот ты какой, оказывается, Валерик!» И еще одно слышалось ему в ее голосе — нежность...

— Как ты себя чувствуешь?

— Нормально, — слабо улыбнулся он в ответ, глубоко заглянув ей в глаза. Она своего взгляда не отвела, сказала:

— Тебе нужен покой. Я принесла тебе свежего бульону, бабушка сварила. Поешь, тебе надо набираться сил.

Марлена работала в терапевтическом отделении. Работала первый год, и ей еще не очень доверяли. Старший врач, миловидная кареглазая Людмила Шулимовна, проработавшая в больнице лет пятнадцать, часто ей помогала советом, пару раз в неделю приходила в палату Марлены, а та старалась. Старшие коллеги были ею довольны.

— Из нее выйдет хороший врач, — говорили они.

Как бы ни была занята Марлена, по несколько раз на день, а когда дежурила, то и ночью поднималась на второй этаж, в хирургическое отделение, и заходила в седьмую палату, где лежал Валерий. Палата большая, но в ней тесно и душно, хотя дверь в коридор все время была

раскрыта. Валерий, самый тяжелый больной в палате, лежал у стены слева, ближе к дверям, где было больше воздуха.

Иногда Марлена заставляла его дремлющим, тогда она, недолго постояв над ним, на цыпочках выходила. Когда он бодрствовал, они обменивались несколькими короткими фразами — его нельзя было утомлять. Каждый раз она приносила ему что-нибудь из дому — бульон, свежесваренную курицу, компот.

— Ешь, — говорила она, — это тебе бабушка прислала.

— Чтобы терапевт так хорошо лечила хирургического больного... — говорили между собой другие больные в палате. Все хорошо знали о том, что произошло, и говорилось это с улыбкой.

Дней десять спустя после того, как «скорая» доставила Валерия в больницу, Марлена пришла к нему не одна. В тесноватом белом халате, неловко накинутом на широкие плечи, с нею стоял рядом Аркадий Сатановский. Он обвел взглядом большую палату и вопрошающе уставился на Марлену: где же Валерий? С улыбкой указала она ему на койку у двери, около которой они стояли. Аркадий взглянул на койку, но человека, который лежал на ней, не узнал. Ни бороды, ни патл... Низко срезанные волосы острым мыском торчат над высоковатым лбом. Продолговатое худое лицо с глубоко запавшими глазами скромного юноши... Что-то детски упрямое таила в себе чуть изломанная линия рта. Так вот что скрывал под разбойничьей бородой и патлами, подумал Аркадий, этот бравый парень — упрямство стеснительного юнца...

— Как оно? — слегка дотронулся он до руки Валерия.

— Не узнал? — слабо улыбнулся тот.

— Не узнал.

— Другой человек, да?

— Другой.

Валерий попытался еще раз улыбнуться, но невольно скривился от приступа боли.

— Почему не приходил раньше? — спросил он.

— К тебе ведь не пускают, — ответил Аркадий. — И на этот раз Марлена провела меня нелегально. — Он присел на Валерину койку. — Так вот оно как, — сказал он тихо.

— Что «вот оно как»? — переспросил Валерий.

— Вот как он выглядит, тот парень, которого ты скрывал под разбойничьей бородой... Но я знал, чувствовал, что живет он в тебе.

— Ты считаешь, что он уже объявился?

— А как же!

— И что из этого? Не успел объявиться, а его видишь как?

— Но объявился! И будет жить.

— Ты так думаешь? — спросил Валерий.

— Уверен.

— О чем вы говорите? — спросила Марлена. — Что за парень, где объявился? Ничего не понимаю.

— У мужчин свои секреты, — ответил Аркадий и поднялся.

Когда Марлена и Аркадий уже были в дверях, Валерий их окликнул. Оба разом обернулись к нему:

— Что, Валерий?

— Хочу на вас поглядеть...

Аркадий узнал о случившемся на следующий день. Последнее время он к Гринбоймам не заходил и вот решил справиться об их здоровье. Трубку взяла Сима Самойловна. Как только услышала голос Аркадия, зарыдала.

— Несчастье... Большое несчастье, Аркадий...

— Что случилось?

В трубке — сплошные рыдания. Потом — голос Семёна Евсеевича:

— Аркадий, приходи.

— Что-нибудь с Марленой?

— Нет, но могло быть...

— Но...

— Но ничего. Случилось с другим человеком. Приходи.

Пришел он в тот же вечер, ему все рассказали.

Марлена была на работе.

Бабушка плакала.

— Где были мои глаза? Она его не хотела. Теперь-то я понимаю, почему не хотела, противилась. А я уговариваю... А я уговариваю...

— Женщинам много не требуется, — заметил Семен Евсеевич, — лишь бы вид был. А что под этим видом кроется... Эх...

— Ты мудрый человек, Семен, — сказала Сима Самойловна, — а я баба, глупая баба...

— Он всем вам затмил глаза, — сказал Семен Евсеевич, — всем. Только не мне.

— Если бы я не поседела раньше, — снова заплакала Сима Самойловна, — то поседела бы прошлой ночью. Подумать только, что бы стряслось с нашим дитем, горе мне, горе...

— Вчера-то ведь она ничего нам не рассказала, — добавил Семен Евсеевич. — Явилась поздно, во втором часу ночи, одна. На ней лица не было... Смотрим и не узнаем. Не та Марлена, что уходила... Такой мы ее еще не видели. Не раздеваясь, повалилась лицом в подушку и — ни слова...

— Сколько ни спрашивали, — продолжала Сима Самойловна, — скажи, что случилось? — мы видим ведь что-то случилось... А она: «Потом, говорит, потом». Не хотела нас расстраивать. К утру только еле добились, чтобы рассказала. Сделала она это в трех словах, но и их было достаточно. Горе мне, горе... Бедный Валерий... Рисковал жизнью... Тот бросил ее на произвол судьбы, а этот рисковал из-за нее жизнью...

— Утром я сразу позвонил в гостиницу, — сказал Семен Евсеевич, — справиться о «герое». Мне ответили, что он просил разбудить его к семичасовому поезду на Хабаровск.

Пришла Марлена. Она была бледна, выглядела усталой. Увидев Аркадия, не удивилась.

— Вам уже известно? — спросила.

— Известно. Как Валерий?

— Пока мало хорошего.

— Что врачи?

— Все, говорят, может случиться. Задето легкое.

— Но надежда есть?

— Как будто.

— Рассказывайте, Марлена...

— В другой раз. Я очень устала, — и прошла к себе в комнату.

Бабушка понесла ей молоко, но тут же вернулась с нетронутым стаканом.

— Ничего не хочет, — шепнула она с несчастным видом и скрылась на кухне.

Каждый вечер Аркадий теперь бывал у Гринбоймов. В таком состоянии нельзя было оставлять стариков одних. Когда не дежурила ночью, Марлена тоже бывала

дома, и Аркадий узнавал у нее о Валерии. Пока она могла рассказать мало хорошего. Аркадий и сам хотел побывать у него, но даже родных не допускали, а посторонних тем более.

— Родители к нему просились, — сказала Марлена, — но и их не пустили.

— Родители просились?

— Ну как же... Спросили у Валерия: хочет ли он видеть родителей? Сперва было ответил: нет. Потом передумал и сказал: мама. Пусть придет мама.

Мать Валерия, моложавая женщина, явилась в больницу в новеньком брючном костюме.

— Валерий, — сказала она, — ты никогда ни со мною, ни с отцом не считался.

Помолчали

Валерий спросил:

— Ты здорова, мама?

— Да, а что?

— Ничего. А папа?

— Здоров.

— Ну и будьте здоровы!

Но прежде чем уйти, мать сочла нужным спросить:

— Все же, Валерий, зачем тебе это нужно было?

— Что?

— Заступаться...

— Не надо, мама, об этом.

— За какую-то...

— Молчи.

— Чужую...

— Молчи, мама...

— Девку...

Лицо его густо потемнело, на виске набухла и запрыгала синяя жилка. Он хотел приподняться, но у него горлом хлынула кровь.

После этого к Валерию никого больше не пускали.

В вагоне утреннего поезда «Биробиджан — Хабаровск» кресла были мягкие, как в воздушном лайнере, они откидывались, чтобы в них удобно было дремать.

На следующий день после происшествия в одном из таких вагонов дремал Арно. В креслах напротив устроились две пожилые женщины. Они рассказывали третьей, помоложе, сидевшей рядом с Арно, об этом происшествии. Значит, в городе уже знают. На молодую гуляю-

щую пару, рассказывали женщины, в темном углу парка напали пьяные хулиганы. Парень тут же ретировался, а девушке бы несдобровать, если бы не случился тут еще один молсдой человек. Девушке он сказал: «Беги!» — а сам вступил в драку один против троих...

— Один против троих? — ужаснулась женщина по-моложе рядом с Арно.

— Да, против троих. Девушка побежала за помощью. Но когда она с двумя дружинниками вернулась на место, хулиганов и след простыл, а молодой человек, который за нее заступился, лежал на земле весь в крови...

— Убили?

— Некоторые говорят — убили, а другие — что его привезли в больницу и там он через несколько часов скончался

«А девушка?» — хотел спросить Арно и осторожно приоткрыл глаза. Но этот же вопрос задала его соседка.

— Девушка? — ответила одна из пожилых спутниц. — Она осталась невредимой.

Ну вот, подумал Арно, он ведь знал, что с нею не произойдет ничего плохого

Он удобнее устроился в откиннутом кресле и прикрыл глаза.

11

Машенька внимательно рассматривала вену.

— Больше и колоть некуда, — сказала она, покачав головой. Все же ввела шприц так легко, что Валерий даже не почувствовал. — Ну вот, — сказала со своей милой улыбкой, означавшей: «Все будет хорошо!» — и вышла.

Боль то притуплялась, то снова усиливалась. Когда притуплялась, Валерий задремлет ненадолго и в голове его все путается — и сон, и явь... Когда же боль обострялась и спать он не мог, то снова и снова переживал случившееся в тот вечер.

Он теперь и не помнит, чего ради понесло его тогда в парк. Ну да, захотелось подышать свежим воздухом. В комнате в общежитии было нестерпимо душно. На новой работе он еще не так давно, не успел ни с кем сблизиться, да и с соседями по комнате тоже. Вот и решил прогуляться. Может быть, встретит кого-нибудь знакомых или с кем-нибудь познакомится, возможно с девушкой. Все может быть... Однако, пройдясь раз-другой по

центральной аллее парка, решил, что ему тут делать нечего, лучше податься в какое-нибудь кафе. Он уже направился было к выходу, но вдруг впереди среди гуляющих заметил знакомую пару. Хотя они двигались спиной к нему, он их сразу узнал. Ну да, Марлена. Белая блузка с короткими рукавами, белая юбка, белые туфли на высоких каблуках. Узнал и ее спутника — тот самый, которого он видел с нею в Хабаровске. Он, Валерий, тогда ведь специально поехал за Марленой (она об этом ничего не знала), а там следил за ними, когда они встретились. «А ну-ка, — решил он, — пойду за ними и теперь». Для чего? Это он и сам бы не мог объяснить. Он любил Марлену, одну на всем свете. Но знал, что он ей не пара и ему не на что рассчитывать. Он почти свыкся с мыслью, что с нею счастлив будет другой, — пусть! Но этот другой должен быть достоин такого счастья, и Марлене с ним должно быть хорошо. Когда Валерий в Хабаровске впервые увидел ее спутника, ему почему-то стало ясно, что Марлене с ним хорошо не будет, и с той же минуты он не просто невзлюбил, а возненавидел этого человека.

Эта ненависть, может, и привела Валерия вслед за ними. А может, и зависть. . .

Они свернули в боковую аллею, которая вела к детской площадке. Валерий на некотором отдалении шел за ними. Скрытый вечерним сумраком среди деревьев, он видел, как Марлена присаживается на детские качели и приглашает спутника сделать то же. На миг Валерий, видать, сильно выдвинулся из-за деревьев, Марлена заметила и окликнула его. Он тут же отступил в мрак. Она, наверное, подумала, что ей померещилось, и стала что-то рассказывать (если бы Валерий знал, что рассказывает она о нем!). Потом он увидел, как тот пытается ее поцеловать, и чуть не ринулся со сжатыми кулаками вперед, но сдержался, видя, как они поднялись и пошли. Валерий осторожно последовал за ними. Глухое место, низко нависшие деревья, темные кусты. Остановились. . . Кого-то встретили. Мало ли что? Не расходятся. Странно. . . Что это? Спутник как будто исчез. Марлена в белом, и ему это хорошо видно, она чуть не упала. . . Ее тащат куда-то? Кто? Сколько их там? Валерий об этом не думал. Одним прыжком он был на месте.

— Стой, падлы!

Марлене:

— Беги!

И тут же перехватил нацеленный на него кулак. Он не сразу разобрался в темноте, что их трое. Трое на одного... Хорошо, что он походил когда-то в секцию бокса. Это и на Сахалине помогло. Но их трое. Одна мысль: не упасть. Только не упасть... Били, жестко били, но он удержался на ногах и тоже бил и, кто знает, может, и одолел бы, но...

Острая боль в лопатках напомнила, чем тогда кончилось... С той минуты боль его не отпускала. Лишь притуплялась во время...

Он открыл глаза. Кажется, задремал? Да, удалось вздремнуть... Поздняя ночь. В палате свет потушен. В открытую дверь виден свет единственной лампы, оставленной в коридоре. Его койка у дверей, и ему видно, как нянечка, старая Егоровна, укладывается спать, готовая вскочить по первому зову. В длинном коридоре пусто. Сонно прошлепал кто-то в накинутом на плечи халате, и больше никого...

Валерий снова задремал. Проснулся — что это? Сон или явь?

— Марлена? Ты?

— Да, Валерик, я. Вошла, ты дремал, я тут присела.

— Давно?

— Нет, несколько минут. Я дежурю сегодня у себя в отделении, вот и заглянула к тебе. Может быть, тебе чего-нибудь надо?

— Мне ничего не надо, Марлена.

— Может быть, попить?

— Попить — да.

— Компот, что я принесла, ты уже выпил?

— Вкусный компот. Бабушкин? Еще должно было остаться.

Она открыла тумбочку, вынула банку, отлила в стакан.

Он немного отпил.

— Спасибо.

— Как ты себя чувствуешь, Валерик?

— Нормально.

— У тебя всегда — нормально.

— А как иначе?

— Ну, я пойду. Спи.

— Не спится. Посиди еще.

Она осталась.

— Знаешь, Марлена, — сказал он, — ты часто мне

снишься. А когда случается после такого сна увидеть тебя наяву, как сегодня, — мне становится легче...

Она помолчала.

— Помнишь, в детском саду я тебя спас как-то от двух драчунов?...

— Помню.

— Помнишь, да? — он даже приподнялся на койке. — Не забыла?

— Почему я должна была забыть? Успокойся. Тебе нельзя делать резких движений...

— Давно это было, — как-то мечтательно улыбнулся он. — В косичках у тебя были голубые банты.

— Да.

— А когда я привел тебя домой, помнишь, что сказала твоя мама?

— Помню.

— Что?

— Валерик, сказала она, хороший...

— И еще?

— «Поцелуй его»...

— И ты меня поцеловала...

— Да.

С минуту он лежал с закрытыми глазами. Затем осторожно открыл их.

— Марлена, — тихо сказал он, — хочу тебя спросить...

— О чем?

— Если бы я теперь тебя попросил...

— Что?

— Чтобы ты...

Он не успел договорить, она наклонилась и поцеловала его.

— Спи, — сказала она. — Я пойду.

До утра он не мог сомкнуть глаз.

Утром, окончив дежурство, Марлена снова вошла.

— Почему не приходит Аркадий? — спросил Валерий.

— Ты ведь знаешь, к тебе не пускают посторонних.

— Аркадий — посторонний? — удивился он.

— Для тебя нет, а для администрации больницы — да. Не пускают ведь и родителей...

— Но Аркадий!...

— Он каждый день справляется о тебе.

— У кого?

— У меня.

— Вы видите с ним каждый день?

- Да, он приходит к бабушке и бабушке.
- Это хорошо, — сказал Валерий.
- Что — хорошо? — не поняла Марлена.
- Что вы видите.

Когда она уже была у дверей, он окликнул ее. Марлена вернулась к его постели, и он тихо сказал:

- Запомни: Аркадий — человек.
- Какой человек?
- Че-ло-век.

По дороге домой Марлена думала о том, что Валерий ей сказал, и не совсем понимала, почему он заговорил об Аркадии.

У нее было тяжело на душе. Ее коллеги по работе, бабушка и бабушка понимали это, ни о чем не спрашивали, и она была им благодарна.

Ей хотелось разобраться в себе самой: как все это могло случиться? Не то, что произошло в глухом и темном углу парка в тот злополучный вечер, а то, каким образом оказалась она там рядом с человеком, который в минуту опасности бросил ее? Как случилось, что этому человеку она в конце концов ответила «да» и они вместе с ним подали заявление в загс? Даже начали готовиться к свадьбе... И свадьба в назначенный срок состоялась бы... Теперь после всего, когда она думала о том вечере, ее охватывал ужас не оттого, что могло бы с нею случиться, если бы не неожиданное заступничество Валерия, а оттого, что, если бы не это происшествие, она связала бы свою жизнь с тем. Тот — так называла она его теперь, даже в мыслях не упоминая больше его имени.

Как же это могло случиться? Дед говорил: «Он всем затмил глаза». Да, и ей первой. Статью, красотой, уверенностью в себе. Казалось, с ним как за каменной стеной. И вот — стена рухнула в один миг... О, как мало еще знает она людей, как не научилась в них разбираться... В анатомии ей все ясно, она ведь врач, — а души?.. Тот казался ей каменной стеной, а Валерий — легкомысленный хохмач — так всегда она о нем думала. Такие, как он, разве способны на глубокое чувство? Одно только и могут — позубоскалить над кем угодно, в том числе и над самим собой... И вот не тот, а Валерий, рискуя жизнью, за нее заступился. Все эти его насмешки, пересмешки были маскарадом, который скрывал его действительные чувства. Валерий любил и любит ее, только теперь она это поняла. А что она понимала раньше? Неужели для того, чтобы человек начал что-то понимать, необхо-

димо потрясение, которое всколыхнуло бы его до основания?.. Если бы не этот случай, так бы и не знала она, что в действительности представляет собой тот, что — Валерий. Более того, они сами этого, может быть, не знали бы.

Теперь ей многое ясно. Неясно еще, с кем свяжет она свою жизнь, но она твердо знает, с кем не свяжет ее. Дома в футляре ждут свадебные кольца. Ее кольцо могло бы на всю жизнь превратиться в тяжкую цепь. Для нее цепи уже теперь не будет, но какая цена... С тремя ножевыми ранами лежит Валерий в больнице. Две раны поверхностные, третий удар угодил в легкое... Виталий Дмитриевич, заведующий хирургическим отделением, считает состояние Валерия опасным. Ему об этом не говорят, но что-то он чувствует сам... С чего вдруг заговорил он сегодня об Аркадии?

Аркадий бывает у них почти ежедневно. Его беспокоит состояние Валерия. Дед и бабушка тяжело переживают случившееся, и он помогает им немного рассеяться. Он сжился с ними, как с родными. Да и ей, Марлене, становится легче с его приходом. Он ни словом не напоминает ей о том, что произошло, не задает никаких вопросов. Трудно сказать почему, но именно с ним хотела бы она поделиться своими сомнениями, именно ему хотелось бы признаться в своей беспомощности. Но она этого не сделает. Зачем? И почему именно с ним, Аркадием? Она так много лет, казалось, хорошо знала человека и так обманулась в нем. А Аркадия так мало знает. Ей вспомнился вечер, когда тот пытался доказать, что людям будто бы не нужна поэзия, и как Аркадий, не соглашаясь, стал пересказывать стихи Хикмета. Были в этих стихах такие слова: он, поэт, хочет уподобиться дверям, которые открываются перед добрыми людьми и закрываются перед плохими... Возможно, Аркадий тогда уже разобрался в истинной сути того и не случайно прочел эти строки? Это она, Марлена, ведь чуть не стала дверью, готовой открыться перед плохими людьми и закрыться перед добрым человеком...

Какие же люди добрые, какие плохие? Хороший человек Валерий — он это доказал. А Аркадий? Что она знает о нем?

Так неотступно размышляла Марлена, идя с ночного дежурства домой, затем дома, забывалась ненадолго в тяжком сне, без всякого аппетита ела.

— Где бабушка? — спросила она.

— Не знаешь разве? — ответила Сима Самойловна. — Если его нет дома, значит — на фабрике. Собрание, говорит. Ешь, ешь, Марленочка, ты ведь ничего не ешь. Смотри, на кого ты стала похожа...

Стоя в сторонке и подперев щеку рукой, бабушка не сводила печальных глаз с Марлены.

— Что ты так смотришь, бабуля, на меня? — спросила Марлена.

— Смотрю и думаю: боже, что могло быть...

— Бабуля, я просила тебя...

— Не буду, не буду, — спохватилась та и ушла на кухню.

Марлена тут же отложила ложку.

Снова явилась бабушка.

— Чуть не забыла, Марлена. Пока ты отдыхала после дежурства, принесли какое-то письмо. Вот оно.

Конверт был необычный, продолговато-узкий, из глянцевого-плотной бумаги. Марлена взглянула на почерк, которым был написан адрес, и отшвырнула письмо.

— От кого? — спросила бабушка.

Марлена не ответила. Медленно протянув руку к конверту, она его быстро открыла и вынула узкий белый листок.

— Что случилось? — вскрикнула бабушка.

Марлена вскочила и убежала к себе в комнату.

Сима Самойловна за ней.

— Не надо, бабуля, прошу тебя, — крикнула Марлена, — оставь меня одну!..

• Что бы это значило? От кого письмо? Обратного адреса на нем не было.

Через некоторое время бабушка на цыпочках подошла к Марлениной комнате и осторожно из-за портьеры заглянула туда. Закрыв лицо обеими руками, Марлена сидела на низкой тахте, и между ее бледными пальцами сочились слезы. Или показалось? «Что делать? — в отчаянии думала Сима Самойловна. — А тут еще Семена нет дома. Что делать?»

Позвонили в дверь. Семен! Побежала открывать.

— Аркадий?

— Да. К вам можно?

— Можно, можно. Как же?

— Кто это? — голос Марлены.

— Аркадий пришел.

— Аркадий?

— Да. — Боясь произнести громкое слово, Сима Самойловна пыталась одними знаками объяснить, что с Марленой что-то происходит и она не понимает что.

— К вам можно, Марлена? — спросил Аркадий, проходя в первую комнату.

— Можно, можно, — услышал он.

Марлена сидела в той же позе на тахте, только руки отняла от лица и поправила волосы. В густо окутавшем комнату предвечернем сумраке белел на тахте листок.

— Почему вы в темноте? — спросил Аркадий.

— Не успела включить свет, — ответила Марлена. — Да, по правде сказать, и не хотелось. На душе такой мрак...

— Тем более надо включить свет...

— Разве это поможет?

— Я имею в виду не электрический...

— Какой же?

— Свой, внутренний...

— А если его нет?

— Неверно, — возразил Аркадий. — В каждом человеке — неисчерпаемые запасы света. Мы даже не догадываемся, до чего они огромны...

— И во мне?

— В вас тем более.

— Вы в этом уверены?.. Тогда включите свет.

Все предметы в комнате сразу сбросили с себя пелену, в которую только что кутались. Марлена была очень бледна. Он сказал ей об этом.

— Вам кажется, — ответила она и подала ему листок: — Читайте.

— Что это?

— Читайте.

— «Дорогая», — схватил он взглядом первое слово и вопросительно взглянул на Марлену.

— Читайте, читайте! — приказала она.

«Дорогая Марлена, — прочел Аркадий. — Я думаю, что досадное происшествие в парке не могло повлиять на решение, которое мы приняли раньше. Было бы несправедливо, чтобы какие-то минуты перечеркнули то, что готовилось всю жизнь. Это был случай, которого могло и не быть. Неужто он станет помехой будущему? Надеюсь, все произойдет, как было намечено. Жду ответа».

Аркадий онемел.

— Он?

— Там же подпись.
— Какой-то крючок.
— В этом крючке он весь.
— Но как можно?... После всего... вот такое... Ведь для этого мало быть негодяем. Нет, отказываюсь понимать...

Аркадий долго не мог успокоиться.

Спросил:

— Почему вы это показали мне?

Марлена подняла на него глаза — большие глаза маленького олененка, любопытные, чем-то чуть напуганные, долго смотрела на него и наконец прошептала:

— Кому же мне это показать? Кому?

12

Валерий умер в три часа ночи. Когда Марлена, придя утром на работу, вбежала в палату, койка его уже была пуста. Внизу ей сказали, но она не поверила. «Не может быть! — протестовало все в ней, — не может быть...» И вот — пустая, застланная свежим бельем койка... Никого вокруг не видя, обо всем забыв, Марлена упала на койку и разрыдалась...

— Марлена Давыдовна... Марлена Давыдовна... — Машенька коснулась ее плеча. — Успокойтесь... Идемте отсюда... Я вам все расскажу...

Марлена подняла глаза, лицо Машеньки тоже было в слезах.

— Идемте, расскажу... — Машенька вывела Марлену из палаты и повела ее в процедурный кабинет. В нем никого не было.

— Но вчера ведь ему стало легче, — сквозь слезы сказала Марлена.

— Да, легче, — подтвердила Маша, — он даже уснул ненадолго. Потом проснулся. Я сделала ему укол. А он: «Что вы все суетитесь вокруг меня?» А я: «Тебя лечат», — отвечала. «Ничто уже мне не поможет, говорит он, я знаю». — «Ничего ты не знаешь», — говорю, а он свое: «Знаю...» И еще прибавил: «Да оно и лучше так...» — «Как так?» — спрашиваю. «Лучше, что все к концу идет...» — «К какому концу?» — говорю. — «Тебя вылечат!» — «Нет, — отвечает. — Любовь не задалась... Лучше — так...» Ему стало хуже. Подскочила температура. Всех поставили на ноги. Виталий Дмитриевич тоже пришел. Валерий стал бредить. Ваше имя, Марлена Давы-

довна, несколько раз упомянул в бреду. И еще одно имя — Аркадий. Да, Аркадий... Он его четко выговорил. Затем умолк. А в конце хотел еще что-то сказать, но успел только вымолвить: «Ма...» И все... В последнее мгновение он хотел сказать, наверное: «Мама»... — Тихие слезы катились по Машенькиным щекам. — Такой молодой...

Марлена знала: последнее, что пытался вымолвить Валерий, было ее имя. Ее видел он в свое последнее мгновение...

День выдался теплый, даже жаркий. До этого, почти не переставая, лили дожди. Ненадолго дождь утихнет, а потом припустит с новой силой. И так — целую неделю. А этот день был на диво ясным. Все вокруг — чисто вымыто, и похоже было, как будто долго плакавший ребенок наконец успокоился, улыбнулся, но в глазах у него еще дрожат слезы...

Небо светло голубело в непостижимой своей высоте. Только по краям, низко, у самой земли, оттеняя голубизну его, громоздились ярко-белыми громадами облака.

А на земле — три цвета: черный, красный, желтый. Мрачно чернели ленты похоронных венков. Обтянут красным был длинный гроб, который несли на руках. Желтым блеском полыхали трубы музыкантов. Во всем мире, казалось, — мертвая тишина. Слышен был только шорох неспешных шагов, и казалось, сама тишина несет на себе, как прозрачный поток, и эти венки с черными лентами, и этот обтянутый красным длинный гроб со странно изменившимся восково-желтым лицом покойного.

Вдруг туго натянутая тишина лопнула. Гроыхнул барабан: бум!... бум!... бум!...

Красный гроб как бы плыл в воздухе, казалось идущим за медленно продвигающейся машиной с открытыми бортами. Машина была покрыта ковром, на нем зеленели остро пахнущие еловые ветки. На белой пирамидке с пятиконечной звездой наверху круглилось небольшое фото того, кто как бы плыл по воздуху там, впереди...

С тоскливо сжатыми сердцами под гроб подставили плечи Аркадий и члены его бригады. Папаян шел последним. Он был ниже товарищей, плечо его не доставало до гроба, и он поддерживал его рукой. С другой стороны подставили плечи строители из бригады, в которой Валерий последнее время работал.

За машиной с красной звездой пирамидкой шли одетые в черное родители Валерия, Марлена, Семен Евсевич, Сима Самойловна, а за ними длинно растянувшейся процессией — рабочие завода и строительного треста, прохожие, которые, узнав, кого хоронят, сходили с тротуаров и присоединялись к печальному шествию. О случившемся было известно в городе.

В задних рядах то и дело слышался шепот:

— Где она?

— Вот, — показывали, — впереди, высокая.

Люди становились на цыпочки, вытягивали шеи, стараясь увидеть ту, за кого отдал жизнь юноша, что плыл теперь в красном гробу впереди процессии...

Чем ярче полыхали на солнце трубы музыкантов, тем безысходней были мрачные звуки, исторгаемые ими.

А барабан:

Бум-бум!

Бум-бум...

Из морга тело Валерия перевезли в молодежное общежитие строителей, где он в последнее время жил. Тут, в нижнем большом холле, установили гроб, обложили его цветами, и каждые три минуты у него менялся почетный караул.

Тело Валерия было еще в морге, когда в больницу явился отец. Он желает, сказал он, перед похоронами взять сына домой. Аркадий — он со своими товарищами был уже тут — с любопытством взглянул на человека, который, когда сын был жив, прогнал его из дома, а теперь пожелал внести его в дом... Аркадий почему-то полагал, что человек этот не только нравственно, но и физически уродлив, и был удивлен, увидев перед собой довольно почтенного на вид мужчину выше среднего роста, подтянутого, в дымчатых очках.

— Я думаю, этого не стоит делать, — ответил ему Аркадий.

— Почему?

— Полагаю, вы сами должны это понимать.

— Не понимаю, — повысил голос отец, — кто вы такой и какое, собственно, отношение...

— Отношение самое прямое, — сказал Аркадий, указывая на своих друзей, — мы — товарищи Валерия...

— А я — отец. Мое право...

— Валерий при жизни, — перебил его Аркадий, — давно не переступал порог вашего дома. Я не уверен, хотел бы он, чтобы теперь...

Человек в дымчатых очках исчез.

Гроб несли, то и дело меняясь, до того места, где разместились мастерские «Сельхозтехники».

Глядя на кирпичные стены обширных мастерских, Семен Евсеевич вспомнил: когда-то здесь, в деревянном строении, располагалась Биробиджанская МТС, первая МТС в области. В то время ремонтировали тут колесные тракторы, и стояла МТС за чертой города. Теперь же город своими белокаменными пятиэтажными домами достиг этого места и стремительно шагнул дальше...

Траурная процессия остановилась. Гроб поставили на машину, и в карауле застыли Папаян и молодой строитель.

Усевшись в два заказных автобуса, двинулись дальше.

Глядя в окно автобуса, Семен Евсеевич сказал сидящей рядом жене:

— Узнаешь эти места?

— А кто их может узнать?

— Помнишь, перед войной, да и после, деревянные домишки, огороды — деревня.

— И когда только понастроили эти каменные дома? — удивилась Сима Самойловна.

Позади остался мясокомбинат. Вдали из-за деревьев показалось старое кладбище. Свернули налево, проехали мимо высоких каменных строений газораспределителя и узкой насыпной дорогой въехали в ворота кладбища.

Другой, мертвый, город открылся глазам. И вширь, и вдаль — насколько хватало глаз — надгробья, памятники, пирамидки со звездами, крашенные ограды. В первом ряду, ближе к выходу, — свежие еще вчерашние и позавчерашние венки, не успевшие увянуть цветы... И — тишина. Огромная, глубокая, безысходная тишина...

В том, ненадолго оставленном городе, шумит жизнь — люди работают, спорят, учатся, мечтают, любят, ненавидят, целуются, дерутся, поют, едут, летают, ищут, находят, теряют — бурлит и клокочет жизнь. Тут, в этом городе, который разрастается все больше, царит покой. Тут отработали, отмечтали, отпели, отлетали, отжили... Все потеряли и лишь одно обрели — покой, вечный покой...

Вышли из автобусов и двинулись за машиной. Подпрыгивая на неровностях, та повернула вправо и вскоре остановилась у раскрытой могилы. У края ее высоко бугрилась вырытая земля.

Осторожно сняли гроб, столпились вокруг него.

Марлене еще не приходилось бывать на похоронах. Она знала: копают могилу, опускают гроб, но не представляла себе, что могила настолько глубока... Она взглянула в нее и отпрянула... Лишь теперь в полной мере до нее дошло: Валерия нет и уже никогда не будет. Не будет... Она пошатнулась. Возле нее оказался Аркадий, он отвел ее в сторону.

Под гроб уже подвели толстые веревки, на которых его опустят в могилу. Но ждали, не собирается ли кто-нибудь говорить? Все взоры обратились к Аркадию: почему, собственно, к нему? Знали, в последнее время они сблизились с Валерием. Да и сам Аркадий чувствовал: он должен что-то сказать.

Хмурым взором Аркадий обвел собравшихся.

— Мы прощаемся сегодня с нашим товарищем, — сказал он. Стало так тихо, что слышно было, как из-под чьей-то ноги в могилу заструился песок. Послышались женские всхлипывания. У Аркадия перехватило горло, но он овладел собой. — Надо уметь по-человечески жить, — продолжал он тихо, но так, что все слышали его, — и надо уметь умереть по-человечески... — Он посмотрел на открытый гроб. — Валерий, ты был еще очень молод. Ты только учился жить... Но умер ты как человек.

Лица мужчин над могилой окаменели. Усилились женские всхлипывания. Аркадий глухо закончил:

— Мы не забудем тебя, Валерий...

Гробовщик вопрошающе взглянул на говорившего, все ли тот сказал? Увидев, что Аркадий отступил в сторону, подал немую команду — закрывать гроб. В эту минуту с душераздирающим воплем к гробу припала женщина в черном.

— Сын мой! Сыночек!...

Василий Крылов стоял рядом, он поднял женщину. «Рыдать надо было раньше», — подумал он, но, ничего не сказав, подвел ее к мужу. Тот стоял сгорбившись, с плотно сжатыми губами, и дымчатые очки оттеняли мертвенную бледность одутловатых щек. С похорон вернутся они в дом, дом, увешанный и усталый коврами, уставленный хрусталем и драгоценным фарфором. На приобретение этого ушла жизнь. Был сын, единственный, его — не теперь, давно уже — потеряли. Остались вещи, с ними им жить — с мертвыми вещами...

Сима Самойловна подняла горсть земли и бросила

в открытую могилу. Марлене посоветовала сделать то же. Не соображая, что делает, — в глазах слезы, — она нагнулась за комком земли, и он рассыпался в ее руке, прежде чем она успела его бросить...

— Теперь пошли, — сказала бабушка, но Марлена не двинулась с места.

Аркадий, ребята из его бригады и из бригады строителей усердно орудовали лопатами. Красный гроб все более скрывался под серо-желтыми кучами глины и песка, пока не остался виден только маленький алый кружочек. Подобно одинокому глазу он некоторое время глядел из-под серо-желтого покрыва и исчез...

Дед и бабушка еле оторвали Марлену, которая окаменело стояла у засыпанной могилы, и силой увели ее.

Старики и Марлена сошли с автобуса в центре города, недалеко от их дома. Аркадий попрощался с товарищами и тоже сошел здесь. Ни стариков, ни Марлену не мог он теперь оставить одних.

Как только вошли в дом, Сима Самойловна всем велела мыть руки, как положено по возвращении с кладбища. Она хотела накрыть на стол, но все отказались.

— Кому теперь кусок полезет в глотку? — сказал Семен Евсеевич.

У Аркадия было тяжело на душе.

— Разве что рюмочку, — сказал он.

— Это можно и нужно, — ответил Семен Евсеевич и достал из холодильника графинчик водки, настоящей на лимонных корках. Он налил четыре рюмки.

— Пусть земля ему будет пухом, — сказал Семен Евсеевич.

Потом сидели, пытались о чем-то говорить, но разговор не клеился.

— Не могу оставаться в четырех стенах, — сказала, как простонала, Марлена. — Пройдемся?

— Идите, дети, идите, — согласились старики.

Неустанно и стремительно неслась под высокой насыпью Бира. Долго стояли здесь Марлена и Аркадий. Ушли и снова вернулись сюда.

— Какой сегодня день? — вдруг спросила Марлена.

— Суббота.

— А число?

Он сказал.

— Неужто? — спросила она, побледнев.

- Что случилось, Марлена?
- Ничего. Вспомнила...
- Что?
- Неважно.
- Все же?
- Вам это число ничего не говорит?
- Нет.
- Ну и не надо.
- Но я хочу знать.
- Она глянула ему в глаза и прошептала:
- Сегодня... Сегодня предстояло быть свадьбе...
- Сегодня? — раньше он знал, но теперь все было уже так далеко и невероятно, что он забыл об этом думать, и, когда Марлена напомнила, он с удивлением спросил: — Сегодня?
- Да, — ответила она, — и вот: вместо свадьбы — похороны.
- Он долго молчал, затем произнес:
- Чтобы не состоялась свадьба, должны были быть похороны.
- Они еще постояли, прислушиваясь к приглушенному шуму реки, и медленно пошли вдоль насыпи.
- Стемнело, стало прохладно, а они все еще молча шли и шли. Кто знает, никакие речи, возможно, не сблизили бы их больше, чем это молчание...

В чистой, без облачка, светлой лазури купается небо, земля вся пышет оранжевым убором — таков дальневосточный сентябрь. В западных краях страны — на Украине, в Белоруссии, в центральных областях России, откуда столько народу кто раньше, кто позже переехало жить и работать сюда, на дальневосточную окраину, — этот месяц обычно уже хмурится туманами, сеет надоедливо частой изморосью, редко радуется солнечным днем. Тут же потоки чистого света низвергаются с раздавшихся вширь небес, сливаясь с радужной палитрой трав и деревьев, сбрасывающих с себя зеленые одеяния и наряжающихся, как для большого праздника, в струящееся золото... Позади остались июль с его несносной жарой, август с его частыми ливнями. Сухая теплая спокойная благодать...

Больше месяца прошло со дня похорон Валерия. За это время не было дня, чтобы Аркадий не встречался

с Марленой. Поначалу он просто боялся после всего пережитого оставлять ее одну, так она и понимала это и была ему благодарна.

Когда недели через две он попытался дать себе отчет в происходящем, внутренний голос вдруг в нем заявил: «Стоп, Аркадий! Ты все еще делаешь вид, что печешься о них — стариках и их внучке?» — «А то о ком же?» — пытался он перед самим собой прикинуться простачком. «О ком? — переспросил внутренний голос. — О себе печалишься, вот о ком». — «Да, — признался Аркадий, — привык я к старикам, без них мне было бы уже трудно». — «А без Марлены?» — съязвил голос. «Без нее тоже». — «Тогда? А может быть, без нее — больше всего?» — «Может быть», — согласился Аркадий.

Может быть... Так пытался он обмануть себя. Не «может быть», а наверняка. С той самой первой их встречи, когда он думал, что она не остановится, пройдет мимо... Потом были те счастливые вечера, когда они встречались, беседовали, и он уже думал бог весть что... А оказалось, что он опоздал. И могло случиться страшное, все шло к тому, чтобы оно случилось. Но страшное произошло с другим... Одно трагическое событие не дало свершиться другому... Были заблуждения... Теперь это уже позади.

А Марлена?

Она долго не могла прийти в себя. Для ее, как оказалось, не совсем еще созревшей души столько неожиданных событий произошло сразу. Тот, кто казался ей достойным стать спутником жизни, — подлец. Тот, на кого она легкомысленно и пренебрежительно махнула рукой, оказался способен на глубокое чувство. Он доказал это жизнью. Подлец невиним. Валерия — нет. И виновата во всем она, ее слепота, ее неумение разобраться в том, где свет, где тень...

Кто знает, достало бы в ней сил все это перенести, если бы не еще один человек, которого поначалу она тоже недооценила. Помнится ей вечер, когда она сидела с двоими. Они спорили, неважно о чем... Ясно было, что это совершенно разные люди. Да, и о поэзии зашла тогда речь. Один утверждал: она людям нужна, другой — нет. Всей душой она была на стороне того, кто говорил — нужна. Как же могла она после этого поддерживать отношения с тем, кто утверждал обратное? И это ведь было для него не случайностью, нет... —

Ей было бы очень трудно пережить происшедшее, если бы не этот человек, которого она поначалу тоже недооценила. Но он был с нею так предупредителен и деликатен, так преданно участлив и в то же время сдержан, что это постепенно смягчило ее боль, помогло хоть как-то разобраться в себе самой и понять то, чего не понимала раньше. С ним ей было легко. С ним было хорошо и молчать... За все это она чувствовала к нему благодарность. А что же еще? Двух человек потеряла она, двух человек, из которых каждый мог стать ей близок. Одного из них она потеряла к счастью, другого — к несчастью. Она не собиралась искать третьего. А оказалось: третий вот он, рядом...

Но осознала она это не сразу.

Почти не было вечера, чтобы Аркадий не заходил к ним. Сидят за столом, пьют чай, беседуют. Дед рассказывает что-нибудь из былых времен, когда ни ее, ни Аркадия на свете еще не было, — о войне, а то и из времен довоенных. Потом они, Марлена с Аркадием, выйдут подышать свежим воздухом, прогуляются к реке или по улице Шолом-Алейхема к мосту и обратно. Беседуют о чем-то или молчат — неважно...

Однажды вечером Аркадий не пришел. Марлена ждала его в полной уверенности, что придет, но он не явился. Восьмой час, девятый, его нет. Она уселась с книгой у себя на тахте, но вскоре, бросив книгу, направилась к бабушке на кухню.

— Бабуля, скажи, чем тебе помочь?

— Не надо мне помогать, — ответила Сима Самойловна. — Сама справлюсь со своими делами, иди отдыхай.

— Но я хочу тебе помочь!

— Ну, коль ты так уж хочешь... На столе вон миска с черной смородиной, я собираюсь варить варенье, перебери ягоды.

— А зачем перебирать? — сказала Марлена, посмотрев на миску. — Отличные ягоды, одна к одной.

— Так кажется только с первого взгляда, — ответила Сима Самойловна, — а приглядишься получше — и обнаружишь и раздавленную ягоду, а какую и с гнильцой. Вот их и надо отобрать, чтобы остальные не портились. Черенок, листочек тоже надо убрать. — Помолчав, добавила: — И с людьми, дитя мое, то же самое бывает.

— Что с людьми? — не поняла Марлена.

— С первого взгляда может показаться — все такие славные, такие добрые... Как ты говоришь: один к одному... А приглядишься получше...

Марлена принялась за работу. Сима Самойловна занималась своим делом и время от времени кидала пытливый взгляд на внучку.

— Марлена, — вдруг спросила она, — на работе у тебя все ладно?

— А что? — вскинула та глаза.

— Никаких неприятностей?

— Нет, а что?

— Что-то ты выглядишь сегодня не так.

— Тебе кажется.

— Ну-ну, — кивнула бабушка, — лишь бы все было хорошо...

Марлена еще некоторое время повозилась с ягодами и вскочила.

— Ой, бабуля, такая скучная работа... Дай я тебе сделаю что-нибудь другое...

— Иди, иди... Сказала ведь — не нужны мне помощники, сама справлюсь.

— Какая же ты добрая, бабуля! — Марлена чмокнула ее в щеку и выбежала из кухни.

Несколько позже на кухне появился Семен Евсеевич.

— Ты хоть замечаешь, — сказала ему жена, — с нашей Марленочкой что-то происходит?

— Я ведь не слепой.

— И что же ты скажешь?

— А что мне сказать?

— Ты хоть что-нибудь понимаешь?

— Что же тут не понимать?

— А я, Семен, наверное, выжила уже из ума... Ничего в толк не возьму... Ну, было переживание, так ведь время прошло...

— То переживание — одно дело, — ответил Семен Евсеевич, — а теперь есть уже новое.

— Новое? Какое? Что же еще?

— Ах, Сима... Женщина такое дело должна унюхать за версту...

— Очевидно, я уже совсем старая...

— Ты — да чтоб такое говорила? — неловко погладил он ее по волосам. — Что тут непонятного? Он ведь сегодня не пришел...

— Кто, Аркадий?

— Ну...

— И что же?

— Вот тебе «и что же»! Вот она места себе и не находит.

— Разве что так? — протянула Сима Самойловна. — Что он в ней души не чает, это видно давно. Но она?

— Помнишь, Сима, я тебе говорил: «Ничего нельзя еще знать»?

— Помню. Говорил. Ты у меня умница, Семен. Это ты за версту видишь.

На следующий день Аркадий опять не явился. Он по звонил, но было уже поздно. До этого Марлена бегала к телефону на каждый звонок. Дважды звонили деду трижды бабушке, пару раз ошиблись номером. Марлена была вне себя, она решила больше к телефону не подходить. Она ничего не могла понять — ни что случилось с ним, ни что происходит с ней. Наконец, уже поздно вечером, еще один звонок. Трубку взяла бабушка.

— Марлена, тебя.

Она не помнит, как подбежала, нет, подлетела к телефону, выхватила у бабушки трубку:

— Алло!

— Марлена?

— Что случилось?

— Только что закончилось партийное собрание.

— А вчера?

— Совещание рационализаторов.

— Почему не позвонил?

— Поздно закончилось.

— А завтра?

— Пока ничего не предвидится, приду.

— Приходи...

— Что? Что?

— Приходите, говорю.

— А...

— «А-а», — с веселой злостью передразнила его Марлена, — надо прийти.

Но и на завтра его не было. Совершенно неожиданно — внеочередное заседание комсомольского комитета. А на следующий день ее дежурство в больнице. Они не виделись целую неделю.

Вечером Марлена была одна дома. Дед — в клубе на лекции о международном положении, приехал лектор из Москвы. Бабушка у соседки.

Верхняя лампа была отключена. Слабый зеленоватый свет от торшера падал на тахту, на Марлену, на свежую газету, которую она только что отложила. А сердце ноет!.. Звонок! Телефон? Нет, в дверь. Бабуля.

Марлена лениво поднялась, пошла открывать.

От неожиданности она отпрянула — на пороге стоял Аркадий.

Что-то горячее прихлынуло к сердцу... Он был уже в коридоре, и она сделала то, чего никак от себя не ожидала: припала к его плечу.

— Как можно? Как можно так долго пропадать?

От неожиданности он в первые мгновения не знал, что делать. Потом вспомнил, что у него есть руки. Одной рукой прикрыл за собой дверь, а другую осторожно положил Марлене на плечо. Почувствовав его руку, она еще крепче прижалась к Аркадию.

— Марлена... — Говорить мешало сердце, подскокившее вдруг к самому горлу. — Что случилось, Марлена?

— Ты забыл меня, да? Совсем забыл?..

Так близко он никогда не видел ее глаз. От слез, которые в них застыли, они казались еще больше. У него перехватило дыхание. Неожиданно для нее, да и для себя тоже, он схватил ее на руки.

— Куда нести тебя? Скажи...

Молча сквозь слезы глядела она на него.

— На Марс хочешь?

— Хочу...

Как малого ребенка, внес он Марлену в ее комнату и осторожно опустил на тахту.

Сидя друг против друга, они разговаривали так тихо, как будто кто-то мог их услышать, хотя в доме они были одни.

— По телефону... Когда мы вчера говорили по телефону, — сказал он, — мне показалось, что ты сказала: «Приходи...»

— Я и сказала: «Приходи...»

— Но тут же спохватилась и повторила: «Приходи-те...» Почему?

— Я сердилась.

— За то, что не прихожу?

— Да.

— У меня ведь были причины.

— Все равно...

— Знаешь, — сказал он, — когда мы виделись изо дня в день, много дней подряд, я не думал, что, если мы какое-то время не увидимся, это будет так трудно... для тебя...

Она:

— И я не думала.

— А теперь?

— А теперь — знаю.

— Что ты знаешь?

Молча она подняла на него глаза, в них еще стояли слезы. Он наклонился и губами прикоснулся к ним...

Земля и небо справляют праздник ослепительных красок. Всевозможными оттенками желтого, коричневого, красного, оранжевого пестреют улицы, скверы, близлежащие сопки. Возвышенности подальше прячут многоцветье свое в густой синеве. Чем дальше, синева становится водянистей, а там вовсе переходит в еле схватываемую глазом бледную дымку.

Каждое время года несет в себе свой праздник. Но одна лишь дальневосточная осень полна такой неисчерпаемой благодати...

Впервые и Марлена, и Аркадий переживали такое чувство полноты жизни. Так вода в доверху наполненном ведре от малейшего движения переливается через край...

Как замороженные, жили они оба в каком-то совершенно новом мире. Это был особенный мир, порог которого не всем дано переступить. А им вот было дано, и они переступили... И каждый из них ощутил в душе своей что-то особенно светлое. Вчера еще его не было, а теперь есть. Но есть ли? Верилось и не верилось... Вместе они, и сокровище с ними. Но стбило разлучиться ненадолго, и охватывали сомнения, страх... Не померещилось, не пригрезилось ли? Они торопились встретиться, взглянуть друг другу в глаза, чтобы убедиться: нет, не померещилось, не пригрезилось...

Случалось, вечер, второй не было возможности встретиться — у него заседание комсомольского комитета, совещание в цехе, у нее — дежурство в больнице, и эти дни тянулись нестерпимо долго. А когда встречались потом, вдоволь не могли наговориться, намолчаться...

— Не пойму, Аркадий, — однажды сказала она, — как такое могло случиться? Мы с тобой в одном городе жили, учились, росли и ни разу не встретились...

— И я о том же хочу спросить у тебя.

— А затем, — продолжала Марлена, — после твоего возвращения из санатория, когда мы уже были знакомы...

— И я о том же думаю...

Марлена нахмурилась.

— А почему бы тебе не спросить у себя?

— У себя мне нечего спрашивать. С первого дня, когда увидел тебя...

Он умолк, глядя на нее.

— Что?

— Об этом надо говорить?

— Надо.

— Я полюбил тебя.

— Неправда.

— Как — неправда? — опешил он.

— Если бы это была правда, ты бы иначе...

— Что — иначе?

— Поступил.

— А как я должен был поступить?

— Ты ведь отошел и даже не пытался...

— Но я думал, что не имею права... Думал, что ты...

Ладойшкой прикрыла она ему рот.

— Не надо, прости. Глупости говорю. Больше никогда не будем об этом вспоминать. Хорошо?

В другой раз Марлена сказала:

— Знаешь, Аркадий, иногда мне кажется, что знакомы мы давно — вечность, что вообще не было времени, когда мы не знали друг друга... А тебе?

— И мне, — ответил он.

Однажды в выходной Аркадий предложил:

— Давай поедem...

— Куда?

— Куда-нибудь.

— Давай!

Он — с просветлевшим лицом:

— Знаю славное местечко. Поедем.

Они сели в автобус, который шел в Бирофельд. Не доехав половины пути, сошли, и Аркадий повел Марлену в лес, к небольшому озерку.

— Какая красота! — восхищалась Марлена.

— На этом месте, — рассказывал он, — мы прошлым летом с ребятами из нашего цеха провели как-то прекрасный день, с утра до вечера.

Он нашел высокий кедр, под которым в тот день беседовал с Крыловым. Расстелил пиджак, и они усьлись.

— Все здесь тогда утопало в зелени, — сказал он.

— А теперь все золотое, — заметила Марлена.

— Да, кажется, немного времени прошло, а все теперь по-иному...

— В том смысле, что осень? — спросила она.

— Нет, в том смысле, что тогда я не знал еще, найду ли тебя?

— А разве ты искал?

— Да. — И он пересказал свой разговор с Крыловым. Тот спросил: «Все еще ищешь журавля в небе?» А он, Аркадий, ответил: «Синицы мне ни к чему». — Потому-то и хотел, — добавил Аркадий, — побывать с тобой здесь. Тогда я еще так мало о тебе знал...

— А теперь?

— Теперь ты со мной. Мы рядом, одни... — Он потянулся, хотел ее поцеловать, но тут же они отпрянули друг от друга...

Среди деревьев справа раздался шорох. В нескольких шагах от них на длинных тонких растопыренных ножках, высоко закинув маленькую изящную головку с огромными глазами, пугливо раздувала ноздри молодая косуля... Спустя мгновение она исчезла в золотом море леса.

— Откуда... такая? — в голосе Марлены были восхищение и испуг.

— Ишь, выскочила! — восхитился Аркадий. — Тут это не в диковинку. — И, взглянув на свою спутницу, громко рассмеялся.

— Чему ты? — удивилась Марлена.

— Знаешь, какие у тебя глаза? — все еще смеясь, спросил Аркадий.

— Какие?

— Как у косули...

— Какие же?

— Большие, испуганные. Она тебя напугала?

— Нет, но так внезапно...

Марлена перевела дыхание и тоже рассмеялась.

— Ты хорошо сделал, что привел меня сюда.
— Я так и думал, что тебе понравится, — ответил он.

— Но знаешь ли, зачем ты меня сюда привел? — спросила Марлена.

— Чтобы побыть тут с тобой, вместе...

— Нет.

— Зачем же?

— Раньше и я этого не знала. А теперь — знаю.

— Зачем?

— Чтобы встретиться тут с нею...

— С кем?

— С косулей...

— Ты так думаешь?

— Да, да, — подтвердила Марлена. — Она ведь выскочила нам на счастье, как ты этого не понимаешь? Пошли!

— Фантазерка ты, Марлена! — Одной рукой слегка обняв ее, Аркадий подхватил пиджак, и они побежали к дороге.

В одну сторону — к далеким голубеющим сопкам, в другую — к невидимому отсюда городу тянулась длинная пустынная дорога. Ни человека, ни машины.

— Думаешь, мы тут дождемся автобуса? — спросила Марлена.

— Кому он нужен, автобус?

— Рассчитываешь на попутку?

— На кой ляд нам попутка?

— А как?

— Просто потопаем на своих двоих.

— Пятнадцать километров?

— А что?

— Я на своих шпильках? — показала Марлена на светлые туфли.

— А кого интересуют твои шпильки!

Аркадий схватил Марлену на руки.

— Сумасшедший! — закричала она.

Глянцевито-серый, в частых выбоинах, бежал навстречу асфальт. Легкая, почти невесомая, на сильных руках у Аркадия затаилась Марлена.

Сбоку стеной стоял красный, желтый, оранжевый лес...

- Я все должна о тебе знать, — сказала Марлена.
- Ты знаешь.
- И что ты думаешь...
- Знаешь.
- И что делаешь...
- Знаешь.
- И где работаешь...
- И это знаешь.
- Нет, не знаю. Я ведь ни разу не была еще у тебя на заводе.
- Как и я у тебя в больнице.
- Это-то как раз хорошо.
- Имею в виду — посмотреть.
- Смотреть там нечего. Больные. Неинтересно. Но на заводе...

В один из уже довольно прохладных, но все еще солнечно благодатных дней сентября Аркадий привел Марлену на завод. Специально взяв для этого отгул, он выписал пропуск и повел ее по цехам.

Как бы став меньше ростом, внутренне вся сжавшись и испуганно притихнув, стояла Марлена в огромном кузнечном цеху, и все вздрагивало в ней с каждым ударом многотонных молотов. Нестерпимо пылали печи. Накаляясь, густо краснели в них большие болванки, затем яростно белели в огне. А вот уже брызжащая мириадами искр болванка на наковальне, и на нее опускается молот раз, второй, третий. Пахнет каленым железом. Оглушающий грохот сотрясает все вокруг...

Аркадий что-то сказал Марлене, но она не расслышала. Хотела что-то сказать ему и не смогла.

Потом они были в чугунолитейном, в инструментальном.

Почти с детским восхищением наблюдала Марлена в сборочном цеху рождение комбайна. Вот, обутий в гусеницы, он сходит с конвейера...

— Настоящие танки, — сказала она.

— Танки и есть, — ответил Аркадий, — только мирные, для переувлажненных почв, для сбора добрых урожаев.

Они вышли на большую площадку, где стояли новенькие, отливающие свежей краской машины, готовые к погрузке на платформы.

— Тут ты видишь, — сказал Аркадий, наклонившись к Марлене, — итог всех наших трудов. В цехах, где мы побывали, изготавливаются части, детали, компоненты того, что ты видишь здесь. Каждый цех, участок, каждый рабочий вложил во все это свою долю.

— А куда их отсылают? — спросила Марлена.

— В наши дальневосточные колхозы и совхозы, в Сибирь, Казахстан. А вот эта партия, — он показал вправо, — она пойдет на экспорт.

— Куда же?

— На Кубу, во Вьетнам.

— Неужели на Кубу и во Вьетнам?

— Разве ты не читала, что наша продукция идет за рубеж?

— Читала, но не представляла себе этого конкретно.

— И не только туда.

— Из Биробиджана — на Кубу! — задумчиво произнесла Марлена.

С минуту помолчали, затем Аркадий сказал:

— Мне еще не довелось побывать за границей, а они, наши машины, идут и в Ирак, и в Болгарию, и в Венгрию... И в каждой из этих машин есть доля моего труда. Значит, они несут туда и мой трудовой привет... И если я плохо сработал, отзовется оно не только здесь, у нас, но и там... Значит, дело свое я должен делать хорошо, очень хорошо, если хочу жить с чистой совестью. Ты понимаешь это, Марлена?

— Понимаю, — сказала она.

— Я работаю, — продолжал Аркадий, — в Биробиджане, но труд мой связывает меня со всем миром.

— И мир — с тобой...

— Да.

— А я? — как будто ревнуя его ко всему миру, спросила Марлена.

— Ты тоже...

— Но я не причастна к комбайнам, идущим за рубеж.

— Ты лечишь людей.

— Наших, местных, биробиджанцев.

— И что же?

— Какое это имеет отношение к миру?

— Что бы человек ни делал, — ответил Аркадий, — он это делает не для себя, а для всего мира.

— Ты так думаешь?

— Я в этом уверен.

Последним посетили они механический цех, где Аркадий познакомил Марлену с ребятами из руководимой им бригады. Все они, кто с улыбкой, кто с серьезным видом, показывали на свои руки, руки, которые не подашь, пока хорошенько не отмоешь после работы.

Марлена улыбалась всем: дескать, можно считать, что знакомство состоялось.

— Можете мне не представляться, — сказала она, — всех вас я хорошо уже знаю.

— Как это? — спросил Папаян.

— Аркадий мне о каждом из вас рассказывал.

— Мы вас, Марлена, — заявил Крылов, — знаем не меньше.

— А вы откуда?

— Из того же источника.

Все рассмеялись.

— Наверное, он наговорил вам обо мне много плохого? — не удержалась, чтобы не пококетничать, Марлена.

— Пытался, а как же, пытался, — в тон ей отозвался Чередниченко, — а мы... Что — мы? — обратился он к Гризатулину.

— Мы ему сразу прикрыли рот, — ответил Муса.

— Почему?

— На избранницу нашего бригадира, сказали мы, никому не позволим клеветать...

— Даже самому бригадиру! — крикнул Папаян.

Грохнул общий хохот.

Аркадий и Марлена попрощались с ребятами. Они уже довольно далеко отошли от них, когда его окликнули. Он попросил Марлену подождать и вернулся. В ожидании она стояла у большого, красочно оформленного щита с показателями. На нем был указан процент выполнения плана бригадами цеха за прошлую декаду. Марлене было приятно увидеть бригаду Аркадия Сатановского в верхней строчке...

Отвернувшись от щита, она увидела Аркадия. Он возвращался к ней, широко улыбаясь.

— Зачем звали? — спросила Марлена.

— Дело.

— Важное?

— Весьма.

— Какое?

— Производственная тайна...

— Коли так...

Он рассмеялся. Они уже были в заводском дворе, гром и грохот цехов остались позади.

— Ну и чудилы же ребята, — сказал он.

— А что?

— Понимаешь, они решили сразу мне высказать... — Аркадий вдруг осекся.

— Что?

— Мнение свое...

— О чем?

— Не о чем, а о ком...

— А ком же?

— О тебе.

— И для этого тебя позвали?

— Да.

— И что же они сказали?

— Не спрашивай...

— Плохое?

— Хуже быть не может.

— Все?

— Все.

— Не томи...

Они вышли из заводских ворот. Поблизости появился автобус.

— Поедем? — спросил Аркадий.

— Нет, пойдем, — ответила Марлена.

— После такой прогулки по цехам? — удивился он. — Не свалишься?

— Как-нибудь дойду. Рассказывай. Хочу знать, что говорят твои друзья.

— Так вот, — Аркадий взял Марлену под руку, они перешли на другую сторону улицы и пошли вдоль длинного ряда каменных пятиэтажных домов. — Каждый высказал свое мнение на свой лад. Олесь Чередниченко: «О, цэ — да!» Три этих коротких слова у него означают: высший класс! Папаян: «Ну и даешь!»... На его языке это тоже лучшая похвала. А знаешь, что сказал Гризатулин?

— Что?

— До сегодняшнего дня, говорит, думал, что другой такой красивой, как моя Хафиза, нет на свете. «А сегодня?» — спрашиваю. А сегодня, отвечает, увидел, что есть еще одна...

- Так и сказал? — зарделась Марлена.
- Так и сказал.
- А Крылов? — спросила она.
- О, лучше всех сказал Крылов.
- Что же?
- Даже не представляешь.
- Говори.
- «Она красивая, — сказал он, — ее, наверно, воскресят».
- Стихи?
- Да.
- Он поэт, Крылов?
- Нет, но любит стихи.
- А слова эти — чьи?
- Маяковского. Из поэмы «Про это». Читала?
- Нет. Про что — про это?
- В тот день в лесу, — ответил Аркадий, — когда я рассказал Василию, что ищу тебя, он спросил, читал ли я «Про это»? Нет, ответил я, и как же он меня отчитал! Как можно, возмущался он, такую вещь не читать? Он шпарит из нее целые куски наизусть.
- Потом ты прочел?
- Конечно.
- О чем поэма?
- О том, без чего немыслима жизнь, немыслимы ни труд, ни творчество. Это то, что Маяковский обозначил не словом, а лишь многоточием...
- О любви?
- Да.
- Ну, а слова, сказанные Крыловым, что означают?
- Последние три главки поэмы названы так: «Вера», «Надежда», «Любовь». Поэт влюблен не только в женщину, но и в свое время, и в свою землю. Он верит, что достоин того, чтобы в отдаленном будущем, в каком-нибудь тридцатом веке, его воскресили. Химику тех времен он говорит: «Воскреси — свое дожить хочу!» А о любимой: «Она красивая, ее, наверно, воскресят».
- Некоторое время шли молча.
- Хорошие друзья у тебя, — промолвила Марлена.
- Они мне заменили отца и мать, любимую заменили...
- А теперь?
- Теперь мы и тебя примем в свою семью.
- Ты думаешь, примут?
- Слышишь ведь, что говорят...

- А ты? Что говоришь ты?
- Он остановился, взглянул на нее.
- Ты думаешь, сегодня я показывал тебе завод?
- А разве нет?
- Нет, это я тебя показывал заводу.
- Вот как?
- Именно.
- И что же — завод?
- Ты же слышишь: «Она красивая, ее воскресят»...

Домой вернулись радостно-возбужденные, но усталые до изнеможения. В тесном коридорчике Марлена сбросила туфли, прошла в комнату и без сил плюхнулась в кресло. Аркадию указала на кресло напротив.

- Осталась без ног! — пожаловалась она.
- Вбежала из кухни испуганная бабушка.
- Что случилось?
- Ой, бабуля! Весь завод исходили мы с ним, побывали во всех цехах. И домой — пешком.
- Что-то случилось с автобусами?
- Ничего с ними не случилось.
- Так почему же?
- Из-за спины бабушки показался дед, он тоже вышел из кухни.
- Что тут непонятного? — пояснил он. — Эти новые автобусы ни к чему не пригодны.
- С каких пор? — удивилась Сима Самойловна.
- С тех пор как стали ходить слишком быстро.
- Это что же — плохо?
- Очень плохо, когда людям хочется идти не спеша...

Семен Евсеевич пожал руку Аркадию и подошел к Марлене.

- Нагнись, — попросила она, — у меня нет сил подняться. Я поцелую тебя в лысинку...
- Смотрите и завидуйте! — воскликнул дед.
- Умираю, хочу есть! — заявила Марлена. — И он тоже, — указала она на Аркадия.
- Сейчас, сейчас, — метнулась бабушка на кухню.
- За столом было весело. Особенно пришлось по вкусу блинчики с печенкой. Марлена была большой охотницей их поглощать, а Сима Самойловна — стряпать.

— Как тебе блинчики? — спросила Марлена у Аркадия.

— Раз навсегда знайте, — ответил тот, — в этом доме мне нравится все.

— И все? — спросила Марлена.

— И все.

— За это стоит выпить! — заявил Семен Евсеевич. — Мы не пьяницы, но ради такого случая... — Он направился к холодильнику и вернулся с продолговатой темной бутылкой. — Это славное венгерское вино, — указал он на множество медалей на этикетке. — Его не всегда достанешь, оно у меня давно уже припасено.

— А для чего припасено? — спросил Аркадий.

— Будет же, думал я, случай, когда оно понадобится.

— И чего же ты вытащил его сегодня, в такой будничный день? — спросила Сима Самойловна.

— Будничный, говоришь? — Семен Евсеевич хитро подмигнул. — А я так думаю, что именно сегодняшнего дня эта бутылка и дожидалась... — Он разлил вино по рюмкам. — За что же мы выпьем?

— За вас, — воскликнул Аркадий, — за деда и бабушку! Согласна, Марлена?

— Ты неглуп, Аркадий, — заметил Семен Евсеевич, — ты хочешь, чтобы в ответ мы выпили за вас, молодых?

— Я бы не стал возражать...

— Тогда за всех поднимаю бокал! И чтобы никто из нас больше горя не знал...

— Семен, ты заговорил в рифму? — улыбнулась Сима Самойловна. — Значит, у тебя хорошо на душе?

— Не скрою, хорошо! — ответил Семен Евсеевич и выпил.

Да, у него было хорошо на душе. Еще некоторое время тому назад он не мог бы этого сказать, а теперь — мог. Трудные, очень трудные, дни были еще совсем недавно. Большая опасность нависла над его любимой внучкой, а она этого не знала, да и никто не знал. Он один видел опасность, но... Один в поле, говорят, не воин. Все же остальные были слепы, вернее, ослеплены. Он места себе не находил. Что было делать? Как открыть окружающим глаза на правду? Случается, что это не так просто... Люди идут к пропасти и ее не видят. Она же вот, уже зияет у ног... Еще шаг — и пропало... Все уже клонилось к тому... Но случилось несчастье, и оно не дало свершиться другому... Погиб человек, хороший, славный человек. То, чего он не смог доказать жизнью,

доказал он своей смертью. Он погиб, но — жив. Другой живет, но такая жизнь хуже смерти...

— Знаешь, Аркадий, за кого нам надо выпить? — спросил Семен Евсеевич.

— За кого?

— За рыжую.

— Что еще за рыжая, Семен Евсеевич?

— Забыл? Ну-ка, вспомни...

— Мне кажется, Семен, ты уже пьян, — отозвалась Сима Самойловна.

— Вспомнил! — воскликнул Аркадий.

— Если б не она, возможно, ничего бы и не было...

— Да перестаньте вы говорить загадками, — с досадой заявила бабушка.

— Мы заинтригованы, — сказала Марлена.

— Помнишь, Аркадий, как в санатории ты впервые появился у меня в комнате и как мы оба не пришли тебе по вкусу, ни я, ни комната...

— Было такое дело, — рассмеялся Аркадий.

— Я это увидел по твоему лицу. И сказал: «Хотите, я угадаю ваши мысли?»

— И вы угадали!

— Потом я его спрашиваю, — повернулся Семен Евсеевич к жене и внучке: — «Чего же вы стоите? Скорее бегите к той, рыжей, и просите у нее другую комнату и другого соседа». ... А он: «Я уже передумал».

— Сосед мне начинает нравиться, сказал я, — добавил Аркадий.

Дополняя друг друга, оба рассказали, как старшая медицинская сестра, довольно молодая еще женщина с рыжей копной волос на голове, устроила их вместе в маленькой комнатке на третьем этаже.

— Разве не прав я, — заключил Семен Евсеевич, — что за эту рыжую даму нам следует выпить? Если бы она не свела нас вместе, кто знает...

— Пью за нее и я! — заявила Марлена. — Бабуля, а ты?

— Как все, так и я.

— Рядом вдвоем шагать — горя никогда не знать...

— Семен, ты опять заговорил в рифму?

— Я же не виноват, Сима, что слова сами рифмуются между собой. Но когда такое происходит между словами, невелика еще радость. А вот когда между людьми, это радость! ... За это и выпьем!

— Вы знаете, — сказала Марлена, когда постави-

ли рюмки, — Аркадий сегодня познакомил меня со своими товарищами по работе. Славные у него ребята в бригаде.

— И что они сказали? — поинтересовался Семен Евсеевич.

— О чем?

— Вообще.

— Вообще — ничего.

— А в частности, о тебе?

— Об этом спросите у Аркадия.

— Она им понравилась, — ответил тот.

— Значит, родня жениха не возражает? — спросил Семен Евсеевич и обратился к жене: — А как обстоит с родней невесты?

— То же и со стороны ее родни, — ответила она.

— Вот за это и надо выпить! — поднял рюмку Семен Евсеевич.

Спустя некоторое время Марлена поднялась с кресла:

— Прогуляемся немного, Аркадий?

— Ты ведь без ног! — сказала бабушка.

— Я уже отдохнула.

17

Они долго бродили по улицам и переулкам, не отдавая себе отчета в том, где они ходят-бродят. Они могли бы бродить так вечность.

Стало прохладно. Спихватились, когда оказались в каком-то новом микрорайоне.

— Где мы? — спросила Марлена.

Аркадию показалось, что глаза ее чуть пьяны. «Отчего? — подумал он. — От выпитого вина? От усталости? Или отчего-то еще?» Ей показалось, что и он немного пьян, когда услышала ответ:

— Где мы? На другой планете...

— На какой?

— Кажется, на Венере.

— Но там ведь нет людей?

— Вот мы и будем первыми...

— Самыми первыми? — Марлена еще теснее прижалась к Аркадию.

Долго шли молча.

Потом:

- Аркадий...
- Что?
- Ты ни разу не показал мне, где ты живешь.
- Где живу?
- Да. Почему?
- Неинтересно. Обыкновенное холостяцкое жилье.
- Но ты там живешь?
- Да.
- День мы начали у тебя на заводе, закончим его у тебя дома.
- Ты этого хочешь?

Медленно вел он ее со ступени на ступень, как если бы это действительно была посланница с иной планеты. Из невыносимой дали явилась она к нему, и он ведет ее в свое неказистое жилище... Он все оттягивал счастливый миг, ибо само ожидание его — счастье.

Долго возился с ключом, не попадая в замок.

Но вот они на пороге, включен свет. Прошли в комнату, и тут сразу бросился Марлене в глаза телевизор с мишкой на нем.

— Это о нем ты мне рассказывал, Аркадий? — спросила она.

— Да, о нем.

— Помнишь, ты обещал нас с ним познакомить?

— Ну вот, знакомьтесь. А я — на кухню, поставлю чай.

Марлена сняла мишку, тронула потертые бока и приложила палец к его носу.

— Знаешь, — шепнула, — у твоего хозяина есть теперь друг. Понял? Не будешь ревновать?

— О чем вы это секретничаете? — появился Аркадий из кухни.

Марлена повернулась к нему:

— Представь, у нас с ним уже есть секреты.

— Так скоро?

— И мы их тебе не выдадим. Правда? — обратилась она к мишке, ставя его на место.

— Марлена, — тихо позвал Аркадий.

— Что? — подошла она к нему. Он легко привлек ее к себе. — Что, Аркадий?

— Это — ты, Марлена?

— А кто же?

— У меня?

— У тебя.

— Невероятно! — закружил он вдруг ее с силой по комнате, повторяя: — У меня!.. Марлена у меня!..

Так же внезапно, как закружил, Аркадий остановился среди комнаты и стал неистово целовать Марлену. Он целовал ее волосы... Потом глаза... Потом опять волосы. У него перехватило дыхание.

— Перестань, — слабо проговорила она.

— Не перестану.

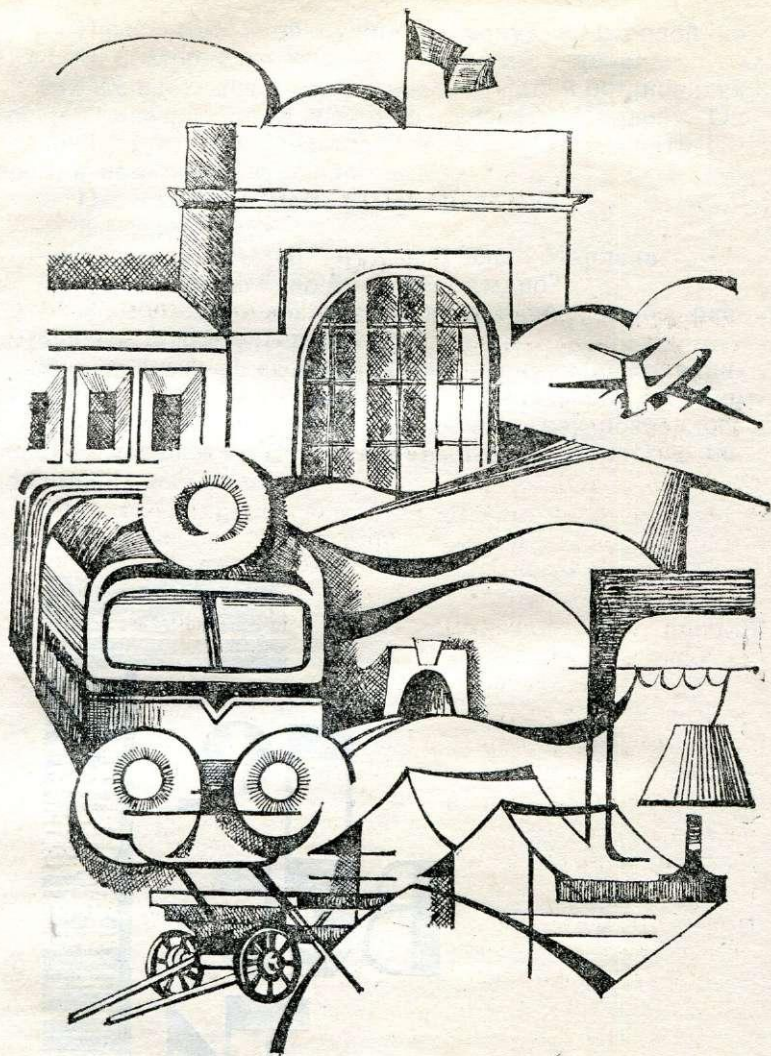
— И тебе не стыдно? — переспросила Марлена.

— Перед кем должно быть мне стыдно?

— Перед ним, — показала она на мишку, и оба, рассмеявшись, повернулись к нему.

Мишка стоял на своем месте, но, страшное дело, единственный пуговичный глаз, всегда глядевший на мир с таким безысходным унынием, теперь — как показалось обоим — лучился... Лучился радостью... Радостью неслыханной, небывалой...

ДО-
ВЕС-
ТИ



НА ПОЛНОМ ХОДУ

1. У ОКНА

За Байкалом, из-под высокого нагромождения заснеженных скал, круто сомкнутых над длинным туннелем, со стальным грохотом вырвался экспресс и помчался вдоль отвесных горных уступов. Вслед за последним вагоном долго взлетал еще поднятый стремительным движением снежный вихрь.

В каменном безмолвии, гордые, надменные в своей неприступности, застыли горы, ничего не ведая о том, что из прорубленных в них туннелей вырываются поезд за поездом и победным гулом оглашают все вокруг. Словно нехотя, ленивым эхом, горы множили этот гул и снова застывали в снежном безмолвии.

В одном из вагонов в середине поезда жизнь протекала так, как она уже успела установиться за те несколько суток, что пассажиры находились в пути. Длинный вагонный коридор был пуст. Лишь у крайнего к выходу окна стояли плотный высокий мужчина с льняными, зачесанными вверх волосами и совсем юная на вид, в темных кудряшках, девушка — капитан Лаутин и выпускница одного из московских фармацевтических техникумов Надя Симонова. Она впервые ехала в этих местах, ей все здесь было внове, интересно и немного страшно...

Поезд круто повернул, и девушка в испуге отшатнулась.

— Качает? — улыбнулся Лаутин и поддержал ее за руку. На смуглом запястье ее заметив плоский кружок часов, спросил: — Стоят?

— Что вы!

— Бегут?

— Не выдумывайте!

— Но они показывают странное время...

— Ах, — улыбнулась Надя, — это еще московское.

— Но мы уже четвертые сутки в пути.

— В Хабаровске сразу переведу их на все семь часов вперед. А сколько теперь?

— Десять.

— Большой станции не предвидится?

— Как будто нет. Что вы читаете? — показал он на книгу в ее руке.

— Взяла здесь, в поездной библиотечке. Герман Титов...

Из полуоткрытых дверей их купе то и дело доносился громкий стук костяшек — там без устали «забывали козла». От него целыми часами и спасались Симонова и Лаутин здесь, у окна. То молча, а то беседуя, они не отрывали глаз от проносившихся мимо бесконечных зимних пейзажей.

— Вы не заметили, — сказал Лаутин, — немного раньше тут промчался бухгалтер Гнезин из восьмого купе, злой — страшно!

— Не заметила, — сказала Надя. — Не могу оторваться от окна. Что за чудо, смотрите... Гнезин, говорите? Такой же злой, как вчера?

— Что вы, еще злее!

— Опять, наверное, к начальнику поезда? И все с той же просьбой — чтобы заменили купе? Не надоест же человеку...

— В пятом вагоне, я слышал, он нашел коллегу, такого же холостяка, как и он...

— А Зинанда Семеновна не показывалась?

— Что вы! В такую рань?

— И Мира Ефимовна не появлялась? Как она себя чувствует? Вчера она выглядела неважно. Даже опасались...

— Напрасно. Раз Вася Петров там, — усмехнулся Лаутин, — беспокоиться нечего...

— Знаете, — повернулась Надя к нему, — первые дни я думала, что Петров не случайный сосед по купе, думала — муж. Он так внимателен к ней, так заботлив. Должно быть, трудно ей ехать в таком положении одной...

— Ничего страшного! — уверенно заметил Лаутин. — Вот так, на полном ходу, оно всегда лучше...

Пассажиры в вагоне за несколько дней пути уже успели между собой перезнакомиться, многое друг о друге знали, о каждом имели свое мнение.

Восьмое купе сегодня, как всегда, было закрыто. В нем ехала беременная, на сносях, женщина — Мира

Ефимовна Зильберг. Все в вагоне относились к ней уважительно, с каким-то особо бережным вниманием. Она ехала к мужу, инженеру-электрику, посланному полгода назад, после окончания института, на работу в Биробиджан. Сама она окончила педагогический институт, была учительницей. Довольно высокая, стройная и миловидная женщина, теперь она сильно раздалась вширь, несколько удлиненное лицо ее было обезображено пятнами. От этого она чувствовала себя на людях неловко и старалась как можно меньше выходить из купе.

Своеобразно шефствовал над беременной женщиной молодой, двадцатилетний гидролог Василий Петров. Ехал он до Хабаровска, с тем чтобы оттуда самолетом добраться до Камчатки, где недавно проходил практику и куда теперь направлялся на постоянную работу. К величайшей досаде Зинаиды Семеновны Зриной — второй женщины, схавшей в том же купе, молодой, грациозной, жизнерадостной, гидролог ее как бы вовсе не замечал, все внимание уделяя беременной. То принесет ей из ресторана обед, то закроет дверь, чтобы не дуло, старался, чтоб ничто не мешало ей.

Мира Ефимовна подолгу лежала на своей нижней полке, а когда надоедало и трудно становилось лежать, присаживалась к окну. Полной белой рукой в широком рукаве шелкового халата опершись о столик, тихого взгляда больших черных красивых глаз долго не спускала с мчащихся мимо заснеженных зимних просторов...

Зинаида Семеновна редко бывала в купе. Здесь ее одолевала скука. Чаще всего она проводила время в других вагонах, особенно в том, где ехал инженер-технолог из Владивостока Вадим Петрович. Целыми днями тут играли в преферанс. К себе она возвращалась поздно вечером, а утром долго не могла разомкнуть глаз.

Четвертым соседом в купе был главный бухгалтер крупного предприятия Лев Маркович Гнезин, который возвращался из ответственной командировки. Это был человек лет сорока с лишним, с большой огненно-рыжей бородой. Все в вагоне уже знали, что этот закоренелый холостяк никак не может примириться со злой шуткой, которую сыграл с ним билетный кассир в Москве (а может, и сама судьба?), поместив его в одно купе с женщиной на сносях, которая, того и гляди, может еще, как он говорил, «рассыпаться» у него на глазах...

Лев Маркович целыми днями просиживал в другом вагоне, где ехал такой же, как и он, холостяк, заведую-

щий сберегательной кассой, с которым они случайно познакомились. Сегодня с утра он снова подался к своему коллеге, а заодно и к начальнику поезда — в который раз просить перевести его на первое освободившееся в поезде место.

Широко и плавно покачивало на ходу вагон. Морща широкий красноватый лоб, Лаутин неустанно думал о той новой ответственной работе, в связи с назначением на которую его вызывали в Москву. Возвращался он оттуда со множеством новых планов, которые обдумывал в пути.

— Гляньте, что на нас надвигается! — испуганно воскликнула Надя.

В вагоне сразу стало темно от плотно придвинувшейся к жалобно задребезжавшим окнам огромной каменной массы.

— А вы поглядите вверх, — сказал Лаутин.

— Но я там ничего не вижу.

Свою большую, в крупных веснушках руку Лаутин положил на узенькое плечо девушки и повернул ее так, чтобы и она увидела.

— Здесь по-настоящему страшно! — вздрогнула Надя.

В вагоне опять уже было светло, а она все еще не могла отделаться от ощущения, что огромная гора, низко нависшая над мчащимся поездом, вот-вот рухнет и раздавит их... Как бы ища защиты, она по-детски приткнулась к мощному плечу Лаутина.

— Здесь по-настоящему страшно, — повторила она, — и, пожалуй, опаснее, чем лететь, не так ли?

— Почему же? — спросил он.

— В самолете вы ведь не рискуете, что такая вот горища вдруг свалится на вас?

— А самому свалиться на нее, вы думаете, лучше?

— Разве такое бывает? — спросила Надя.

— Если допускать, что может упасть гора, — рассмеялся он, — то с человеком это может случиться давно...

— А с вами случилось?

— Ну, нет, а то как бы я теперь разговаривал с вами? С горами живу пока в мире. Скорее гляньте вверх, направо!

— Сосны! — воскликнула Надя.

— А гору узнали?

— Неужто та самая?

— Ну да.

— Не верится...

Поезд мчался уже довольно далеко от той горы, которая раньше своей грозной близостью так напугала девушку. Теперь гора темнела в отдалении, четко выделяясь на светлом фоне неба со всеми своими островерхими скалами. На самой высокой из них росли три стройные сосны.

— Вы боялись, что гора упадет на нас, — сказал, смеясь, Лаутин, — а сосны вот — те не боятся.

Симоновой стало неловко, она хотела что-то сказать в свое оправдание, но в эту минуту поезд с внезапным грохотом надолго поглотил туннель — и стало темно. А потом, когда туннель кончился и их снова залило ярким светом, в открытой двери восьмого купе они увидели Миру Ефимовну. Та стояла с полотенцем и мылом в руках. Не успели они с ней поздороваться, как новый туннель сомкнул над поездом свою темную пасть.

— Мира Ефимовна, не ходите! — крикнула в темноте Надя.

— Жду, жду, — слышалось глухо, как из пропасти, в ответ.

— Смелая женщина, — сказала Лаутину Надя.

Пока тянулся туннель, оба они думали о новой жизни, которую та несла в себе и которая, еще не появившись на свет, совершала уже свой первый далекий путь...

Полный неистового, ликующего восторга, экспресс вырвался наконец из туннельного мрака и помчался в слепящем блеске бескрайних, залитых щедрым солнцем снежных просторов.

2. ТЕЛЕГРАММА

Еще на станции Красноярск, где поезд долго стоял, в восьмое купе внесли телеграмму.

Мира Ефимовна и Зинаида Семеновна, сидя напротив друг друга, беседовали. За телеграммой обе женщины потянулись сразу, но, когда проводник назвал фамилию Зильберг, Зинаида Семеновна отвернулась. На лице ее отразилось легкое разочарование, хотя телеграмм она ни от кого не ждала.

— Надо же догадаться, — заметила она, — телеграфировать в поезд! Кто у вас такой догадливый?

Мира Ефимовна не ответила. Она побледнела, и пятна на ее лице выступили заметнее. Телеграфный бланк

дрожал в ее похолодевших пальцах, она боялась его раскрыть. «Вдруг что-нибудь с мамой?» — подумала она. В день ее, Мириного, отъезда у мамы подскочило давление.

— Да не томите же вы себя! — воскликнула Зинаида Семеновна.

Мира Ефимовна развернула бланк, с опаской заглянула в него и вдруг почувствовала, как кровь ударила в лицо и всю ее обдало жаром.

Лицо беременной женщины порозовело, полные, чуть припухлые губы растянулись в невольной улыбке, глаза влажно заблестели. Бессильно откинувшись к стенке вагона, она протянула телеграмму соседке по купе. Та близоруко поднесла ее к глазам.

— Вот как! — сказала она и вслух повторила текст: — «Нетерпением жду люблю целую Миша». Это от мужа? — спросила она.

— Ну да.

Зинаида Семеновна помолчала, затем спросила:

— Он вас очень любит?

— Может быть, — уклончиво ответила Мира Ефимовна, но по счастливому выражению ее глаз видно было, что она в этом не сомневается. — Выезжая из Москвы, — сказала Мира Ефимовна, — я телеграфировала ему номер поезда, вагон, купе, так что все это ему известно.

— Это известно и моему мужу, — ответила Зинаида Семеновна, — однако же не догадался.

Тень разочарования исказила и сделала на миг лицо ее каким-то безобразно-несчастливым. Мире Ефимовне стало жаль соседку по купе. Она хотела сказать ей что-то утешительное, но тут постучали.

— Войдите!

На пороге стоял инженер-технолог из Владивостока Вадим Петрович. Аккуратные черные бакенбарды и темная ниточка усов оттеняли матовую бледность его мужественного лица.

— Как вам нынче спалось? — галантно обратился он к обеим женщинам и тут же повернулся к Зинаиде Семеновне: — Я по вашу душу, Зиночка...

— Ах, значит, нужна вам только моя душа? — игриво воскликнула Зинаида Семеновна.

— И конечно же, — еще галантнее ответил Вадим Петрович, — прекрасная оболочка, в которую душа эта заключена...

— Не говорите пошлостей, Вадик, — небрежно бросила Зинаида Семеновна, раскрывая пудреницу.

Мира Ефимовна была поражена мгновенным преображением соседки. Куда девался несчастный вид, который еще минуту тому назад почти обезобразил ее? С появлением Вадима Петровича серо-голубые глаза ее распахнулись, зрачки расширились, и Зинаида Семеновна вся как бы изнутри засветилась.

Пока она пудрилась, слегка подкрашивала губы, Вадим Петрович без умолку говорил:

— Пришел я сюда, Зиночка, от всего нашего купе да еще от двух мужчин из соседнего. Все мы ждем вас. Без вас никак не начнем. . .

— Чего?

— Завтрака и преферанса.

— Можно подумать!

— Уверяю вас, Зиночка, — продолжал он, — да и вам самой это прескрасно известно, в нашем купе и в соседнем, — да что я говорю, во всем вагоне едут одни ваши поклонники. . .

— Так уж во всем вагоне? Ну, а вы, Вадик, вы сами тоже в их числе?

— Помилуйте! — воскликнул он. — Не случайно ведь по вашу душу каждое утро прихожу я. . .

Зинаида Семеновна встала. Высокая, стройная, в голубых брюках, в белоснежной кофточке, она была обворожительна. Горделиво вскинув голову с льяными, по последней моде причесанными волосами, сказала:

— Мира Ефимовна, прошу вас: как только появится Эрнест Валерьянович из четвертого вагона, пожалуйста, скажите ему, что мужчины из третьего вагона, — она кокетливо глянула на Вадима Петровича, — похитили меня. Так и скажите: никуда не собиралась, но прищипли и похитили. . . Хорошо?

— Но Эрнест Валерьянович будет в претензии на меня — почему допустила, — возразила Мира Ефимовна.

— В вашем положении не так уж трудно оправдаться, — заметила Зринна.

— А вам, Зинаида Семеновна, везет, — улыбнулась Мира Ефимовна, — мужчины охотятся за вами. . .

— Что же, — стоя в дверях, парировала Зинаида Семеновна, — не то что вы, которая получает прямо в поезд телеграммы от одного-единственного Миши. . .

Они вышли. Оставшись в купе одна, Мира Ефимовна задумалась. Сколько людей — столько характеров. Вот

хотя бы Зинаида Семеновна. Она просит звать ее Зиной, но как-то язык не поворачивается, ибо та сама все время величает ее по имени-отчеству, как будто была намного моложе. А в сущности, они почти одного возраста. Разве что беременность придает ей, Мире, излишнюю солидность? Возможно. Так вот, Зинаида Семеновна, Зиночка. Она едет к мужу. Он лейтенант, служит на границе, на одной из дальневосточных застав. Поженились два года тому назад. Познакомились в Сочи. «Нас обручило море», — рассказывала Зиночка. И вот как это произошло. Оба хорошие пловцы, они однажды заплывли далеко. Оглянулись — все давно отстали и никого вокруг нет. С радостью победителей в этом никем не объявленном состязании они, незнакомые, друг другу улыбнулись и вместе поплыли обратно. Устав, рядом отдыхали, покачиваясь на спинах. «Небо голубое, — рассказывала Зиночка, — море тоже, и среди беспредельной голубизны — мы... И все вокруг, и мы сами насквозь пронизаны солнцем...» Он там же, в воде, протянул руку, она дала ему свою... Было хорошо. Вместе поплыли к берегу. Плыли медленно, не торопясь, а из воды вышли как бы уже навек обрученные, с ясным сознанием, что друг без друга им на земле не жить...

Вскоре после курорта у Зининых родителей в Москве справили свадьбу, и молодая чета уехала на далекую пограничную заставу, где служил лейтенант. Тут приезд его с молодой женой всех радостно взбудоражил. Их поздравляли. Зиночка всех восхитила своей красотой и талантом — она хорошо исполняла модные эстрадные песни и сама себе аккомпанировала на рояле. Неженатые офицеры, рассказывала Зина, завидовали ее Вите и — это видно было по их глазам — все поголовно в нее влюбились. «И женатые тоже, — добавила она. — Жены у них все, как на подбор, были какие-то курносые простушки, которые одно только и знали — рожать...»

Один женатый офицер, отец двух девочек, пытался даже завести с Зиночкой флирт. «Был он, — рассказывала она, — статен, красив». — «Красивее вашего Вити?» — спросила Мира. «Не то чтобы красивее, — ответила Зина, — но в нем было что-то такое... Вы понимаете, что-то такое, что невольно к нему влекло...» — «Ну, и?» — «Ну, и о чем могла идти речь на заставе, где каждый дюйм земли просматривается? Мы пару раз с ним встретились, просто так, чтобы поговорить. Он меня об этом умолял. Почему же не пойти навстречу?» —

«И что же?» — «Ничего. Нас засекли, — рассказывала Зиночка, — и вскоре этого офицера перевели на другую заставу». — «А муж?» — спросила Мира. «Витек? Он так в меня влюблен, что ничего не заметил...»

Зиночке вскоре наскучило на заставе: «Каждый день одно и то же: наряды и тревоги, наряды и тревоги...» А она привыкла к широкой жизни в Москве, к театрам, концертам, многочисленным друзьям. Уехала к родителям на пару месяцев, устроить кое-какие дела, а оставалась больше года. Витек посылал письмо за письмом, звал к себе, а она находила все новые отговорки, пока он не прислал ультиматум: или она возвращается к нему, или развод. И вот она едет к мужу на заставу. Мира спросила, был ли ребенок. «Я сделала аборт, — ответила Зина. — Для этого и ездила в Москву...»

Аборт... Как легко она произнесла это слово, будто так и надо... Мира внутренне содрогнулась. Могла бы так поступить и она? Нет, не смогла бы...

Бесконечные снежные равнины, небольшие, темнеющие у горизонта селения все мелькали, убегая назад, а поезд в стремительном движении выстукивал в беспрерывном беге колес: вперед... вперед!...

Слово это неустанно звучало в ее ушах, стучало в сердце, наполняло собой всю, а также и то существо, что жило уже внутри нее и время от времени давало знать о себе нежными настойчивыми толчками... Она положила руку на живот, чуть надавила его ладонью и под затрепетавшими пальцами сильнее ощутила эти толчки... Был бы Миша тут, она и его руку положила бы себе на живот — пусть и он почувствовал бы, как бьется в ней новая жизнь, их жизнь... Но Миша тут, вот его телеграмма... Как бы опасаясь, что она каким-то невероятным образом может исчезнуть, Мира быстро схватила ее со столика, поднесла к глазам, долго всматривалась в каждое слово, повторяя его губами. И вот ей уже слышится что-то новое в неумолчном беге колес:

«Люблю... целую... Миша...

Люблю... целую... Миша»

Вот что теперь выстукивали колеса.

У нее закружилась голова, и она склонилась, почти упала на подушку.

3. В РЕСТОРАНЕ

Мужчины из восьмого купе — главбух крупного предприятия Лев Маркович Гнезин и молодой, двадцатише-

стилетный гидролог Василий Петров, или, как все его тут звали, Вася, — в вагоне-ресторане дожидались обеда. С ними был и знакомый Льва Марковича — заведующий сберегательной кассой Савелий Кузьмич. Заказ у них уже приняли, принесли пиво. Разливая его по стаканам, Лев Маркович, усмехаясь в огненно-рыжую бороду, сказал:

— Оказывается, собралось нас здесь трое холостяков! Что же, за вольное наше холостяцкое житье и предлагаю выпить! Как вы, Савелий Кузьмич?

— Совершенно согласен! — с готовностью отозвался тот.

— А вы, молодой человек?

— Видите ли, — вскинув свои белесые вихры, с легкой усмешкой ответил Вася, — до меня не совсем дошел смысл вашего тоста, Лев Маркович.

— Как не дошел? — удивился тот. — Я предлагаю выпить за нашу мужскую свободу, за то, чтобы никогда не быть возле женских юбок и детских пеленок, ясно?

— Яснее ясного! — подтвердил Савелий Кузьмич.

— Ясно-то ясно, — сказал Вася, — но не поторопились ли вы с зачислением меня в свою компанию?

— А что, — вскинулся Лев Маркович, — и вы совершили уже роковую ошибку, Вася? Вы женаты?

— Нет, пока не женат.

— Так что же, — с облегчением вздохнул Лев Маркович, — значит, вы такой же холостяк, как и я, как Савелий Кузьмич.

— Возможно, однако с небольшим оттенком, — сказал Вася.

— Каким?

— У меня все же есть еще некоторые шансы когда-нибудь перестать быть холостяком, а у вас их, по-видимому, нет...

— Но именно за это, — поднял свой стакан Лев Маркович, — я и предлагаю выпить — за отсутствие шансов! Как вы, Савелий Кузьмич?

— Совершенно с вами согласен! — поднял тот свой стакан.

— А я все же выпью за те шансы, которые у меня есть, — сказал Вася.

Выпив, Лев Маркович смахнул пену с усов и, обращаясь к Петрову, сказал:

— Вы меня извините, Вася, но коль вы еще ищете шансы, то ищите, как я погляжу, не там, где следует.

— Как — не там?

— Сейчас поясню. Вот едем мы с вами несколько дней в одном купе. Мне вообще не повезло. Я со своим отношением к женщинам, детям и всему подобному угодил, видите ли, в одно купе с беременной женщиной, которая, того и гляди, «рассыплется» в дороге...

— Да, Лев Маркович, — усмехнулся Вася, — вам крупно не повезло. А что, начальник поезда все обещает?

— Был я у него и сегодня. «Как только что-нибудь освободится...» — говорит... Но это — одно дело. А вы все же, скажу я вам, очень странный молодой человек.

— Чем же?

— Чем? — Лев Маркович повернулся к Савелию Кузьмичу, с которым сидел рядом, и ему, а не Васе стал отвечать на вопрос, который задал тот: — Понимаете ли, Савелий Кузьмич, с нами в одном купе едут две женщины, я вам уже о них рассказывал. Одна беременная, на сносях. Не знаю, в этих делах я мало компетентен, — возможно, в нормальном состоянии она и приятная женщина. Но теперь — бочка бочкой, лицо в пятнах, страх божий! А этот молодой человек, видите ли, усиленнейшим образом за ней ухаживает. Не успеет она еще высказать пожелание, он уже его выполняет! А напротив беременной едет другая женщина — Зинаида Семеновна. Что вам сказать, таких вы можете увидеть в журнале мод, и только на первой странице! К ней паломничество из других вагонов, ее забирают на целые дни. А для нашего Васи она как бы не существует вовсе. Он и не смотрит в ее сторону...

Поведав все это Савелию Кузьмичу, Лев Маркович повернулся к Васе и, поглаживая бороду, спросил:

— Ну, скажите, не странно ли это?

— Странно, очень странно, — подтвердил Савелий Кузьмич.

— Я моложе вас, друзья-холостяки, — ответил Вася, — убежден: материнство — дело святое. И я преклоняюсь перед женщинами, которые готовятся к своему материнству так, как наша соседка по купе...

— Ну, а Зинаида Семеновна? — спросил Гнезгин.

— Это героиня не моего романа, — отрезал Вася.

У стола остановилась официантка с подносом. В металлических высоких мисках исходил паром горячий борщ.

— Что вы заказали на второе? — спросила официантка. — Цыплят табака?

- Да, три порции.
- Нет цыплят табака. Кончились.
- Что есть?
- Свиные котлеты.
- И все?
- Все!

— Что ж поделаешь, — сказал Лев Маркович, и все принялись за борщ.

Первым разделался с ним Гнезин. Утирая бороду, он заметил:

— Котлеты принесут не скоро. Подоспела бы приличная станция, смогли бы еще полностью отобедать.

— Ну и чревоугодник же вы, Лев Маркович, — заметил Савелий Кузьмич.

— Да нет, — отмахнулся тот, — что-то делать надо в пути. Скучища...

Выглянули в окно. Телеграфные столбы вблизи, темные селения вдаль, у горизонта, бескрайние снежные равнины — все это стремительно убегало назад, назад...

— Можете сколько угодно иронизировать надо мной, — сказал Вася, — но разрешите, Лев Маркович, задать вам вопрос.

— Вопрос?

— Да, и возможно, для вас несколько неожиданный.

— Прошу. Мы, люди старшего поколения, обязаны отвечать на все ваши вопросы, молодой человек, дабы уберечь вас от повторения наших ошибок...

— Будьте уверены, ваших ошибок мы не повторим, — сказал Вася.

— К чему? — заметил Савелий Кузьмич. — Они совершат своих немало...

— Bravo! — обернулся к нему Гнезин. — Один — ноль в вашу пользу, Савелий Кузьмич!

И к Петрову:

— Ваш вопрос?

— Были вы, Лев Маркович, когда-нибудь... влюблены?

Вопрос и впрямь оказался для Гнезина неожиданным. Долгим, испытующим взглядом уставился он на молодого человека и вдруг, тряся рыжей бородой, рассмеялся.

— Представьте — был, да еще как!..

— Вы — со своим отношением к женскому полу? — удивился Вася.

— Да, да. Но мое теперешнее отношение к нему уже результат известного житейского опыта, и неспроста же оно возникло. А до этого... до этого... Вам, Савелий Кузьмич, я уже рассказывал. Стоит ли об этом рассказывать и нашему молодому человеку, как вы думаете? А вам не скучно будет выслушать эту историю еще раз? Пожалуй, расскажу, молодому человеку это может пойти на пользу. А котлеты еще будут не скоро...

Лев Маркович повернулся к Васе:

— Так вот, мой друг, представьте — был влюблен, и влюблен как следует, со всеми, как говорится, вытекающими отсюда последствиями. Ночи напролет мечтал о встрече, о знакомстве. Затем, когда эти мечты осуществились, мы без конца гуляли — и при луне, и без луны. Уезжая, писал ей длинные письма, бывая на месте, дарил цветы. Одним словом, все как в порядочных старых романах. Нынче это делается, говорят, проще и быстрее и в жизни, и в романах. Моя возлюбленная — как она выглядела? Разве это важно? Коль был я влюблен, то ясно, что десять Эдит Пьех не могли бы сравниться с ней одною. Не девушка, а кладезь совершенства! Мы друг другу поклялись в верности навеки, и осталось одно — расписаться. Замечу кстати, что тогда еще пышных свадеб не устраивали — достатки были не те... Но... Как видите, дело тут не обошлось без «но». У меня был добрый товарищ, друг детства. Учился он в другом городе, окончил институт и вернулся инженером. Познакомил я его с моей Нелли. Прошло какое-то время, и — что вам сказать? — отбил он ее у меня... Отбил по всем правилам стратегии. И что удивительного? Я тогда даже бухгалтером не был, так, счетоводишка в потребкооперации. А он — инженер! Одним словом, они поженились.

К столу подошла официантка с подносом.

— Что заказывали на второе?

— Свиные котлеты.

— Нету.

— Но вы же сами...

— Нету.

— А что есть?

— Я принесла вам рагу. Возьмете?

— Что же...

— Вот так и жизнь, — сказал Лев Маркович, пробуя вилкой твердые куски мяса из рагу, — такой же ресто-

ран на колесах: заказываешь одно — обещают другое, а подают и вовсе невесть что...

— И то хорошо, — заметил Савелий Кузьмич, — а если бы не принесли ничего...

— И то верно, — согласился Лев Маркович.

— Не жаловаться, старики! Есть, что дают! — усмехнулся Вася. — Что же дальше, Лев Маркович, вы меня заинтриговали.

— Заинтриговал, гляди-ка! Тут жизнь дала трещину, а он — заинтриговали! А дальше было вот что: мой товарищ, как я уже сказал, и Нелли поженились. Прошел год после свадьбы, ее отвезли в роддом. Роды были тяжелые, потребовалась операция. Ребенка вынули мертвым. Больше рожать она не могла...

— А что дальше? — спросил Вася, так как Гнезин вдруг умолк и всерьез принялся за свое рагу.

— Дальше? У Нелли, то ли из-за неудачных родов, то ли это было у нее от природы, оказался характер — не приведи господь! Тут не сядь, там не стань! Ревновала его к каждому столбу... Изводила претензиями — мало зарабатывает. Что ни день — скандалы, крики, слезы... Впрочем, вскоре они переехали в другой город, и, как там у них дальше пошло, не знаю. Не интересовался. Для себя же... — Гнезин отодвинул пустую тарелку, вытер салфеткой усы и бороду, — для себя же я сделал вывод: хватит! Больше подобных глупостей — влюбляться и прочее — ни-ни! Раз в жизни нашелся товарищ, который выручил из беды. Другого такого за деньги не сыщешь! И вот, как видите, перед вами свободный и совершенно счастливый человек!

— А в том, что я остался холостяком, повинна следующая история... — начал Савелий Кузьмич.

— Прошу прощения, — деликатно перебил его Вася, — не кажется ли вам, что двух историй двух холостяков для одного раза многовато? Не отложить ли нам вашу историю до следующего раза?

— Совершенно с вами согласен, — ответил Савелий Кузьмич, — можно и отложить.

Одно за другим стали заглядывать в окна высокие привокзальные здания. Отблескивающие переплетения рельсовых путей широко раскинулись по обе стороны поезда.

— Вот, кстати, и станция, — сказал Вася и затормозил к выходу.

4. ЯБЛОКИ

В дверь купе постучали.

— Войдите!

На пороге Мира Ефимовна увидела Васю. Длинный, худой, с нависшими на глаза белесыми вихрами, стоял он с большим кулемком в руках.

— Ну и морознице, Мира Ефимовна, едва добсжал.

Она лежала, когда он вошел. Тут же поднялась, поправила халат, волосы, спросила:

— Вы так и бежали по перрону без шапки?

— Ну и что? — ответил он. — Зато глядите, чего достал!

Он поднес ей кулек, и она восхищенно воскликнула:

— Яблоки! Откуда?

— Уметь надо!

— Я спокойно лежу, знаю — обедаете. А вы... Да как же так — без шапки по морозу?..

— Только кончили мы обедать, — стал рассказывать Вася, — станция. Я — в буфет. Дают яблоки.

— Дают? — смеясь, переспросила она.

— Ну да. Очередь — конца не видать... «Я с поезда! — говорю. — Видите, без шапки. Поезд отходит...» — «Знаем! — крик. — Все с поезда...» — «Мне для больной», — говорю. Никаких! «Для беременной...» Подействовало! Схватил и — бегом! Вот...

Кулек он положил на столик и стал растирать красные уши.

— Чуть не отморозил.

— Что вы, мне столько не нужно, — запротестовала Мира Ефимовна.

— Для себя, что ли, я затеял перепалку с целой очередью?

— Спасибо, Вася! Но мне хватило бы и пары яблок.

— Благодарите, Мира Ефимовна, не меня...

— А кого же?

— Станционный буфет, вот кого! Догадались же — к приходу нашего поезда «выбросить» такие яблоки!

— Чудо яблоки! Спасибо, Вася...

— На здоровье, Мира Ефимовна. Вам нужны витамины.

Она еще раз поблагодарила и сказала:

— Вашей будущей жене, Вася, можно позавидовать.

— В чем же?

— Вы такой внимательный, добрый...

— Но так как жена моя еще в будущем, — возразил Вася, — то и завидовать некому. А сейчас, Мира Ефимовна, вы позавидуете мне: завалюсь на полку и примусь за свою книгу. Не возражаете?

— Что вы! Конечно же отдохайте. Вам и вообще полезно полежать. Вам надо набрать немного весу, Вася. Смотрите, какой вы тощий. Кожа да кости. Сразу видно, присмотреть за вами некому.

— Тощий, говорите? Но такому жить легче. Неужели лучше быть таким, как Лев Маркович? Жаль смотреть, с каким трудом карабкается, бедняга, на свою верхнюю полку. То ли дело мы! — Он приподнялся на носках, оперся локтями на обе верхние полки, взмах — и у себя.

— Ох, сколько в вас еще озорства, Вася, ну совсем как мальчишка! А где вы оставили нашего Льва Марковича?

— Наверное, пошел в вагон к Савелию Кузьмичу. Оба финансовые работники, оба холостяки. Два сапога — пара.

Последние слова Вася произнес, уже уставившись глазами в свою толстую книгу.

— Читайте, я вам не буду мешать, — сказала Мира Ефимовна и придвинулась ближе к окну.

Поезд отошел от станции, но ее строения еще проносились мимо окна.

Мира Ефимовна закрыла глаза — так ей лучше было вслушиваться в то важное, большое, что происходило внутри нее. Вот оно: толчок... И еще... легко так, неясно... И сердце — в трепет... Когда она собиралась выйти замуж за Мишу, представляла себе их совместную жизнь, знала — будет счастье. Но таким полным, таким всеобъемлющим она его себе не представляла... И разве можно представить то, чего не знаешь? Как жаль ей всех тех, кому не дано чувствовать того, чем она полна теперь... Бедные... Зинаида Семеновна, например. Несчастливая, сделала аборт и сама не подозревает, какого огромного лишила себя счастья. Она красива, пользуется успехом у мужчин, вертит ими, как хочет, и думает, что в этом счастье. Но что это за бедные ошметки в сравнении с тем, чем переполнена теперь она, Мира...

Она открыла глаза. Оглянулась — на верхней полке напротив Вася углубился в свою толстую книгу. Из кулика на скатерку выкатилось яблоко. Алые полоски на нем так тепло контрастировали со снежной, холодной белизной, проносившейся за окном... «Хороший день сего-

дня, — подумала Мира Ефимовна. — Мишина телеграмма... Яблоки... — Улыбнулась. — Надо же — в такой мороз по перрону без шапки... Чудачок!»

Глянула вверх:

— Вася, вы все еще «Обломова» читаете?

— Да, Мира Ефимовна.

— И как?

— Блеск!

— А что вы раньше говорили, помните?

— Дураком был, Мира Ефимовна, каюсь — круглым дураком!

— Ну зачем же так? Вас просто плохо учили литературе.

Вася повернулся на полке, его белесые вихры свесились вниз.

— Мира Ефимовна, вы, наверное, отличная преподавательница литературы, да?

— Ну что значит отличная? Просто я стараюсь перед своими учениками прежде всего раскрыть красоту слова, научить их наслаждаться им, чувствовать всю его прелесть. А тогда уже дойдет и все то, что литература несет в себе: идеи, идеалы — все.

— Правильно, — заметил Вася. — А как у нас чаще всего учат? Вот как, например, учили меня? Литературу мы «проходили». «Проходили» Пушкина, Лермонтова, Некрасова, современных писателей и... так и прошли мимо них.

— Это плохо, — сказала Мира Ефимовна. — Ну, а в институте?

— В институте считают, что гидрологам литература не обязательна. И вот, стыдно признаться, я полный профан. И только вот благодаря вам...

— Что благодаря мне?

— Благодаря вам у меня, кажется, появился вкус к настоящей литературе. Вы знаете, Мира Ефимовна, бывает, что какая-нибудь случайная встреча перевернет жизнь человека. Такова — не смейтесь — встреча моя с вами. Вы на многое мне раскрыли глаза. И вообще, Мира Ефимовна, вы какой-то очень цельный, очень наполненный человек...

— Куда уж полнее, — улыбнулась она.

— Нет, я не о том. Как бы это лучше объяснить вам? Вот когда разрезаешь арбуз, а он зрелый, переполненный соками, так и переливает через край...

— Ну, Вася, — отмахнулась, краснея, Мира Ефимов-

на, — это вы что-то уж чересчур. По отношению к вам признаю за собой одну небольшую заслугу: я сумела вам разъяснить, что Иван Александрович Гончаров хороший писатель и что «Обломов» следует прочесть.

— Да, помните: на второй день после выезда из Москвы я, разочарованный, пришел из поездной библиотечки, говорю: «Все порасхватили. Осталась пара детективов и вот этот фолиант. На всякий случай взял». — «А что это?» — спросили вы. «Обломов». — «Это прекрасная книга! Неужто не читали?» — «В школе, говорю, проходили отрывок. Единственное, что осталось в памяти: знойный полдень в деревне, и в квасе плавают мертвые мухи». — «Как можно, — возмутились вы, — такое произведение — и все, что от него осталось, — мертвые мухи. . . Немедленно читайте!» — «Да о чем читать? — говорю я. — Знаю, речь о помещике-лежебоке, который за всю жизнь палец о палец не ударил. Сто лет тому назад это еще могло кого-то интересовать, но в наше время. . .» — «Да читайте, — повторили вы. — Вы насладитесь мастерством, с которым этот лежебока описан, да и самим лежебокой также. . . Обломов, обломовщина — это ведь целая эпоха в развитии русского общества. . .» Тут вы мне процитировали Добролюбова. . . И вот — который день не могу оторваться. . .

— Но что-то, — заметила Мира Ефимовна, — вы уж чересчур медленно читаете. Вы, кажется, не дошли еще до середины?

— В книге, — сказал Вася, — все происходит неторопливо, как во время замедленной съемки. Вот так и хочется читать — не спеша. И, кроме того, Мира Ефимовна, мне страшновато подумать: что я буду делать, когда эту книгу закончу?

— Как что? — ответила она. — Будете читать другие книги Гончарова.

— А есть у него и другие? Такие же, как «Обломов»?

— Таких, пожалуй, нет, «Обломов» — его лучшая вещь, — однако книги очень интересные.

— Какие же?

— Неужели не знаете?

— Нет.

— Ну, вы, Васенька, действительно профан.

— Говорил же я вам. Какие это книги?

— Самый шаблонный вопрос на всех литературных викторинах следующий: «Назовите три произведения из-

вестного русского писателя, начинающиеся с одних и тех же двух букв...» Не знаете?

— Нет.

— Ай-яй!.. Гончаров: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».

— Действительно! — с детским изумлением воскликнул Вася. — Все три на «Об»... А больше он ничего не написал?

— Есть у него еще одно произведение, в несколько ином жанре. Он совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» и написал об этом.

— Что-то слышал, — сказал Вася. — Как только приеду на место, все эти книги прочту. Видите, Мира Ефимовна, какое вы открыли для меня сокровище...

— Я вам завидую, Вася, — ответила она, — в жизни вам предстоит еще столько открытий...

Вася перегнулся с полки.

— Мира Ефимовна, вы не отведали яблок?

— Нет еще...

— А я старался...

— Меня радует один их вид...

— Но этого мало!

Соскочив с полки, он уселся напротив, вынул из кулика и подал Мира Ефимовне самое большое яблоко.

— Я его не одолею, — сказала она, — разрежьте.

Когда он это сделал, она половину вернула ему:

— Отведайте и вы.

— С удовольствием!

Одновременно вонзили они молодые зубы в пахучую прохладную мякоть.

5. ПОЩЕЧИНА

Зинаида Семеновна в свое купе вернулась вечером.

Вася ужинал в ресторане. Льва Марковича, который являлся только спать, еще не было.

Мира Ефимовна не зажигала света, и лишь бледные огни небольшой станции, которую они проехали без остановки, едва вычерчивали лицо одинокой женщины у окна.

— Почему не зажигаете света? — каким-то хриплым голосом спросила Зинаида Семеновна.

— Не хочется.

— А где наши кавалеры?

— Вам их не хватает?

— Да нет, к черту! Просто так...

Мира Ефимовна в темноте не видела лица своей по-

путчицы, но до нее явственно донесся запах коньяка. Зинаида Семеновна нащупала свою постель, упала на нее, зарылась головой в подушку, и вскоре послышались ее прерывистые всхлипывания.

Мира Ефимовна поднялась:

— Что с вами? — Тронула Зинаиду Семеновну за плечо. Она тряслась от рыданий. — Успокойтесь... Что случилось?

— Не надо, — донеслось до нее через всхлипывания. — Уйдите... Не стою... Я не стою вашей заботы... Ничего не стою. Ничего... — И Зинаида Семеновна еще пуще зарыдала.

Дрожащей рукой Мира Ефимовна налила ей воды:

— Успокойтесь...

— Хорошо, — сквозь слезы ответила Зинаида Семеновна. — Это пройдет...

— Включить свет?

— Не надо.

Она поднялась. Мира Ефимовна села напротив. В темном купе двух женщин едва можно было различить.

Зинаида Семеновна хрипло сказала:

— Он предложил мне выйти за него замуж.

— Кто?

— Вадим Петрович.

— Как это?

— А вот так: не сходить в Хабаровске, ехать с ним до Владивостока, а там выйти замуж.

— Он не женат?

— Говорит, с женой разошелся.

— Что вы замужем, знает?

— Конечно.

— Вадим Петрович? .. С виду такой приличный человек...

— Все они приличные... Сил нет, до чего приличны...

— Когда он это вам предложил?

— Да только что, провожая из своего вагона. В тамбуре. И тут же кинулся целовать...

— А вы?

— А я отвесила ему пощечину и убежала...

— Возможно, Вадим Петрович был пьян? — после некоторого молчания спросила Мира Ефимовна.

— Конечно же пьян, — ответила Зинаида Семеновна. — Знали бы вы, сколько коньяку сегодня там вылакали за день...

— И вы?

— И я.

— Вас кто-то принуждал?

— Отчасти.

Помолчав, добавила:

— А отчасти и самой хотелось.

— Зачем?

— Зачем, зачем! — зло вскинулась Зинаида Семеновна. — Знали бы вы, до чего иногда становится тошно, постыло жить на свете! До чего хочется обо всем забыть...

— О чем обо всем?

— Обо всем решительно, понятно?

— Нет, не понятно. Вы молодая, красивая женщина. Вами все восхищаются. У вас хороший муж. Чего вам недостает?

Зинаида Семеновна вдруг доверительно склонилась к своей попутнице.

— Сама не знаю, только знаю — недостает. Ой, как многого недостает...

— Ну и отлично, что знаете, — сказала Мира Ефимовна, — значит, со временем обретете.

— Вы думаете?

— Конечно. Вот вы едете к мужу. Он ждет вас.

— Да, еду... — странным голосом сказала Зинаида Семеновна и надолго умолкла.

— Может, на боковую? — предложила Мира Ефимовна. — Пока не вернулись наши кавалеры...

— Пожалуй, — ответила Зинаида Семеновна. — Извините, Мира Ефимовна, вам нужен покой, а я волную вас. Извините...

— Да что вы! — ответила та. — Главное, успокойтесь, Зинаида Семеновна, не расстраивайтесь по пустякам. Вот отдохнете за ночь и встанете завтра со свежей головой.

Не зажигая света, обе женщины разделись и улеглись.

Вскоре явился Вася. Тихо приоткрыв дверь, он на цыпочках вошел и немного постоял в темноте. Спать не хотелось, он думал в коридоре еще почитать. На горизонте у Обломова появилась Ольга... Красивая, нежная, умная Ольга... Неужто и теперь Обломов останется верен своей натуре? Неужто и Ольга не взбодрит, не пробудит его от спячки, не вынудит наконец к какому-нибудь активному действию? Так думал Вася и вдруг решил, что нет, сегодня читать больше не будет — завтра. С радост-

ным чувством уверенности в том, что завтра ждет его интересное, захватывающее, он ловко подтянулся на локтях и тихо прыгнул к себе на полку.

Совсем поздно вернулся Лев Маркович. Он хотел войти неслышно, но так стукнул дверью, что тут же замер: не разбудил ли кого? Нет, кажется, не разбудил... Чтобы хоть как-нибудь видеть в темноте, включил ночную лампочку и в ее густом фиолетовом свете стал раздеваться. Снял пиджак, галстук, джемпер, все это сложил на верхней полке, затем, придвинув лесенку, стал медленно, с трудом, по ней взбираться. Потом долго и неловко стягивал с себя брюки, аккуратно сложил их и наконец, тяжело вздохнув, улегся. Наблюдая все это, Вася думал: прав, конечно, толстяк, что просится на другое место, ему ли карабкаться на эту верхотуру? Он тихо кашлянул.

Лев Маркович живо повернулся:

— Не спите, Вася?

— Нет.

В свете починка Васины белесые вихры и рыжая борода Гензина были одинакового темно-фиолетового цвета.

— Что слышно тут? — прошептал Лев Маркович, показывая вниз.

— Полный порядок.

— А я думал: может быть, уже?

— Никак нет.

— А не возможно ли, что этой ночью, а?

— Исключено. Спокойной ночи!

Вася откинулся на свою постель и повернулся лицом к стенке. Лев Маркович еще некоторое время беспокойно ворочался, пока приглушенный равномерный стук колес не убаюкал и его.

6. НОВЫЙ ДЕНЬ

Было еще рано, но капитан Лаутин и Надя уже стояли у окна. К этому настолько привыкли, что, если бы однажды не увидели их на этом месте, показалось бы, что в вагоне чего-то не хватает. Она все время держалась рукой за оконную раму, как бы опасаясь, чтобы резкой качкой от движения поезда не отшвырнуло ее от собеседника. Они разговаривали или молчали. Но когда и молчали, казалось, что они продолжают разговор. Она все время не отрываясь снизу вверх смотрела на его круп-

ный подбородок с глубокой ямкой посредине, на широкие крылья темного вздернутого носа, на жидковатые пшенично-светлого цвета брови и, главное, на глаза, как бы налитые густой, отстоявшейся синевой.

— Что вы так разглядываете меня? — спросил он у нее однажды. Он знал, что некрасив, и, когда женщины смотрели на него, смущался. Ему казалось, что они посмеиваются над ним, и вовсе не подозревал, что правится — не отдельными какими-то чертами лица, а общим выражением уверенности и силы, которые излучал весь он, вся его ладно скроенная фигура.

— А я не разглядываю, — ответила ему Надя, — я слушаю вас.

И это была правда — она не разглядывала, впрочем, она и не слушала, а со всей впервые проснувшейся в ней жадностью своих девятнадцати лет всего его как бы впитывала в себя. . .

В редкие минуты, когда не стояла у окна, Надя у себя в купе писала письма подруге, оставшейся в Москве.

«Натка, дорогая, — писала она и в это утро, — я уже пятые сутки в пути, и ты не можешь себе представить, сколько нового за эти дни вошло в мою жизнь. Я так счастлива, что не послушалась тебя и не полетела самолетом, а поехала этим чудесным экспрессом «Россия». . . Каждый день переполнен до краев. Я уже не говорю о местах, которые мы проезжаем, хотя и это очень важно и интересно. Но главное, Натка, главное. . . Ты можешь мне не поверить. Но я. . . Я, кажется. . . Да, да, да! . . Впрочем, нет, я не выскажу этого слова даже тебе. . . Не скажу и себе самой до тех пор, пока не скажу ему. . . Но ему я никогда этого не выскажу. . . И это неважно. Главное — я так счастлива, как не была еще никогда в жизни. . .

Часами, — писала она дальше, — мы стоим у окна, и я не чувствую, как летит время. В купе у нас очень шумные соседи — домно, «шпулька», — и мы с ним спасаемся в коридоре, у окна. Много беседуем. О чем? Обо всем на свете. Он рассказывает о себе, у него есть что рассказать. А я — о себе, хотя что, собственно, могу я рассказать? Что видела я в свои девятнадцать лет? Знаешь, он капитан, летчик. Получил новое назначение и едет к месту своей службы. Скажешь, старик? Ну да. Впрочем, такие, как он, стариками никогда не бывают. Меня, конечно, он старше раза в два. Ну и что? Хочешь знать, есть ли у него жена, дети? Женат, имеет мальчика и девочку.

Он мне много о них рассказывает... Но то, что я чувствую, Натка, это такое счастье... Ты ведь знаешь, я по-настоящему еще никого не любила. Считала — счастье, когда кто-то полюбит меня. А теперь я поняла, что любовь вообще счастье, даже если любишь только ты, а тот, кого любишь, может об этом и не знать...

Бегу. Он уже у окна, ждет. А может, и не ждет — все равно».

Он стоял у окна, сосредоточенно о чем-то думая. Молодая березовая роща по колено в снегу, промелькнув, исчезла.

— О чем задумались, Сергей Владимирович? — спросила Надя.

— О чем? — Странно, как ей показалось, взглянув на нее, он сказал: — Есть о чем думать.

И добавил:

— Еду вот на новое место. Предстоит жить, работать с новыми людьми. А какие это люди, как с ними сработаемся?

А у нее при взгляде на Сергея Владимировича (она все время смотрела на него) было впечатление, что думает он о чем-то другом, о чем ей, Наде, рассказывать не хочет, и поэтому так много говорит о работе, о переезде.

— Это тоже не просто, — говорит он. — На старом месте у меня хорошая работа, дети учатся.

«Почему он говорит о детях, — думала она, — как будто хочет этим от чего-то себя обезопасить?» Но ему не грозит никакая опасность. И ей вовсе не так уж интересно слушать о том, как будет он переезжать. Как-нибудь да переедет! Ее больше интересовало, где и как он учился, как стал пилотом. Об этом она и спросила его. «О, — ответил он, — это незабываемый период в жизни!» Рассказал, что кончил в Оренбурге авиационное училище, — кстати, то самое, что и Гагарин.

— Гагарин? — переспросила она, и восхищение, которое вызывает это имя, тут же перенесла и на него, Лаутина.

— И вы тоже могли стать космонавтом? — спросила Надя.

— Мог.

— Почему же не стали?

— Не всем же быть космонавтами, — ответил он, — нужны и просто пилоты.

— Но я уверена, — сказала Надя, — из вас вышел бы

отличный космонавт. Вы просто не просились, да? А теперь уже поздно?

— Почему же? — ответил он. — Можно и теперь. А вы бы дали на это «добро»?

— Да!

— Тогда остановка за малым, — усмехнулся он, — надо, чтобы дал еще свое «добро» генерал Каманин...

— Представляете, — восхищенно сказала Надя, глядя ему в глаза, — я сижу у себя в аптеке в каком-нибудь таежном поселке (меня обязательно зашлют в какую-нибудь глушь), составляю свои рецепты, и вдруг — радио: очередной полет в космос! И я слышу: машину ведет пилот-космонавт Лаутин Сергей Владимирович. Год рождения такой-то, родители такие-то. Женат. Имеет двоих детей...

Она умолкла, затем грустно добавила:

— Только о том, что пилот-космонавт Лаутин С. В. ехал экспрессом «Россия» в одном вагоне с Надей Симоновой, — об этом в сообщении ничего не скажут...

— Не горюйте, Надя, — положил он руку ей на плечо, — зато я передам вам личный привет из космоса прямо в тот поселок, где вы будете жить. Не забудьте только сообщить свой адрес...

— Передадите? — спросила она. — Я буду ждать.

Из восьмого купе вышел Лев Маркович Гнезин. Пройдя мимо Лаутина и Нади, он вежливо им поклонился.

— Вы не находите, — спросил Лаутин, когда Гнезин прошел, — что у этого человека отменная борода? Такие бороды носили когда-то визири...

— Это не по моде, — возразила Надя. — Теперь бороды носят юнцы, а старики ходят бритые...

— Но борода эта не простая, он носит ее с умыслом.

— Каким же?

— Природа, как видите, обидела человека ростом — он коротковат. Длинная борода этот недостаток компенсирует...

— Шутник вы, Сергей Владимирович! — рассмеялась Надя.

Из восьмого купе вышел Вася Петров и уселся с книгой у окна.

— Всю дорогу, заметил я, — сказал Лаутин, — он читает одну и ту же книгу.

— Это «Обломов».

— «Обломов»?

— Что вас удивляет?

— Вообще ничего. Но, знаете, экспресс «Россия», который за неделю проходит путь от Москвы до Владивостока, — и... Обломов... Тут есть над чем подумать...

У восьмого купе появился Эрнест Валерьянович из четвертого вагона. Темно-синий спортивный костюм с белой каймой рельефно обтягивал его плотную, мускулистую фигуру. До Лаутина и Нади долетел его вопрос:

— Не ушла еще?

— Нет, — буркнул Вася, не поднимая головы от книги.

Эрнест Валерьянович постучал и скрылся в купе. Через некоторое время он вышел оттуда вместе с Зинаидой Семеновной. Она была очень эффектна в брюках, белоснежной блузке под оригинальной вязаной кофтой, с дымчато-розовой косынкой на шее. Эрнест Валерьянович деликатно пропустил ее вперед.

— Четвертый взял реванш! — сказал Лаутин.

Все тут знали о свособразном соперничестве между третьим и четвертым вагонами, вернее, между инженером-технологом из Владивостока и хабаровским преподавателем физкультуры Эрнестом Валерьяновичем. Вчера победа была за Вадимом Петровичем.

— Как же это слоховал он сегодня? — удивился Лаутин. Он не знал, что тот слоховал еще вчера...

— Соседи из нашего купе уже ушли в ресторан, — заметил Сергей Владимирович. — Пора завтракать.

— Мне еще не хочется есть, — сказала Надя.

Она вошла в пустое купе, уселась на свое место, посидела в задумчивости; потом на книгу, которую читала в дороге, — «Голубая моя планета» Германа Титова, — положила чистый лист и продолжала начатое письмо.

«...Знаешь, Натка, — писала она, — сегодня мы снова долго разговаривали у окна. Боюсь, не начал ли он о чем-то догадываться, — уж очень часто стал говорить о жене, о детях... А я его попросила рассказать, где учился на пилота, и — знаешь где? — в том же авиационном училище, что и Гагарин, да! Я спросила: почему и он не стал космонавтом? Сказал, что может еще стать. А когда станет, говорит, он пошлет мне привет из космоса. Из космоса, понимаешь?..»

7. ХОРОШО ДУМАЕТСЯ В ДОРОГЕ

Дорога без конца и без края... Поезд пятый день в пути, а все новые станции, города, большие и малые, наплывают, встречаются, остаются позади — и вместо них

другие, другие... А сколько пустующей земли, сколько рек, лесов, какие просторы для новых строек! Сибирь...

Неотрывно глядя в окно, Мира Ефимовна мысленно благодарила своих соседей, которые надолго оставляли ее одну, наедине со своими мыслями, не мешая ей вслушиваться в ту новую жизнь, которая зрела внутри нее, то и дело напоминая о себе настойчивыми толчками, как бы спрашивая: «Скоро ли, скоро?..»

Предстоящие роды пугали ее, и все же ей хотелось, чтобы это началось скорее, хотя и не ранее ее приезда на место. С ужасом она отбрасывала мысль о том, что это может случиться раньше, в пути, и тут же успокаивала себя: ехать осталось менее двух суток и чувствует она себя вполне сносно.

Теперь, когда близится к концу чудодейственный цикл, предваряющий рождение человека, ей хотелось думать о том, как все это началось...

А началось не просто. Чуть было не засиделась в старых девах. Да, пожалуй, и без всякого «чуть» — в двадцать семь лет у нее никого еще не было. Шутка ли? Впрочем, мальчики, а затем и парни интересовались ею в школе еще, потом в техникуме, позже — в институте, да и когда стала учительницей. Но — странное дело — никто из тех, кто выказывал к ней интерес — а иные и немалый, — не нравились ей. И не потому так случалось, что была она очень уж привередлива, что ли, хотя само собой именно так получалось, ибо одному, другому, третьему давала она понять, чтобы не связывали с ней никаких надежд, и от нее уходили. Истинная причина этого состояла в том, что с детских лет — такую уж была — привыкла ставить серьезные, большие требования к себе и другим. А если кто этим требованиям не соответствовал, то о чем речь? Она никогда не связала бы своей жизни с человеком, с которым у нее не было общих взглядов, интересов. Водить же за собой парней «просто так», на всякий случай, для того чтобы досужие кумушки могли сказать «пользуется успехом», — этого она не могла, не умела и считала нечестным. «Что значит, — думала она, — встречаться с человеком, вместе ходить на концерты, в кино? Это значит обнадеживать его. Но как можно на такое пойти, не питая к этому человеку серьезного чувства, не будучи готовой связать с ним жизнь? Многие так поступают? Но что из того?» Так и ответила она однажды матери, когда та очень уж стала приставать со своими материнскими наставлениями и заботами о будущем.

Мирина мать много лет работала воспитательницей в заводском детском саду, ее там уважали, ценили. Была она доброй женщиной, преданной матерью, и ей хотелось получше устроить будущее дочери. Убедившись, что доводы ее не действуют, мать стала выговаривать отцу: почему он-то дочери ничего не скажет, не попытается ее вразумить? Почему он так безразличен к Мириной судьбе? Или та не дочь ему? Но отец не вмешивался, молчал. Он работал мастером участка на большом подмосковном заводе. Поступил он туда вскоре после войны, когда демобилизовался из армии. За эти годы к фронтовым наградам у него прибавилась медаль «За доблестный труд» и почетное звание «Мастер — золотые руки». У него, опытного слесаря, токаря и электросварщика, руки действительно были золотые, к тому же, как утверждали все знавшие его, обладал он и «золотым характером» — был человеком непритязательным, покладистым и при всем том молчуном. В ответ на мамины сетования по поводу того, что он ничего не говорит Мире, Ефим Зильберг сказал: «Ты вот говоришь — и что же, помогло тебе?» Он был уверен: дочь просто не нашла еще своего суженого. Так и объяснил это матери.

— А если она так его и не найдет? — вскинулась та.

— Тогда он найдет ее, — спокойно ответил отец.

Так оно и было.

Призвание учительницы в Мире пробудилось рано. Окончив семь классов, пошла она в педагогический техникум. Затем два года работала в младших классах той школы, где ранее училась сама, а по окончании института стала преподавательницей русского языка и литературы в старших классах этой же школы.

В конце октября состоялся в школе традиционный вечер выпускников. На этом вечере кто-то (она и не помнит кто) познакомил ее со студентом выпускного курса электротехнического института. Студент когда-то учился в трех старших классах этой школы, притом в то время, когда Мира перешла уже в техникум, вот почему они раньше друг друга не знали. Звали студента Миша Хейфец. На том вечере они немного побеседовали, потанцевали, Из школы вышли вместе большой компанией — учителя и гости. Постепенно компания растаяла, и Мира со своим новым знакомым остались одни. Было поздно, и он проводил ее домой. Прощаясь у ее дома, он спросил: мог бы он встретиться с нею еще раз? «К чему?» — спросила она. «Просто для продолжения нашего знакомства». — «Это

так важно?» — поинтересовалась она и услышала в ответ: «Наверное, важно». — «Если это так, — промолвила она, — вам теперь известно место работы и адрес дома». — «А желательна ли будет для вас эта встреча?» — спросил он. «Там уж видно будет!» — ответила она и сама удивилась тому игривому тону (откуда он у нее?), с которым она произнесла эти слова. Быстро поднялась к себе на четвертый этаж, тихонько, чтобы не разбудить родителей, отперла дверь, прошмыгнула к себе в комнатушку, улеглась и всю ночь так и не сомкнула глаз...

Как и каждая девушка, Мира в шестнадцать-семнадцать лет уже имела перед своим мысленным взором образ человека, с которым она готова была бы соединить свою жизнь. Конечно же он был умен, эрудирован, любил (как и она) поэзию, был добр, настойчив в достижении цели и — в этом состояло главное его достоинство — любил ее. . . Любил так, как ни один герой из всех прочитанных ею книг не любил свою возлюбленную. . .

Имела она и достаточно ясное представление о внешнем облике своего избранника. Сама она была достаточно роста — метр шестьдесят восемь, — а он должен был быть хотя бы на пару сантиметров выше, тут Мира не уступила бы и сантиметра! Сама была темноволоса, кареглаза, значит, ему положено быть светлым: золотистые выющиеся волосы, голубые глаза, умный, выразительный взгляд. Ну, и он должен быть крепким и сильным, чтобы было на кого опереться. . .

Зная это, легко понять, почему стольким парням она указала на дверь, — они не соответствовали ее идеалу. Кроме того, никто из них ни разу не заставил так забиться ее сердце, как забилося оно, когда познакомили ее с этим студентом. . .

«И впрямь, отчего вдруг так замерло, а потом встрепенулось сердце?» — думала она об этом в ту бессонную ночь, лежа в постели в своей маленькой комнатушке, и не могла понять. . . И почему, когда компания, вместе с которой они вышли в тот вечер из школы, стала расходиться, она, Мира, вдруг так испугалась при мысли, что за следующим углом распрощается и уйдет и этот студент, Миша Хейфец, и она больше никогда его не увидит? А потом, когда он привел ее к дому, ей так захотелось, чтобы он предложил встретиться еще раз, что, когда он действительно предложил, ей показалось, что не его это

было желание, а ее, переданное ему какой-то гипнотической силой внушения...

Они встретились еще и еще раз. Встречи эти стали необходимостью, счастливой обязанностью. Не было дня, чтобы они при любой занятости не увиделись хотя бы на минуту. Выходные дни проводили вместе. Он стал заходить к ним в дом. Родители Миры, наученные прошлым опытом, только и ждали, когда — после третьего или четвертого посещения — и этот парень, как было с другими, по их понятиям — более завидными женихами, перестанет у них бывать. Но странное дело — визитам нового знакомого уже и счет потеряли, а все не видно было, чтобы Мира хоть в какой-то мере противилась им. Наоборот, с приходом Миши Хейфеца Мира преображалась, становилась веселее, разговорчивее. Раньше, бывало, ее не вытащишь в кино — она показывала на гору тетрадей со школьными сочинениями, диктантами, которые предстояло проверить. Теперь тетрадей было не меньше, но она находила время и для кино, и для прогулок.

Во время этих прогулок Миша рассказывал ей о себе. У него было тяжелое детство. Отец погиб на фронте, мать, слабая, болезненная женщина, воспитывала Мишу одна. По окончании школы пошел он поэтому не в институт, а на завод. Несколько лет проработал слесарем, потом наладчиком. В институт поступил заочно и лишь последние два года отдался целиком учебе. Теперь он заканчивал последний курс, готовил дипломную работу. Было ему под тридцать.

Ну, а девушки у него были? И никого он до сих пор не любил?

Во время одной из прогулок Мира задала ему эти вопросы.

— Нет, никого не любил, — ответил он, — и девушек у меня не было... Впрочем, — тут же спохватился он, — девушки у меня были, и немало. Но все это такие девушки, пояснил он, которых мама, да и разные знакомые прочили ему в невесты.

А он?

Он и встречаться с ними не желал, а те, с кем он, по настоянию матери, и встречался, ему не нравились.

— Ни одна? — спросила Мира.

— Ни одна.

— И мне тоже.

— Что — тебе тоже? — спросил он.

— Мне тоже никто не нравился.

-51— И у тебя были парни? Я имею в виду — такие, которых прочили тебе в женихи?

— Да, и тоже немало.

— А ты?

— Говорю же — никто мне не нравился. Родители сердились даже, особенно мама.

— И моя мама сердилась. Кроме этого, — продолжал рассказывать Миша, — всегда в жутком цейтноте. Завод, нагрузки всякие, учеба...

— И у меня, — сказала Мира.

— Что — и у тебя?

— То же самое: работа, учеба, нагрузки...

Они шли под руку, пальцы их рук были тесно переплетены.

То ли в третью, то ли в четвертую встречу — был поздний вечер — Миша несмело обнял Миру за плечо да так и забыл на плече ее свою руку. Некоторое время они так шли, затем она его руку осторожно с плеча своего сняла.

— Не надо, — сказала она тихо.

— Почему?

— Возьми меня под руку.

— Так лучше?

— Да.

— Большой практики у меня в этом деле нет, — признался Миша.

— Значит, кое-какая практика все же есть?

Он совсем смутился.

— Смотрю вот, как молодые пары ходят в обнимку, и подумал... Хотя мне самому такое не по душе...

— Вот видишь, — перехватила слова его Мира, — и я в толк не возьму эту новую моду. Когда мужчина ведет женщину под руку, он тем самым поддерживает ее, помогает ей, оберегает ее, это красиво, приятно. А тут... Ну, погляди вот, — и Мира показала на парочку, шедшую впереди.

Девушка была маленькая, тоненькая — тростиночка. Шедший с нею рядом высокий увалень с длинными лохматыми космами небрежно держал на ее плечике тяжелую руку, под которой бедная девушка чуть не сгибалась.

— Одним словом, «оберегайте мужчин»! — усмехнулся Миша.

— Вот-вот, — засмеялась и Мира.

Они прибавили шагу, обогнали парочку, и Мира сказала:

— А я хочу быть старомодной... Я хочу, чтобы рядом с тобой мне было не тяжело, а легко. Я хочу, чтобы ты оберегал меня. Хорошо?..

— Хорошо, — ответил Миша, еще крепче вплетая свои пальцы в ее.

Некоторое время они шли молча. Вдруг Мира остановилась, осененная внезапной мыслью.

— Что же это получается, — сказала она. — Значит, всю жизнь ты ждал меня? Одну меня, да?

— Так получается, — усмехнулся он. — А ты?

— И я... Но скажи: как ты мог знать, что я, Мира, существую на свете? Как ты мог знать?

— Видишь вот, знал... А ты?

— И я...

Кто к кому потянулся раньше в первом неловком поцелуе?

Вдруг она тихо, про себя, засмееялась. И впрямь, не смешно ли, до чего он, Миша ее, не похож — ну совсем не похож — на того парня, чей образ она столько лет лелеяла в своих девичьих мечтах... Золотистые волосы? Ничуть не бывало! Правда, густые, выующиеся, но темные, почти как у нее. Голубые глаза? Нет, серые, со множеством крапинок вокруг зрачков. Из-под густых черных бровей, соединенных в одну сплошную линию (такие разве она представляла себе?), глаза его смотрят напряженно, серьезно, с видом обремененного заботами человека. Но стоит глазам этим устремиться на нее, как выражение озабоченности в них исчезает и они начинают излучать нежность...

А нос... ха-ха! Такой разве нос виделся ей у ее суженого — толстоватый и длинный? Но разве это важно? Зато что за умница, как интересно с ним говорить, до чего эрудирован, особенно в технике и математике — областях, в которых сама она ни бум-бум... Любит и неплохо знает историю, начитан в исторической литературе. Увлекают его и книги по фантастике, но равнодушен к поэзии. О любимом ее поэте Николае Заболоцком (в институте она написала о нем работу, которая была высоко оценена) он даже не слышал... К поэзии придется его приобщать.

Она тихо посмеивалась про себя. Вот он наконец, вместо бесплотного и безымянного героя ее грез, — не такой уж идеальный и даже с крупными недостатками (чего стоит его равнодушие к поэзии!), но зато живой, реаль-

ный Миша Хейфец, с которым они сегодня впервые так неловко поцеловались...

Мира готова была простить ему еще один весьма существенный недостаток — то, что ростом он был ничуть не выше ее. Поначалу ей даже показалось, что он ниже, и это не на шутку ее огорчило. Но пару раз, незаметно для него, она с ним померилась и пришла к выводу, что оба они одинакового — абсолютно одинакового — роста и что она кажется выше только из-за своих высоких каблучков. Тут же было принято твердое решение: туфель на высоких каблуках она больше носить не будет.

Вскоре сыграли свадьбу. И он и она обошлись бы и без этой утомительной, шумной и дорогостоящей затеи. Да и к чему все это? — искренне не понимала Мира. Сходятся два человека, это их — и только их — интимное дело, и ничье более. Конечно, к этому причастны в какой-то мере и ближайшие родственники, ее и его. Но к чему, однако же, громоздкие сборища посторонних молодых и старых мужчин и женщин, которые обычно занимают места за свадебными столами? С ужасом представляла себе Мира, как все эти люди во всю мощь своих глоток начнут реветь: «Горько!» — а она и Миша должны будут подниматься и на виду у всей этой оравы обмениваться поцелуями... Нет, после регистрации в загсе небольшой ужин для самых близких — и никаких свадеб! Так и сказала она родителям в день, когда они подали заявление в загс.

Мать была настолько ошеломлена, что не могла вымолвить и слова. На этот раз сказал свое слово отец.

— Дочь моя, — несколько торжественно обратился он к ней, — ты знаешь, я молчал, не вмешивался, не докучал советами. Знал: настанет день. И вот этот день настал. Теперь, прошу, не вмешивайся ты. Дай нам с матерью, коль мы дожили до этого дня, сделать все, как водится у людей. Ведь мы ничем не хуже других...

На том и порешили. Свадьбу сыграли в большом кафе, снятом вместе с оркестром на целый вечер. Было свыше ста приглашенных: учителя из школы, где работала Мира; Мишины сокурсники; воспитательницы из детского сада, где трудилась мама; рабочие и мастера цеха, где руководил участком отец; родственники, знакомые, друзья.

Официанты в галстуках бабочкой разносили блюда одно аппетитнее другого, и среди них специально заказанные: фаршированная рыба, кисло-сладкое мясо и другие. То в одном конце, то в другом за плотно расставлен-

ными столами громкими хлопками стреляло шампанское и, шипя, выливалось из бутылок. То и дело заполнялись рюмки золотистым коньяком, чистой как слеза водкой, зеленоватым сухим вином. И конечно же вопили: «Горько!» Мира в белом свадебном платье и фате, которые очень шли к ее темным глазам и волосам, и Миша в строгом черном костюме поднимались и проделывали на виду у всех то, к чему еще не очень привыкли и с глазу на глаз... Много танцевали. Твист и шейк — молодежь, шер и фрейлехс¹ — пожилые гости. Любо было смотреть, как сват, Мирин отец, со сватьей, Мишиной матерью, отплясывали «танец с платочком»...

После свадьбы Миша переехал к Мире в комнатуху, здесь они прожили короткое время, оставшееся до окончания института.

Всех выпускников распределили на работу в разные места — кого в Среднюю Азию, кого в Сибирь, кого на Крайний Север. Еще до начала распределения Миша подал в деканат заявление с просьбой направить его на Дальний Восток. В Хабаровский край. Там он собирался хлопотать о назначении в город Биробиджан, где он после института хотел жить и работать. Прежде чем подать заявление в деканат, он советовался с Мирой.

— Почему в Биробиджан? — спросила она.

Он пояснил: до войны там жили его родители и, как ей известно, там он родился. Мать, тогда еще молодая, здоровая женщина, работала на швейной фабрике, отец — на небольшом заводе металлоизделий. Он был жестянщик. Вскоре после начала войны отца призвали в армию. Первое время служил он в Биробиджане и нередко мог наведываться домой. В сорок втором часть, в которой служил отец, переместили дальше, в Сибирь, а затем направили на фронт. Полгода спустя на имя матери пришло извещение о том, что муж ее, командир пулеметного взвода Михаил Захарович Хейфец, пал смертью храбрых на поле боя. И — должно же такое случиться — в день получения похоронной на свет появился сын, Миша, названный так в память об отце...

Мать стала часто хворать. Одной воспитывать сына было нелегко, и вскоре после войны она переехала с ним к сестре, в подмосковный заводской поселок, где и живет до сих пор.

¹ Еврейские национальные танцы.

— Я много раз пытался установить, — рассказывал Миша, — где находится прах моего отца, но безрезультатно. Место, где он погиб, переходило из рук в руки, и братскую могилу, в которой он был похоронен, вражеские танки сровняли с землей. Так что и следа не осталось. Одна только мать и помнит его.

— А родственники, — спросила Мира, — братья, сестры?

— Все родственники отца, да и матери, — ответил Миша, — а это были большие, разветвленные семьи, не успели эвакуироваться. Они остались на Украине, попали в гетто, и всех их уничтожили немцы.

Больше Мира ни о чем не спрашивала.

Миша сказал:

— Хочу жить там, где жил мой отец, где я родился.

Она смотрела на мужа, и ей казалось, что таким, как теперь, она его еще не видела.

— А ты? — помолчав, спросил он.

— Я посду с тобой.

По-инному огнеслись к задуманному переезду родители Миры. Поначалу они и слышать не хотели о том, что дочь их будет жить за десять тысяч километров и они не смогут видеть ни ее, ни внука или внучку. . . Они стали собирать всякие сведения о тех местах, куда собирались дети, и пугать их: там климат пакостный — зимой сильные морозы, летом дожди, комары, да и снабжение там неважное.

Что касается климата, их успокоила Мишина мать, которая тоже собиралась ехать.

— Климат как климат, — сказала она, — мы там уже жили. Что же касается снабжения, — добавила, — то, правда, лимоны и апельсины там на дороге не валяются. . . Но жить можно, как и в любом другом месте.

Увидев, что решение детей твердое, их не переубедишь, родители Миры сдались. Ефим Зильберг сказал:

— Когда-то многие мои товарищи уехали в Биробиджан. Был бы и я там — помешала война. Теперь вижу — Биробиджана мне, пожалуй, не миновать. Ты, Миша, едешь в места, где жил твой отец. А мы с матерью поедem туда, где будут жить наши дети. . .

Вскоре Миша и его мать уехали, и из Биробиджана стали аккуратно приходить письма. В Хабаровске, сообщал Миша, ему нетрудно было добиться назначения в Биробиджан. Ему предоставили интересную работу в конструкторском бюро на большом заводе силовых

трансформаторов, продукция которого известна по всей стране. Кстати, сообщал Миша в письме, предприятие это выросло на базе того небольшого завода металлоизделий, на котором до войны работал его отец. Что касается Биробиджана, писал он, это небольшой, но довольно красивый город. Он, Миша, был совсем ребенком, когда они уезжали оттуда, он мало что помнит, но мать говорит, что город стал неузнаваем. До войны он весь состоял из деревянных одноэтажных и двухэтажных зданий, теперь же и в центре и на окраинах — всюду высятся пятиэтажные дома из светлого силикатного кирпича, который придает городу нарядный, веселый вид. На берегу Биры раскинулся красивый парк, в городе много зелени. Из конца в конец прорезает его широкий проспект, которого раньше вовсе не было, — улица Шолом-Алейхема. Крайние дома этой улицы упираются в большой поселок, который носит имя бывшего рабочего обособленного (а теперь «Дальсельмаш») завода, Героя Советского Союза Иосифа Бумагина. Это звание было присвоено Бумагину посмертно, после того как он в боях за Бреслау в апреле 1945 года повторил подвиг Александра Матросова.

Сообщая об этом, Миша в одном из своих писем писал: «Это, конечно, случайное совпадение, что улица Шолом-Алейхема упирается в поселок имени Бумагина. Но когда я впервые ходил по этой улице, впервые был в этом поселке, присматривался к людям, живущим здесь, я подумал, что, может быть, и не случайно это совпадение и что, если хочешь, есть в этом особый и в чем-то даже символический смысл».

Далее он пояснял: «Понимаешь, милая, изображая плачевную долю и горемычное житье бедолаг из Касриловки, Шолом-Алейхем не переставал мечтать о времени, когда они или хотя бы их дети, внуки узнают иную, лучшую долю. В своем герое Феферле, сосланном царскими жандармами в Сибирь, в добровольно последовавшей за ним Годл, старшей дочери Тевье-молочника, он видел борцов за народное счастье. Он мечтал о времени, когда из еврейской народной среды будут выходить истинные герои. Не зная еще их имен, Шолом-Алейхем предчувствовал, предвидел приход таких славных сынов своего народа, как Иосиф Бумагин. И вот они рядом — улица писателя и поселок Героя, понимаешь, милая...»

Это слово «милая» Миша не устал повторять в своих письмах. А она не уставала, читая их, впитывать в себя все, что за этим словом стояло, что было в нем скры-

то и что понятно было только ей одной. Она отвечала ему так же пространно, писала, что да, она понимает малейшее движение его души, понимает главное: он счастлив на новом месте, а значит, счастлива и она и желает лишь одного — как можно скорее очутиться с ним рядом.

Вскоре он написал, что для завода закончили строить большой, стоквартирный дом и что одну из ста квартир решено выделить им. Она может уже приезжать.

И вот она едет.

Но и с поездкой не все было просто.

Мама и слышать не хотела о том, что Мира в таком положении, на сносях, пустится в дальнюю дорогу. Мать хотела, чтобы роды прошли тут, на месте, под ее материнским присмотром. А так как произойдет это в зимнюю пору, то до наступления полного тепла о поездке с ребенком не будет и речи, а она, бабка, глядишь, хоть немного натешится внуком или внучкой... Но в силу этих самых обстоятельств Миша слал письмо за письмом, требуя, чтобы Мира приехала как можно скорее. Все готово к ее приему. А что касается родов, нечего опасаться, в городе есть великолепное гинекологическое отделение при больнице, с прекрасными специалистами.

А Мира? Могла она разве отложить встречу с Мишей хотя бы на один лишний день? Ей хотелось как можно скорее увидеть его, быть с ним, хотелось, чтобы он — и никто другой — пришел в больницу за ней и ребенком.

Она решила лететь. Но от этого отговорил пожилой врач в женской консультации, куда она пришла посоветоваться.

— Лететь? — сказал он. — Никоним образом!

И пояснил:

— При нормальном полете вы, конечно, можете выиграть время. Но пора зимняя, могут полет и отложить. Один аэропорт долго не выпускает, другой долго не принимает, садятся на третьем. Мало ли что... А вы будете мучиться на переполненных аэровокзалах. Нет, поезжайте-ка лучше экспрессом — самое верное дело!

— Но он идет шесть суток, — сказала Мира, — а за это время...

— Нет, нет, — понял ее опасения врач, — если выедете на этой неделе, гарантирую... И, кроме того, — под седыми кустиками бровей врач показал узкие щелки сощуренных в улыбку глаз, — кроме того, ваш сын — вы ведь хотите сына, да? — сын ваш потом не простит, что, имея возможность родить его дальневосточником — пони-

маете, дальневосточником! — вы произвели его на свет в каком-то небольшом неизвестном поселке.

Из консультации она ушла успокоенная.

И был еще один довод в пользу поездки, его привел Миша в последнем письме. «Теперь, — писал он, — когда ты, милая, носишь его еще в себе, тебе легче будет добираться с ним, нежели потом, когда тебе придется взять его с собой...»

Да, в себе... Вот он, их ребенок, дает о себе знать легкими толчками — раз, другой... О, как ей хочется скорей увидеть Мишу! Только один раз положить бы руку его себе на живот, чтобы и он ощутил эти мягкие требовательные толчки...

Которые сутки в дороге, и все еще нет ей конца...

8. ОЛЬГА

Вася Петров прервал ее мысли. Хмурый, чем-то раздосадованный, вошел он в купе и таким тоном, точно она в чем-то была виновата, сказал:

— Ну, Мира Ефимовна, знаете... Это ведь...

— Что случилось? — не поняла она.

— Но это черт знает что такое! Это...

— Ничего не понимаю! — повернулась к нему Мира.

— Да Ольга вот...

— Какая Ольга?

— Ильинская...

— А! — наконец дошло до нее. — Ну и что же?

— Так ведь все шло хорошо! Он даже в любви ей объяснился, понимаете, в любви...

— Ну, и...

— Ну, и тут же на попятный! Она ждет его... Ждет день, второй, третий, а он... Он придумывает отговорки и дрыхнет дома...

— На то он и Обломов, — сказала Мира, с интересом разглядывая Васю: до чего книга его задела!

— А Ольга, — не успокаивался он, — не выдержала, сама к нему приехала. Это же понимать надо — сама приехала, — а он? Байбак!

Вася в сердцах бросил книгу к себе на полку.

— Ну его...

— А вы дальше, дальше читайте, — сказала Мира.

— А что дальше? — ответил он. — Уж если Ольга с ее любовью не расшевелила его, он таким и помрет...

— Но Ольга...

— А что Ольга?

— О, ей еще многое предстоит!

— Да? — спросил он и тут же спохватился: — Извините, Мира Ефимовна, я вам, наверное, помешал? Дочитал, знаете, до этого места, и такая досада взяла... Надо было с кем-то поделиться. Извините! — сказал Вася и направился в коридор.

— Вы мне ничуть не мешаете, — сказала Мира, — читайте здесь. Я ведь ничего не делаю. Только думаю.

Вася присел на краешек полки.

— А о чем вы думаете, Мира Ефимовна, можно знать?

— О разном, Вася. В дороге думается хорошо.

— Это верно, я по себе это знаю, — согласился он.

— О чем же вы думаете, Вася?

— Тоже о разном.

— Все же?

— Вот читаю и думаю: Обломовы в наше время невозможны, а Ольги? Такие женщины, как Ольга, у нас есть?

— Думаю, что есть, — сказала Мира. — Они, конечно, во многом отличны от той — время-то другое, — но достоинства Ольги — жажда жизни, тяга к прекрасному, энергия, стремление и способность к действию — все это теперь присуще женщинам гораздо в большей мере, чем тогда...

Вася молча слушал, не сводя глаз с собеседницы.

— Почему вы смотрите так на меня? — смутилась Мира.

— Простите, Мира Ефимовна, вот слушаю вас и думаю: многое и в вас от Ольги...

— Что вы, какая из меня Ольга! — усмехнулась она и, чтобы прекратить разговор о себе, спросила: — А вы, Вася, свою Ольгу уже нашли?

— Нет.

— Почему?

— Не вижу я что-то вокруг себя никаких Ольг...

— А кого видите?

Вася задумался.

— Вот вы только что говорили, — сказал он, — о достоинствах Ольги — ее энергии, стремлении и способности к действию и прочее. Но было в ней еще кое-что, и Гончаров подчеркивает это: мягкость, красота, нежность. Помните, характеристику Ольги он завершает тремя словами: «Словом, она женщина». А вот девушкам, понимаете, тем девушкам, которых знаю я, этой самой женствен-

ности как раз и не хватает. Чересчур много мальчишества на себя напускают. И прически, и брюки, и папиросы! К чему? Это меня отталкивает. В девушках я ищу то, чего мне самому, может быть, не хватает, — мягкости, нежности. . .

— Плохо ищите, — заметила Мира. — Правда, и в этом, пожалуй, вы правы — наши девушки, женщины часто почему-то прячутся под каким-то напускным мальчишеством, как бы стыдятся своей женственности. Но она есть, и надо уметь ее разглядеть.

— Значит, не умею, — сказал Вася.

— Вот возьмите нашу Зиночку. . .

— Зинаиду Семеновну?

— Да.

— И что еще можно увидеть в ней, кроме того, что сразу бросается в глаза? — спросил Вася.

— Не думайте, она вовсе не такая, как может показаться с первого взгляда. Чего-то она в жизни ищет, пока не находит и от этого страдает. . .

— Поверьте мне, — горячо возразил Вася, — ничуть она не страдает. А то, что ищет, находит: вчера Вадим Петрович, сегодня Эрнест Валерьянович, завтра. . .

— Не говорите, Вася, вы не знаете.

— А я и не хочу знать! Я лучше опять к Ольге. . . — Он схватил книгу с полки и вышел в коридор.

Зинаида Семеновна снова поздно вернулась в купе.

Плюхнувшись на постель, откинула голову к стенке и прошептала:

— Если б вы знали, как все это мне надоело. . .

От нее, как и вчера, пахло коньяком.

— Что вам надоело? — спросила Мира.

— Все, все. . . Знали бы вы, как я устала. . . Одно и то же. . . Одно и то же. . . Вчера один вагон, сегодня другой. . . Вчера одни люди, сегодня другие. . . Но все то же: карты, коньяк, пошлые комплименты. . . О, как все это мне надоело. . .

— Ну, а как Эрнест Валерьянович? С виду довольно интересный человек.

— Интересный? — Зинаида Семеновна нахмурилась. — Такой же, как все. . .

— Но он, надеюсь, не предлагал вам, как Вадим Петрович, выходить за него замуж?

— Хуже.

— Что — хуже?

— Он предложил мне сойти в Хабаровске и остаться на пару недель...

— С ним?

— Да.

— А жена?

— Жена, научный работник, в длительной командировке...

— И вы отвесили ему пощечину?

— Нет.

— Жаль. Он ее заслужил.

— На всех пощечин не напасешься, рук не хватит... — Зинаида Семеновна закрыла глаза. — Как мне все надоело!

— Но вас никто ведь не неволит так жить? — сказала Мира.

— А как жить?

— Вот мы едем с вами столько дней, а вы ни разу еще в книгу не заглянули...

— Читать? — Зинаида Семеновна рассмеялась. — Покорно благодарю! Читать о том, как другие жили, живут? И потратить на это свою жизнь? Нет, пусть другие читают обо мне...

— Но вам не по душе ведь тот образ жизни, который теперь ведете?

— А как жить иначе? Как?

Мира взглянула на Зинаиду Семеновну, хотела что-то сказать, но раздумала.

Некоторое время женщины молчали. В тишине слышнее стал стук колес. Чем больше Мира слушала этот стук, тем отчетливее, казалось ей, она слышала в нем повторение одних и тех же слов, слов из полученной ею вчера телеграммы:

«Люблю... Целую... Миша...

Люблю... Целую... Миша...»

Бессильно откинувшись к стенке, Зинаида Семеновна тоже вслушивалась в колесный перестук, и ей мерещилось в нем одно и то же: «Надоело... Надоело... Надоело...»

Сидя с закрытыми глазами друг против друга, две женщины в неумолчном стуке колес слышали каждая свое...

Прошел еще один день в пути.

Капитан Лаутин и Надя Симонова, как и в прежние дни, подолгу стояли у вагонного окна, тихо о чем-то между собой беседуя.

Вася Петров читал «Обломова».

Лев Маркович Гнезин, сидя в вагоне у своего коллеги Савелия Кузьмича, ждал перевода в другое купе.

Мира то сидела, то лежала, вся погруженная в то огромное и важное, что творилось внутри нее и что воспринималось ею и как частица ее самой, и как нечто такое, что вскоре от нее отделится. Это было очень странно и немного страшно — начнет существовать самостоятельно, отдельно от нее. . .

Зинаида Семеновна никуда не ходила и почти весь этот день спала.

Дверь в купе с шумом раскрылась. На пороге стоял человек, весь сиявший благодушной улыбкой. Был он Мире совершенно не знаком, но улыбался так, будто приходился ей очень близкой родней и только диву давался — как же та сразу его не узнала. . .

За гостем, на полторы головы возвышаясь над ним, стоял Вася.

— Абрам Лазаревич Зискинд, — сказал он, — из Биробиджана.

— Из Биробиджана? — Мира поднялась, подала гостю руку. Тот ее крепко пожал.

— О себе, Мира Ефимовна, можете ничего не рассказывать. Этот товарищ о вас все доложил, — указал он на Васю.

Тот тут же пояснил:

— Сидим за обедом, как всегда втроем — Лев Маркович, Савелий Кузьмич и я. Подсел четвертый. Разговорились — из Биробиджана. «С нами в купе, говорю, едет женщина в Биробиджан». — «Кто такая? Откуда?» — «Вы ее не знаете, говорю, она туда едет впервые, и ее очень интересует, что там и как. . .» Вот. . .

— Садитесь, — указала Мира гостю на свою полку, а сама подвинулась к окну.

Гость был невысок, полноват, круглолиц, а когда улыбался, на лице его улыбалось все — черные, живо поблескивающие глаза, щеки, лоб, коротковатый нос.

— Вам хочется знать, — весело спросил он, — как-то

там, в Биробиджане? Что ж, можете получить живой привет!

— Мне это интересно, — сказала Мира, — я еду ведь туда впервые и, как видите, — она показала на свою фигуру, — не одна...

— О, это вы очень хорошо делаете, — рассмеялся Абрам Лазаревич; смеялся он так, как будто горох рассыпают по жести, — хорошо делаете. Биробиджан нужен в людях. Впрочем, — тут же добавил он, — где теперь нет нужды в людях? Вот я еду из Иванова...

Он рассказал, что работает помощником мастера в ткацком цехе текстильно-швейной фабрики. Несколько человек было командировано поближе ознакомиться с постановкой дела в городе ткачей, перенять кое-какой опыт.

— Ну, и переняли? — спросила Мира, глядя на Абрама Лазаревича и удивляясь тому чувству, которое он у нее вызывал: будто знает она его уже очень давно, чуть ли не столько, сколько родного отца.

— Конечно же переняли, — ответил он. — Причем нам много не нужно, любая малость, намек — и с нас достаточно. Остальное сами подумаем, сделаем. На то мы еще в известном смысле и рационализаторы...

— Почему в «известном смысле»? — спросила Мира.

— В том смысле, что второго лунника мы еще не придумали, но делаем все, что требуется, чтобы дела на фабрике шли лучше... Да вы ведь просили, — спохватился Абрам Лазаревич, — рассказать о Биробиджане, а я рассказываю о себе...

— Рассказывайте, пожалуйста, — попросила Мира, — ведь вы и сами частица Биробиджана, не так ли?

— Это правда, — ответил он, — и, если хотите, даже изрядная часть...

— Как это понять?

— Понять это надо так, что, с тех пор как существует Биробиджан, существуем и мы там, Зискинды. Родители мои прибыли туда в числе самых первых переселенцев, то ли вторым, то ли третьим эшелоном, еще в двадцать восьмом году. Отец мой — теперь он уже на пенсии — все годы работал кузнецом. Богатырь и мудрец, он любит говорить нам, детям, — нас у родителей восемь — пять сыновей и три дочери, — так вот, любит он говорить нам: «Вы, дети, принадлежите ко второму поколению биробиджанцев — вас породил Биробиджан. А мы — первое поколение. Биробиджан породил нас...»

— «Биробиджан породили мы», — повторила Мира. — Хорошо сказано!

— О, мой отец умеет сказать! Вот приедете, познакомитесь с ним. Ему уже под восемьдесят, но он аккуратно просматривает каждое утро газеты — «Биробиджанер штерн», «Биробиджанскую звезду», и, конечно, «Правду». Любит потолковать о мировой политике. С ним поговорить интересно.

— Так как говорит он, отец ваш, — переспросила Мира: — «Биробиджан породили мы»?

— Да, и этим он хочет сказать о том, каких невероятных трудностей им, первым, стоило все то, что тут за недолгое время создано. На великой Транссибирской магистрали был маленький, затерянный среди сопок и тайги разъезд Тихонькая. Все его население составляло несколько сот человек — рыбаков и охотников. Тут предстояло заложить город, начать большую жизнь. И ее начали!

— Откуда приехали ваши родители?

— Из Витебска. Отец тогда уже был в годах. А мать — комсомолка. Теперь и она на пенсии. Часто приглашают ее на комсомольские собрания, пионерские сборы, и она рассказывает нынешним нашим ребятам, как жили комсомольцы двадцатых и тридцатых годов. Геройское было племя! На их долю такое выпало. . .

— Да, — сказала Мира, — для нас это уже история, а они творили ее своими руками. Первые пятилетки. . . Коллективизация. . . Так дорого стоившая победа в войне. . . Послевоенное восстановление. . . Мой отец тоже воевал, а теперь работает на заводе. Мы, молодые, в большом долгу перед нашими отцами и матерями. . .

— Плохо лишь то, — заметил Абрам Лазаревич, — что не все молодые это понимают.

Зинаида Семеновна на своей постели повернулась лицом к стенке и плотнее натянула на себя одеяло. Абрам Лазаревич приложил палец к губам и заговорил тише:

— К тому времени, когда я стал подрастать и кое-что понимать, многое было уже сделано. Биробиджанский национальный район был преобразован в Еврейскую автономную область, и Биробиджан стал областным центром. Отец мой имел честь быть делегатом Первого областного съезда Советов. До сих пор он любит рассказывать о том, сколько делегаций прибыло тогда со всех концов страны — из Москвы, Минска, Киева, Ленинграда и других городов — приветствовать рождение новой нацио-

нальной области. Сюда шли эшелоны с оборудованием, машинами, техникой — вся страна строила новую область. И так — по сей день. Теперь не узнать уже города моего детства, преобразился он до неузнаваемости. Вырос новый город, с асфальтированными улицами, пятиэтажными кирпичными домами, большими заводами и фабриками с современным оборудованием. Строятся новые и новые микрорайоны...

Наблюдая за тем, с каким увлечением он рассказывает о своем городе, Мира заметила:

— Видно, Абрам Лазаревич, вы влюблены в Биробиджан?

— Как вам сказать... — ответил он. — Я в этом городе родился и вместе с ним рос.

— Скажите, — обратилась Мира к Абраму Лазаревичу, — есть в области еврей-земледельцы, механизаторы?

— А как же! — ответил тот. — Многие из них известны не только в области, но и в крае. Есть среди них и знатные животноводы, и овощеводы. О ком бы вам рассказать? Да взять хотя бы семью Рак...

— Рак? — переспросила Мира.

— Да, даром что фамилия такая, а назад не пятится, нет! Все передовики!

— И много их?

— Много. Отец, Ехиел Рак, тоже был среди первых переселенцев. Приехал из маленького местечка на Украине, — кажется, из Погребищ. Там он был бедолагой-извозчиком, тут стал трактористом. Он был одним из тех, кто километрах в двенадцати от Тихонькой стал рубить тайгу и ставить там первые дома. Место это называли Валдгейм, что значит — дом в лесу. Со временем Ехиел стал бригадиром тракторной бригады и руководил ею много лет. Тем временем подросли сыновья и тоже пошли в трактористы. Жена его тут же, в Валдгейме, родила десятирых. Была она матерью-героиней.

— Была?

— Да, теперь ее нет в живых. Нет и Ехиела. Живут и трудятся их дети. Сын Арон — заместитель председателя колхоза, второй сын, Борис — колхозный инженер, дочь заведует Домом культуры, — целая династия! А вы спрашиваете, есть ли еврей-земледельцы! — с легким укором закончил свой рассказ Абрам Лазаревич.

— Это очень важно — то, что вы рассказываете, — сказала Мира. — Не всем это известно. И вот я не знала. А есть ли еврей-рабочие — токари, слесари, сварщики?

— Да еще какие! На заводе силовых трансформаторов много лет трудится — ваш муж, наверное, его уже знает — знатный токарь Морис Глик. Восьмую пятилетку выполнил за три с половиной года. За столько же времени собирается он выполнить и девятую. Жена Мориса, Сарра Глик, — начальник большого цеха на нашей текстильно-швейной фабрике. Оба награждены орденами.

— Как, вы сказали, их фамилия?

— Глик.

— Да, это поистине счастье! ¹ — промолвила Мира. — Ну, а вы сами, Абрам Лазаревич, почему не рассказываете о себе?

— А что о себе рассказывать?

— Но вы сами, наверное, давно и хорошо работаете?

— Четверть века. С восемнадцати лет.

— И небось имеете награды?

— Не без того.

— У вас, должно быть, много детей. Угадала?

— Нет, не много — трое.

— По нашим временам немало. Большие?

— Дочка в восемнадцать вышла замуж и произвела меня, представьте, в деда. Вот уже два года, как я удостоен этого звания.

— Внучка? Внук?

— Внук!

— И хорош?

— Загляденье!

— А еще?

— Два сына. Старший в институте, младший в школе еще.

— Коль так, — сказала Мира, — и вас, Зискиндов, в Биробиджане целая династия?

— Немалая! — с радостью согласился Абрам Лазаревич. — Знаете, недавно в новом микрорайоне я получил квартиру из четырех комнат с лоджией. Но поверите, в праздник все равно всю родню не соберешь — тесно! .. Ну, хватит, — спохватился Абрам Лазаревич, — я тут говорил вас, а вам отдыхать надо.

Он поднялся.

— Посидите еще.

— Нет, пора. Я — через вагон. Меня ждет уж наш профессор.

— Какой профессор?

¹ Игра слов. Слово «глик» по-еврейски означает счастье.

— Едет с нами в купе. Из Владивостока. Кстати, гинеколог. Могу вас с ним познакомить.

— Благодарю. Зачем утруждать человека?

— За время пути мы с ним очень сдружились. Он заядлый шахматист, да и я в этом деле немного смыслю. До свиданья! В Биробиджане — милости прошу!

Он пожал ей руку, и все лицо его — глаза, щеки, лоб, коротковатый нос — засветилось в улыбке.

Мире казалось — человека этого знает она уже целую вечность.

10. ДАЛЬНИЙ И БЛИЖНИЙ

Повернувшись под одеялом, Зинаида Семеновна выпростала голую руку и зевнула.

— Он меня замучил, ваш гость. Сколько можно?

— Вы разве не спали? Мы старались говорить тихо.

— Какое там! Он разбудил меня, как только вошел! — Зинаида Семеновна опустила на пол голую ногу. — Не люблю людей, которые все на свете рисуют в розовых красках. . .

— Но он ведь рассказывал интересные вещи, — сказала Мира.

— Кое-что было интересно, да. — Зинаида Семеновна опустила вторую ногу и стала разглядывать педикюр. — Но вообще. . . — Она снова зевнула и сбросила одеяло.

— Что вообще? — спросила Мира.

— Вообще не верю я людям, которые пытаются делать вид, что все хорошо. . . — Узкий светло-зеленый бюстгальтер и такого же цвета плавки — все, что было на ней, — оттеняли атласную белизну ее кожи. — Ах, что вы! — воскликнула Зинаида Семеновна, когда раскрылась дверь и показалась голова Васи. Он тут же захлопнул дверь. — Напугала мальчика, — усмехнулась Зинаида Семеновна, накидывая шелковый цветастый халат.

Расчесывая на постели льняные локоны, сказала:

— Не верю я тому, что все уж так хорошо, как ваш гость тут расписывал. Есть, видать, немало своих бед и в Биробиджане.

— Возможно, — ответила Мира. — Но не об этом была у нас речь. Он отвечал на мои вопросы, и видно, что человек влюблен в свою работу, в свой город.

— Любовь бывает одна — между мужчиной и женщиной. Остальное — чепуха! — отрезала Зинаида Семеновна.

— А любовь к месту, где родился, к родному краю?
— Оставьте!
— Вы не правы, — возразила Мира. — Любовь — понятие более широкое, нежели вам кажется. . . А я, — добавила она, — влюбленных людей люблю! Неважно, в кого или во что человек влюблен — в женщину, в город, край. . . Такой всегда способен сделать больше, чем другие. . .

— Не будем спорить, — примирительно заявила Зинаида Семеновна, — вам, Мира Ефимовна, это вредно. Но гость ваш, — она внимательно рассматривала карандаш для подрисовки бровей, — рассказал и кое-что существенное. Я, например, не знала, что существует Еврейская автономная область. . .

— Неужели не знали? — удивилась Мира.

— Нет.

— А о Биробиджане слышали?

— Слышала, но всегда путала: Азербайджан, Биробиджан. . .

— Сильны же вы в географии, — рассмеялась Мира, — да и в истории тоже. . .

— С этими предметами я всегда была не в ладу, — призналась Зинаида Семеновна, — но Еврейская автономная область — это интересно. . .

— Это вас действительно интересует?

— А почему бы и нет?

— Каким образом?

— А самым непосредственным, — ответила Зинаида Семеновна.

— Не совсем понимаю, — призналась Мира.

— Сейчас объясню. Моя мать еврейка, а отец русский. Он давно умер.

— Вот уж, признаться, никогда бы не подумала, — удивилась Мира, — что у вас мать еврейка.

— Не похожа? — весело рассмеялась Зинаида Семеновна.

— Ничуть!

— Вот и прекрасно! Но я говорю, — подчеркнула она, — что мать еврейка.

— А вы?

— Я — русская.

— Этим вы меня совсем огорошили. Как же так?

— А очень просто. У нас каждый волен выбрать ту национальность, которая ему желательна. Когда я полу-

чала паспорт, я попросила записать меня русской. Это мое право, тем более что мой вид, мое имя, мой язык...

— Но одно дело — право, — сказала Мира, — другое — как им пользоваться.

— А чего мудрить? — возразила Зинаида Семеновна. — Я имею право, и я им пользуюсь.

— Но это не так просто, — после некоторого раздумья ответила Мира. — Как вы можете записаться русской, если ваша мать еврейка?

— Но я так хочу!

— А почему, собственно, вы так хотите?

Теперь наступил черед задуматься Зинаиде Семеновне. От непривычного напряжения над ее тоненьким носиком наметилась складка.

— Так проще, — сказала она.

— Что проще?

— Жить.

— А если бы вы записались еврейкой?

— Понимаете, — засмеялась Зинаида Семеновна, — евреи — это такой народ...

— Какой народ?

— Всегда с ним что-то неладно...

— Как это понимать?

— Ну вот, я плохо знаю историю, но кое-что мне известно. Еще в давние времена в Италии, Испании евреев преследовали. Об этом много пишет Фейхтвангер. До революции в России евреи имели право жить только в определенных губерниях. Об этом можно прочесть у Шолом-Алейхема. Петлюра, Деникин, Махно и прочие учиняли еврейские погромы. Об этом родители мне рассказывали. Гитлер вовсе вознамерился истребить всех евреев и много в этом преуспел...

— Да, но все это было в прошлом! Понимаете, в прошлом!

— Почему вы иронизируете? — зло выкрикнула Зинаида Семеновна. — Можно подумать, что вы хвастаетесь тем, что вы еврейка!

— Нет, не хвастаюсь, — ответила Мира, — это было бы глупо. Но и не стыжусь — это было бы подло. У нас в стране никому не дано повода стыдиться своей национальности.

— А почему, по-вашему, евреи едут в Израиль?

Мира посмотрела на собеседницу, не сразу уловив связь между тем, о чем шла речь, и этим ее вопросом.

— Есть разные евреи, — ответила она. — Некоторым

из них, может быть, снится большой бизнес, и они полагают, что там его смогут делать.

— Но туда едут и евреи-ученые, люди искусства.

— А эти, — что же, эти собираются делать тот же бизнес, но на науке и искусстве.

Помолчав, Зинаида Семеновна спросила:

— А вас, Мира Ефимовна, скажите правду, не тянет туда?

— Куда?

— В Израиль.

Мира долгим взглядом посмотрела на собеседницу и сказала:

— Я вам отвечу словами моего отца.

— Кто ваш отец?

— Простой человек. В войну был солдатом. Теперь работает мастером на заводе. К тому же не любит много говорить. Так вот, на этот вопрос, когда ему его задали, он ответил очень коротко.

— Как?

— «Все на свете можно заменить, кроме Родины и матери».

— А я бы поехала! — с какой-то залихватской беспечностью воскликнула Зинаида Семеновна.

— Вы? Но что вы-то стали бы там делать?

— А что?

— Вы же русская.

— А там мы это как-нибудь опять бы переделали! — тем же тоном ответила Зинаида Семеновна. — Мои родители еще пока не решили, но они уже собираются.

— Кто ваши родители?

— Это имеет значение?

— Нет, просто интересуюсь.

— Отчим заведует фармацевтическим складом. Мать — косметичка.

— И они собираются ехать? — спросила Мира. — Не думаю, что их ожидают там большие блага.

— А вы бы ни за что не поехали? — еще раз спросила Зинаида Семеновна.

— Как видите, — ответила Мира, — я еду на Дальний Восток. Он мне ближе.

Зинаида Семеновна вдруг поднялась, запахнула на себе цветастый халат, подхватила полотенце, мыло, зубную щетку.

— Пойду умываться.

— Поторопитесь!

— А что?

— Скоро большая станция, закроют туалет!

Выйдя из купе, Зинаида Семеновна увидела Васю. Он читал на откидном стуле у окна.

— Бедный мальчик, — слегка коснулась она его белесого чуба, — ведь вы давно уже могли войти. . .

11. ВСЕ НОРМАЛЬНО

Экспресс шел по территории Еврейской автономной области. Позади остались ворота области — станция Облучье, где с высокой горы вокзал горделиво взирает на широко раскинувшиеся железнодорожные пути вниз. Проехали станцию Известковую с большим известковым заводом, который выглядел карликово-малым у подножия огромной заснеженной сопки. Промелькнули три дымящиеся трубы Теплоозерского цементного завода, исчезли вдаль мраморные сопки за Бираканом.

До Биробиджана осталось ехать считанные часы.

У окна, где все эти дни привыкли видеть капитана Лаутина и Надю, девушка теперь стояла одна. Он сошел раньше. Она накинула на себя пальто и тоже выскочила на перрон. Широко улыбаясь, он подал ей руку, и она вдруг припала головой к его шинели и на миг ощутила у себя на волосах его ладонь. Ее душили слезы, и она ничего не могла сказать. Он, кажется, все понял. . .

— Не тушуйся, Надюха, — грубовато сказал он, — жизнь — штука серьезная. Держись!

Она некоторое время еще смотрела ему вслед, пока он уходил, затем вернулась в вагон. И вот она едет одна. Ехать осталось ей недолго. А жить? . .

Она вошла в купе, где все еще было полно его живым дыханием. На книгу, которую так и не дочитала, «Голубая моя планета» Германа Титова, — положила чистый листок.

«Натка, — писала она, — он сошел. Скоро вот будет третья станция без него. . .»

Шариковая ручка застыла над чистым листом. В глазах у Нади стояли слезы.

Вася читал на откидном стуле у окна. Он закрыл книгу, поднялся, выглянул в окно. Вдруг он почувствовал, что глаза у него становятся влажными, и сам удивился — отчего? Умер Обломов. Но тот и при жизни был мертвецом. И все же. . .

Осторожно открыв дверь, Вася вошел в купе. Зинаида

Семеновна, умытая, пахнувшая тонкими духами, у себя на постели обрабатывала пилочкой длинные розовые ногти. Мира Ефимовна тяжело дышала, лежа на постели.

Вася склонился над нею:

— Мира Ефимовна...

— А?

— Умер Обломов.

— Что?

— Обломов умер, — повторил он и в страхе вдруг отшатнулся.

Глаза у беременной стали огромными, она с трудом прохрипела:

— Уйдите... Уходите же! У...

Он не успел, выбегая, прикрыть за собой дверь, как его настиг страшный, наполненный неимоверной болью крик, и спустя мгновение крик этот повторился...

Побледневшая, выбежала Зинаида Семеновна, схватила Васю:

— Скорее! Через вагон с биробиджанцем едет профессор...

Васю как ветром сдуло. Через несколько минут он вернулся с Абрамом Лазаревичем и профессором. Это был очень высокий старик с густой, как бы присыпанной инеем шевелюрой и жесткой щеточкой усов над прямой линией упрямо сжатого рта.

Профессор скрылся в купе.

Бледная, испуганная, прибежала Надя. Сбежались пассажиры из других купе. Криков больше не слышать было. Томительно тянулись минуты.

Наконец вышел профессор.

— Ничего страшного, — сказал он. — Все нормально. Начались родовые схватки...

— Что же делать? — забеспокоились пассажиры.

— Роженицу надо снять на ближайшей станции.

— Какая ближайшая станция?

— Биробиджан.

— Какое счастье!

— Отыщите начальника поезда. Пусть немедленно передаст, чтобы в Биробиджане встречала «скорая». Ну, а если можно, передать родным...

Вася исчез.

— А не может случиться, профессор, что еще до Биробиджана... — заикнулась было Зинаида Семеновна.

— Нет, не может, — резко ответил профессор и, глядя на нее, осекся. Что за красотища! Как же он раньше ее

не заметил? «Но детей не рожала, — определил он тут же, — делала аборт».

Чуть мягче добавил:

— Так быстро сие не делается.

Он глянул на часы:

— До Биробиджана остался час... час десять минут.

А это обычно продолжается дольше...

Из купе снова донесся крик. Все стоявшие у дверей вздрогнули. Абрам Лазаревич умоляюще взглянул на профессора:

— Сделайте что-нибудь, Александр Иванович!

— Тут ничего не поделаешь, — развел тот руками. — Природа... Наша с вами партия, Абрам Лазаревич, видно, останется неоконченной. А жаль... У моей королевы отличная позиция...

Александр Иванович снова вошел в купе. Зинаида Семеновна подалась за ним, но он вежливо остановил ее:

— Пока не надо. Доверьте это мне: мой хлеб...

По всему экспрессу быстро разнеслось, что в шестом вагоне у беременной женщины начались родовые схватки.

— Так я и знал! — сказал Лев Маркович Гнезин своему коллеге Савелию Кузьмичу, в купе которого сидел, — так и знал...

— Вам повезло, — заметил Савелий Кузьмич, — что это не случилось ночью, когда вы там...

— О, это было бы ужасно!

— Зато, — утешал его Савелий Кузьмич, — в Биробиджане вы сможете занять ее место.

— Ни за что! Несколько часов, что останутся до Хабаровска, я проеду с вами...

— Как вам будет угодно...

До чего же ему в этой поездке не повезло...

Лев Маркович и Савелий Кузьмич какое-то время говорили еще по поводу случившегося и пошли в ресторан.

Вася Петров обо всем договорился с начальником поезда и теперь стоял в коридоре у окна.

Какие страшные были у нее глаза... И вдруг: «Уходите!..» Видно, из нее уже рвался крик, но она его из последних сил сдерживала, пока он, Вася, не уберется. Что за выдержка... И все-таки нет-нет, а кричит... Видно, это сильнее ее. Рождаются люди. Тысячи людей ежедневно являются на свет... Родился и он... Но никогда не думал о том, каких это стоит мук. Странно: наслаждение и боль — у истоков человеческого бытия. Наслажде-

ние испытывают двое, а боль — женщина одна... Одним этим заслуживает она вечного преклонения...

Впервые в жизни пришли эти мысли к Васе Петрову теперь, когда, стоя у окна, он слышал крики, время от времени вырывавшиеся из закрытого купе.

В одном месте поезд так круто повернул, что Вася увидел впереди длинный зеленый тепловоз и первые вагоны, увидел, как поспешно он тащит их за собой, как бы желая, чтобы как можно скорее и лучше свершилось то, что должно свершиться...

12. ЭКСПРЕСС СЛЕДУЕТ ДАЛЬШЕ

В Биробиджан экспресс прибыл вечером. Кружила пурга. В свете прожектора снежная пыль взметалась высоко к фронту вокзального здания, то закрывая, то вновь открывая русские и еврейские буквы названия — «Биробиджан».

Не успел поезд остановиться, как в шестой вагон вошли два рослых санитаров в белых халатах поверх пальто, с носилками. Мира, уже одетая для выхода, в платке поверх шапочки, в каком-то забытии полусидела, полулежала на своей полке, поддерживаемая с одной стороны профессором, с другой — Зинаидой Семеновной.

Когда ее выносили из вагона, она виноватым взглядом простилаась со всеми: «Не дотянула... Доставила столько хлопот...» Хотела что-то сказать, но не смогла. Ее опять одолела боль, правда, не такая сильная, и она смогла задержать в себе крик, прикусив нижнюю губу...

На перрон сошли также профессор, Зинаида Семеновна в накинутом на плечи котиковом мантии. Вася снес два тяжелых чемодана. К носилкам сразу кинулись молодой мужчина в коротком пальто и ушанке — Миша — и низенькая, полная женщина — его мать.

Взволнованный, растерянный от случившегося (не такой он представлял себе эту встречу), Миша низко поклонился к носилкам:

— Мира, что ты... как?

Она нашла в себе силы ему улыбнуться.

Мать заплакала.

Санитары подняли носилки и поспешно пошли с ними к выходу с перрона, где ждала машина «скорой помощи».

Зинаида Семеновна вернулась в вагон.

Абрам Лазаревич попрощался с профессором.

— Мы еще когда-нибудь сыграем с вами в шахматы! — сказал ему тот, стоя в тамбуре.

Вася догнал уходящего Абрама Лазаревича:

— Одну минутку. Ваш адрес...

— Пожалуйста! Зачем?

— Я вам напишу с Камчатки. А вы мне сообщите, как тут все кончилось, хорошо?

— Понимаю. Записывайте.

Вокзальное радио объявило об отходе поезда.

— Я запомню.

— Чапаева восемь, квартира пятнадцать.

— Спасибо!

Поезд тронулся. Вася посмотрел в ту сторону, где скрылись санитары с носилками, Миша и его мать, и вскочил в вагон.

— Как бы вы не простудились, — сказал он в тамбуре профессору.

— Такому старому хрычу, как я, — ответил тот, — уже ничего не страшно. А вам, молодой человек, не мешало бы что-нибудь надеть.

— Как вы думаете, профессор, — спросил Вася, — с роженницей не случится худого?

— Все будет в порядке, она здоровая женщина, можете не сомневаться.

— А то, что началось в пути, в поезде?

— Это не имеет значения. — Профессор задумался и сказал: — В такое время живем: умирают, рождаются — все на ходу. — И добавил: — На полном ходу! — Тут же спросил: — Играете в шахматы?

— Нет.

— Жаль. У нас осталась неоконченная партия...

Он ушел к себе в вагон.

Вася постоял у окна, глядя в ту сторону, где в метельном вихре маячили огни Биробиджана. Затем он открыл дверь в купе. На своей постели, приклонив голову к вагонной стенке, сидела Зинаида Семеновна, и из ее больших, широко раскрытых серо-голубых глаз катились по бледным щекам крупные слезы.

Он опешил, не зная, оставаться ему или бежать.

— Что, — не меняя позы, спросила Зинаида Семеновна, — в первый раз видите, как плачет баба?

— Но вы...

— Что я? Думали, я только веселюсь и гуляю, да? Прожигаю жизнь! Эх вы...

— Я вижу... — пытался Вася что-то сказать.

— Что вы, мужчины, можете видеть? На вершок вглубь, не более... А что помимо этого — не ваше дело...

— Я понимаю, — сказал Вася, — вам жаль Миру Ефимовну? Вы думаете, с ней может быть худо? Или с ребенком?..

Зинаида Семеновна улыбнулась:

— Ну и чудак же вы, Вася...

Она наклонилась к нему:

— Мира Ефимовна лежит теперь в светлой палате, вокруг нее врачи и сестры. Еще до полуночи на белоснежной простынке ей поднесут такого крикуна... «Жаль Миру Ефимовну»... Чудак!

У Зинаиды Семеновны вдруг скривились губы, и она закрыла лицо. Вася понял: она плакала из жалости к себе.

Он вышел в коридор. Долго простоял у окна и думал о том, что, как только прибудет на место, напишет Абраму Лазаревичу. Тот ему обо всем сообщит. «Все будет в порядке», — сказал профессор. Она очень хотела сына. Возможно, так и будет. Он, Вася, напишет Мире Ефимовне маленькое письмецо, поздравит ее и мужа с новорожденным. А когда она выпишется из больницы, ответит ему. Почему бы ей не ответить ему?

В другом конце вагона у окна стояла Надя. Кроме их двоих в пустом коридоре никого не было. Сбивчивым шагом — вагон швыряло на ходу — Надя подошла к Васе, стала с ним рядом.

— Грустно, — сказала она.

— Да, — ответил Вася.

Помолчали.

— Закончили «Обломова»? — спросила Надя.

— Осталось несколько страниц.

— И я не дочитала свою книгу.

— Какую?

— «Голубая моя планета» Германа Титова.

В окно глядела непроглядная темень, и оконное стекло возвращало им расплывчатые отражения их собственных лиц.

Вскоре вновь появились огни. Они быстро наплывали, исчезали и вновь наплывали, и сопровождаемый ими экспресс в клочья рвал метельную зимнюю ночь.

ПРИВЯЗАННОСТЬ

1

Старший экономист Исаак Маркович Малкин на работу в этот день опоздал, и было это на него совсем непохоже. Вот уже много лет изо дня в день в любую погоду являлся он минута в минуту, так что по нему можно было устанавливать часы. И повел он себя на этот раз тоже не так, как всегда.

Обычно, появившись на пороге, он на минуту останавливается и с высоты своего большого роста прищуренно-улыбчивым взглядом зеленоватых чуть выпуклых глаз из-под сросшихся мохнато-черных бровей окидывает сотрудников и произносит свое «здравствуйте» так, что в каждом слове чувствуются вся доброта и благожелательность, заключенные в этом слове. Затем он медленно проходит к своему столу у высокого окна. Тут он неторопливо усаживается и принимается за бумаги. Часть из них извлекает из принесенного с собой портфеля, часть из ящиков стола. Аккуратно разложив их в пужном порядке, он из светлого футляра вынимает очки без оправы с позолоченным переносом и дужками, протирает их снежно-белым платочком и кладет на стол. Затем ставит перед собой массивные счеты с ярко отблескивающими костяшками и, приготовившись к началу работы, откидывается на спинку стула и добродушно спрашивает:

— Ну, что же нового на белом свете?

Сие означает: работа не убежит. Ничего, мы с вами не новички в своем деле, наверстаем упущенное.

Непосредственно вопрос этот обращен к старшему бухгалтеру Макару Михайловичу, восседающему за своим массивным столом у другого окна. Макар Михайлович каждое утро покупает свежую газету и перед началом работы знакомится с последними новостями. На вопрос Исаака Марковича обычно он не отвечает. Лишь выставит на миг свою глянцево-отполированную лы-

сину и тут же спрячет ее за развернутой газетой. На заданный вопрос Исаак Маркович отвечает сам. Он внимательно слушает утренние известия по радио и наиболее важными из них любит поделиться с сотрудниками, добавляя иногда свой комментарий. Случается, что при этом возникает небольшая дискуссия между ним, Исааком Марковичем, и калькулятором Семеном Лазаревичем Миронкиным, сидящим напротив. Это маленький худой и очень подвижный человек. Даже когда он спокойно сидит на месте, что бывает чрезвычайно редко, кажется: не только он сам, но и стол, и стул, и часть комнаты вокруг него прыгают, дергаются, кружатся во все стороны вместе с ним... И было у него обыкновение: какую бы сногшибательную новость ни услышал, он ударял себя в тощую грудь и кричал:

— А я что говорил? Я давно говорил, что именно так и будет.

Исааку Марковичу слышать это было досадно, и он доказывал Миронкину, что ничего подобного тот никогда не говорил, не мог говорить и что вообще говорит он всегда только о том, что уже известно из вчерашних, а то и позавчерашних газет...

Расправившись таким образом со своим оппонентом, Исаак Маркович принимался за работу.

Так — всегда.

На этот раз все было по-иному. Начать с того, что Малкин опоздал. На пороге не задержался, не обвел прищуренно-улыбчивым взглядом сотрудников, не поздоровался. С некоторой опаской и как бы чего-то стыдясь — это так было на него непохоже, — он, едва заметно кивнув, почти побежал к своему столу. Тут, выхватив из футляра очки и не протерев, надел их на переносицу и сразу принялся что-то прикидывать на счетах, как бы торопясь тут же распутать какой-то крайне запутанный счет...

Сотрудники ждали, что Исаак Маркович сейчас оставит счета и своей спокойной улыбчивой интонацией поведаст им какую-нибудь из услышанных им утром по радио новостей. На сей раз ожидания их не оправдались. Им показалось, что Исаак Маркович утерял что-то из своей обычной степенности и спокойной уверенности во всем, что говорит и делает. Это бросилось всем в глаза, кое-кого удивив, а кого-то и обеспокоив.

Первым, по обыкновению, среагировал калькулятор Миронкин. От удивления он глубоко вдвинул голову в остро торчащие плечи, а на лице его растянулась широ-

ченная улыбка, и он еле удержался, чтоб не выпалить что-нибудь такое, чего он сам потом никак не мог бы объяснить...

Старший бухгалтер Макар Михайлович узкой ладонью потер свою глянцевито отполированную лысину, продолжая просматривать газету, и было неясно, что означал этот жест, имелся ли в виду Исаак Маркович или какая-то из только что вычитанных новостей.

Машинистка, Мария Леонтьевна, уже немолодая тихая женщина, — она сидела в глубине комнаты, так, чтобы свет из двух высоких окон падал на матово отблескивающие клавиши ее старенькой «Олимпии», — удивленно переглянулась с секретаршей. Та, совсем еще юная полненькая девушка (за постоянную готовность по любому поводу взорваться громким смехом ее прозвали Ритой-хохотушкой), ответила немым взглядом, который означал: «Да, вижу. И что бы это могло значить?»

Первым не выдержал Миронкин. Стремительно, опрокинув под собой стул, подскочил он к старшему экономисту:

— Что случилось с вами, Исаак Маркович?

Тот медленно поднял голову — в темной густой шевелюре белели первые седины — и сквозь необрамленные очки уставился колючим взглядом на пылкого коллегу:

— А что, собственно, вас интересует?

— Я вижу ведь, что...

— Нет, нет, ничего не случилось, — не дал Малкин ему договорить. Тон его был отчужденно-холоден, и Миронкин так же стремительно, как только что подскочил, подался назад и чуть не упал, наткнувшись на им же опрокинутый стул.

За своим массивным столом старший бухгалтер еще раз потер свою лысину и отложил газету. Мария Леонтьевна снова переглянулась с молодой секретаршей. Та высоко подняла свои полные плечики и громко промолвила:

— Странно!

Это действительно было странно. Обычная вдумчивая сосредоточенность Исаака Марковича, проявлявшаяся в неспешной походке, в манере говорить немногословно и веско, в добросовестном отношении к работе, — все это давно известно было сотрудникам, как и щепетильная аккуратность его в одежде. И сегодня на Исааке Марковиче безукоризненно сидел отлично выглаженный легкий светлый костюм с тщательно отутюженной стрелкой на брюках. Это следствие внимания к нему дочерей. После

того как несколько лет тому назад умерла его жена, их мать, они как бы вступили в негласное соревнование — кто проявит больше внимания к отцу. И это тоже, наверное, придавало старшему экономисту Малкину спокойную уверенность человека, у которого все беды остались в прошлом.

Принялись за работу. Было жарко, на окна опустили темные шторы. Через их разреженную ткань, как сквозь сито, просеивалось солнце. В жаркой полутьме выделялись светлый костюм Исаака Марковича у одного окна и лысина Макара Михайловича у другого. Работали с привычной неторопливой уверенностью. Внутреннее спокойствие этих людей, хорошо знающих свое дело, защищало их от всех беспокойств мира, как защищали их темные шторы от уличного зноя.

У Риты родителей не было, воспитывалась она в детском доме. По окончании школы пыталась поступить в медицинский институт, но не прошла по конкурсу, вот и работает пока техническим секретарем. Одна из причин, что держится тут, состоит еще и в том, что здесь обрела она и отца, и мать. Правда, ни «отец», ни «мать» об этом даже не догадываются, но это так. Вообразить себе двух этих совершенно разных людей мужем и женой никак невозможно, однако что из того? Для нее, Риты, он — отец, она — мать. Знает об этом она одна? И что же? Для нее этого вполне достаточно.

Отец — Исаак Маркович.

Мать — Мария Леонтьевна.

Да.

И может ли Рита оставаться спокойной, когда с ее отцом, видно, что-то произошло, а что — неизвестно. И все же долго не могла решиться, спросить или нет. Наконец не выдержала:

— Вы сегодня так странно выглядите, Исаак Маркович. . . Что случилось?

Миронкин воспринял этот вопрос как сигнал к тому, что и он может вмешаться.

— Исаак Маркович, — вскочил он с места, — может быть, у вас испортилось радио и вы сегодня не слышали последних известий?

— Ничего не случилось, Риточка, — тихо ответил девушке Исаак Маркович и несколько громче Миронкину: — Радио у меня в порядке, последние новости слышал. — Сказано это было таким тоном, чтобы всем стало

ясно: радионовости к его сегодняшнему состоянию никакого отношения не имеют.

— И все же какие новости? — не унимался калькулятор.

Чрезмерная подвижность, горячность этого человека давно претили Исааку Марковичу. Он только выразительно взглянул на него, ничего не ответив. Рита подосадовала на это. Она не прощала людям никаких грехов, великим же грехом в ее понимании было знать что-то новое и ни с кем не поделиться.

— Почему же вы молчите? — надулась она.

Исаак Маркович снял очки, положил их на стол, коротко взглянул на Риту, как бы выговаривая ей, посмотрел в сторону Марии Леонтьевны, чьи гибкие пальцы порхали по клавиатуре «Олимпиады», вовсе обошел взглядом Миронкина и медленно, тихо произнес по-немецки:

— Ничего нового нет.

Все знали: на войне Малкин был разведчиком, затем, после ранения, работал переводчиком при штабе полка. Он и теперь еще нет-нет и подбросит в разговоре немецкое словцо. Это и теперь никого не удивило. Удивляло другое — его упорное молчание, хотя все видели: что-то случилось.

Несколько позже Рита, как бы ненароком очутившись около машинистки, незаметно ей шепнула:

— Но почему он молчит?

Мария Леонтьевна как раз вставила новый лист и тут же напечатала для Риты: «Да, это странно, очень странно». Затем лист этот вынула и вставила новый.

До конца рабочего дня Исаак Маркович так никому ничего и не сказал. После работы — и это тоже было необычно — он не пошел домой. Ему надо разобраться в смете, пояснил он, которую надо представить начальству к завтрашнему утру.

И вот он сидит один в опустевшем служебном помещении. На столе перед ним смета, но он в нее и не заглянул. В глубокой задумчивости барабанил пальцами по столу, устремив неподвижный взгляд на противоположную стену. Углубившись в свои мысли, не услышал, как вошла уборщица. Заметил он ее, когда она уже стояла над ним с каким-то листком в руке.

— Может быть, этот листок вам нужен? — спросила она.

— Это ведь чистый лист, — удивился он, — для чего вы мне его даете?

— Нет, тут что-то напечатано, — возразила уборщица, полная пожилая женщина пенсионного возраста, и, продолжая орудовать шваброй, не переставала довольно громко говорить то ли с Исааком Марковичем, то ли с самой собой: — Смотрю, валяется лист. Хотела выбросить, но взглянула, а на нем — буквы, что-то пропечатано. Не шибко грамотна я, в молодые годы не до учебы было, но знаю: печатают неспроста... Раз напечатано, значит, нужно...

Исаак Маркович оставил листок на столе. Позже, когда уборщица уже ушла, он рассеянным взглядом прочел: «Да, это странно, очень странно...» Ничего не поняв, отложил листок в сторону, уставившись неподвижным взглядом в стену напротив. Вдруг ему показалось, что на этой стене он увидел как бы крупно отпечатанные те же слова:

«Да, это странно, очень странно...»

2

Странно... Ничего подобного в жизни ожидать он не мог. И в мыслях никогда подобного не было. И поди знай, что главной виновницей окажется она, старшая пригожая дочь его, Римма. Обычно больше любви перепадает младшим детям, у них же в семье наоборот. Даже когда на свет появилась вторая дочь, Мира, затем и третья, Маша, обе тоже милые и славные, любимицей и у него, и у матери все же осталась старшая. С малых лет было в ней что-то такое, что влекло к ней всех, кто ее знал.

Белла, жена, говорила о Римме:

— Она дана в великое утешение за все, что нам пришлось испытать.

Испытать же довелось им немало — во время войны. В начале ее было ему восемнадцать, а ей семнадцать лет. Со школьной скамьи — в огонь. Война — кого губит, кого закаляет. Их — закалила. Кого разлучает, кого сводит. Их — свела. Он был разведчиком, долго ходил по самой грани жизни и смерти, пока не ранило. Рана была тяжелая, и после излечения он больше в разведку ходить не мог. Остался при штабе полка переводчиком. Она при том же штабе была радисткой. Так узнали друг друга. Был между ними уговор: останутся в живых — будут вместе. И верили, и не верили, что такое возможно. Уцелели, но уже перед самым концом войны их разбросало по

разным фронтам и они потеряли друг друга. Он очутился в Маньчжурии, она еще некоторое время оставалась в Германии. Отыскивали друг друга года полтора после окончания войны, и две чудом уцелевшие жизни сплелись вместе. Вскоре родилась Римма. Тогда-то Белла и сказала:

— Она нам дана в великое утешение за все, что нам привелось испытать. . .

Потом родилась Мира. Ей до сих пор неизвестно, что своим появлением на свет она обязана тому, что ее родители хотели сына. . . По той же причине появилась и Маша. . .

Больше детей у них не было.

Дочери росли. Не могли на них нарадоваться отец с матерью — и когда те ходили в детский сад, и когда стали школьницами, а со временем и студентками. Но до студенческих забот и радостей мать не дожила. Заявила о себе старая рана, и бывшая радистка скончалась, не дожив до сорока пяти лет. . . По-разному раздумывая потом об их жизни, пришел как-то Исаак Маркович к такой мысли: попади осколок, который все эти годы торчал у жены в теле около самых легких, парой миллиметров глубже, тогда сразу конец. . . Но вот в эти без малого два десятка лет, прошедших с той минуты, когда Беллу ранило, и до того часа, когда случилось непоправимое, — в них уложился огромный кусок жизни и все их счастье. . . Какое-то утешение в этой мысли было, однако не такое, что могло бы облегчить утрату. . . Он больше ни с кем не сходил, знал: другой Беллы ему не найти, и еще: сойтись с другой женщиной означало бы — так он это понимал — предать дочерей, а этого он не хотел и не мог сделать.

Буря отламывает ветвь от дерева, а оно продолжает расти. . .

Так и шло оно, пока. . .

Ни понять, ни постичь он не мог, откуда вдруг нагрянула беда, с какой стороны подкрадывалась, чтобы схватить его за горло. . . А виновата во всем была Римма.

С малых лет влекла она к себе тихим нравом, нежностью, добротой. Но — странное дело — чем больше выросла она и вместе с нею росли ее достоинства, тем менее замечали их те, кто должен был замечать, — молодые люди, с которыми она училась, трудилась, проводила время. «Что стало с нынешними молодыми людьми? — недоумевал отец. — Кого они ищут и что им еще надо, если на такую, как Римма, не обращают внима-

ния? «Правда, в отличие от своих младших сестер, она не была модницей. Юбка — чуть ниже колен, никаких мини или макси. Брюки у нее были, но она нечасто их надевала. Ни одной пары джинсов. Не курила. Не боялась признаться, что не понимает, чем привлекают пластинки с зарубежными шлягерами, в которых хриплый клетот, полузадушенный шепот или дикие вопли выдаются за пение. Неужто именно это и отдалило от нее молодых людей? Возможно. Как бы то ни было, Римма после окончания института уже несколько лет проработала в одной лаборатории, но счастья, того счастья, которого желал отец для своей пригожей дочери, не было. Не раз он с горькой усмешкой вспоминал старый анекдот о девушке и женихе: в восемнадцать она спрашивает: «Кто он?» В двадцать: «Что он?» В двадцать пять: «Где он?» Римма уже была в том возрасте, когда спрашивают: «Где он?»

И вдруг оказалось, что он — рядом. Работал в той же лаборатории. Научный сотрудник, светлая голова — так все о нем говорили. В двадцать семь лет — кандидат физико-математических наук. И внешнестью взял: выше среднего роста, спортивно подтянут, любитель острого словца. Почему долго не женился? Единственный сын у хорошо обеспеченных родителей. Отец — директор продуктового магазина, мать — врач: живет он на всем готовом, чего ему не хватает? К чему заводить семью, обременять себя хлопотами и заботами? Ему и так неплохо. Такое теперь наблюдается нередко. К тому же он все время учился — после школы институт, аспирантура. Но вот он уже кандидат наук, у него неплохая должность, приличный оклад, и родители стали поторапливать: пора подумать о женитьбе, им хочется еще и внуков понянчить. . . Что, хороших девушек мало? Пусть хорошо приглядится — и наверняка найдет такую девушку у себя же в лаборатории. . . Он присмотрелся и нашел. Римму. Вот уже несколько лет работают вместе, здороваются при встречах, иногда перекинутся парой слов, но только теперь вдруг по-новому открыли и нашли друг друга.

У его родителей радость была велика. Римма им понравилась, да и могло ли быть иначе? Жених понравился Исааку Марковичу — молодой ученый, славный малый, с перспективой. Правда, после одной-другой беседы с ним Исааку Марковичу не совсем было по душе то, что его будущий зять, рассказывая о своей работе, слишком уж выпячивает себя и с явным пренебрежением говорит

о своих коллегам: что, мол, они понимают? Вот он... Но подумал: человек еще молод, поэтому излишне самоуверен. Со временем он этот недостаток изживет, найдет правильную меру при оценке того, что делает он и что — другие.

Вскоре сыграли свадьбу. Через год родился ребенок, мальчик.

А что такое счастье? Разве не об этом мечтали в те дни, когда со всех сторон подстерегала смерть? Не об этом — в первые трудные годы после войны? Одно лишь это счастье омрачало — Белла до него не дожила...

А дальше... Дальше и началось то неожиданное и непостижимое, чего Исаак Маркович до сих пор не мог себе уяснить. Началось с мелочей, которым вначале он не придавал значения. Раз-другой Римма пришла какая-то не такая, как всегда, какая-то странная, как будто что-то скрывающая. Мало ли что, подумал он, молодая пара, чего в семье не бывает? Повздорили, помирятся...

Однажды Римма явилась в слезах. На его вопросы — никакого ответа. Затем он стал замечать, что Римма становится все мрачнее, и решил от нее добиться: что происходит?

— Ничего, — ответила она.

— Эдик (так звали зятя) тебя обижает?

— Нет.

— А что же тогда?

— Ничего.

— Может быть, он стал выпивать, расскажи.

— Нет.

— Может, в карты играет?

— Нет.

— Может быть, неприятности на работе?

Да, ответила она, с этим не все ладно. Освободилось место руководителя сектора, Эдик рассчитывал на это место, но досталось оно другому.

— Понимаешь, другому! — сказала Римма тем недовольным тоном, каким это сказал бы сам Эдик. — А тот до этого места еще не дорос.

«Так говорит Эдик», — подумал отец и спросил:

— А если, наоборот, допустить, что не тот, а Эдик не дорос?

— Эдик не дорос? — возмутилась Римма.

— Что же ты думаешь, что лучше и умнее твоего Эдика нет никого на свете?

Она смутилась.

— Нет, я этого не думаю, но Эдик говорит...

— Мало ли что Эдик может иногда сказать... — Он провел ладонью по ее волосам. — То, что ты заодно со своим мужем, хорошо. Но жена должна уметь, когда в этом есть необходимость, предостеречь от неверного мнения, ошибочного поступка.

— Боюсь, что этого я не сумею, — ответила Римма.

— И поэтому ты в последнее время так удручена?

Вдруг она с плачем припала к его плечу.

— Ой, папа, если бы ты знал...

Он растерялся.

— Может быть, тут замешана женщина? Скажи...

— Может быть.

— И ты говоришь об этом так просто?

Она заплакала еще сильнее.

— Папа, ты ничего не знаешь. И лучше, чтобы не знал. Лучше бы и я об этом ничего не знала...

— Что же случилось? — спросил он вне себя от беспокойства.

После долгого молчания Римма подняла заплаканные глаза на отца и произнесла:

— Все грехи, которые, папа, ты перечислил и которых опасался, — ничто в сравнении с тем, что на самом деле...

И она ему рассказала. Уже долгое время Эдик связан с людьми, которые собираются покинуть страну и выехать... Куда? В Израиль... И он — с ними.

— Эдик? В Израиль?

— Да, папа.

— Зачем он понадобился Израилю? И зачем Израиль нужен ему?

— И я хотела бы это знать.

— И что же он?

— Не спрашивай!

— Чем ему плохо здесь?

— Не знаю.

— Но все-таки?

— Первое время он не говорил мне, где пропадает по вечерам. Потом раз, другой привел меня в свою компанию.

— И что же?

— Не спрашивай, папа, я такого там наслушалась...

— Чего же именно?

— По их словам получается, что Израиль и есть наша настоящая родина...

— Как же это понимать? Там, где мы ни разу не дневали, не ночевали, — родина? А земля, на которой родились и выросли, это что?

— Так, папа, у них получается...

— А ты, доченька, как считаешь?

— Я считаю, что это предательство

— И ты им так и сказала?

— Да.

— А они?

— Не спрашивай! Сразу на меня ополчились — и Эдик первый. Предательницей, по их мнению, оказываюсь я...

Римма снова заплакала.

— Я немедленно должен поговорить с Эдиком, — сказал отец.

— Не поможет, папа.

— Почему ты так думаешь?

— Знаю.

— Но это мой долг.

Он знал: некоторые евреи выезжают за рубеж. Среди его близких, знакомых, родных таких не было. Первым должен был стать зять, и Исааку Марковичу интересно было узнать, чем тот мотивирует свое желание. Перед ним самим, Исааком Марковичем Малкиным, вопрос этот никогда не стоял. Что значит, думал он, выехать туда? Куда туда? И — зачем? У него не укладывалось в голове, как это вдруг решаются покинуть землю, на которой ты родился и в которой поконится прах твоих дедов и прадедов... Землю, на которой стояла твоя колыбель, где ты играл в свои детские игры и пережил первую любовь... Землю, за которую ты пролил свою кровь, обороняя ее... И куда ехать? В страну, где невесты когда, тысячелетия тому назад, жили древние предки, но где теперь все чуждо тебе. Страна, из которой, для того чтобы поселить вновь прибывших, изгоняют с родных мест людей, испокон веку живших там... При этом твердят еще о каком-то национальном достоинстве... В чем же оно должно состоять? Неужто в преследовании других? И кто это должен делать? Евреи, которые сами на протяжении веков преследовались и изгонялись? Нет, национальное достоинство еврея скорее всего состоит в другом — чтобы вместе со всеми народами содействовать устройству такого порядка в мире, при котором никто никого преследовать не будет...

Так думал об этом он, Исаак Маркович. Но что думает его зять? В одном он был уверен: тот не ищет возможности делать бизнес, как некоторые. Чего же он ищет?

Пришел он к дочери и зятю вечером, после работы. Они жили в кооперативной квартире. Он же вместе с родителями Эдика и приобрел ее для молодых. Его доля была приданым за дочь, а доля сватов — их свадебный подарок. Квартира была обставлена наимоднейшей мебелью, купленной не без участия «предков».

Римма укладывала спать ребенка. Эдик в мягком кресле в гостиной у журнального столика, положив ногу на ногу, с кем-то увлеченно беседовал по телефону. Вошедшему тестю слегка кивнул, не поднимаясь, и указал на кресло напротив, продолжая разговаривать. Говорил он на языке, непонятном для Исаака Марковича. В некоторых словах тот улавливал нечто знакомое, но звучали они так необычно, что оставались для него за семью печатями.

— Шалом! Шалом! — наконец проговорил Эдик и положил трубку.

— На каком языке ты разговаривал? — спросил тесть.

— Разве вы не поняли?

— Нет.

— Ничего не поняли?

— Ни слова.

— А я ведь говорил на нашем родном языке.

— Что у тебя значит «на нашем родном языке»?

— Иврит.

— С каких это пор, Эдик, иврит стал для тебя родным языком?

— С каких пор? Со дня моего рождения... С тех пор как появились наши с вами предки, иврит наш родной язык...

— Наш язык, хотя мы его не знаем?

— Почему же? Вот я не так давно стал изучать иврит и уже неплохо на нем изъясняюсь.

— С кем ты только что разговаривал, если не секрет?

— С приятелем, инженером из нашей лаборатории. Мы оба одновременно стали изучать иврит.

— Для чего?

— Как — для чего?

— Зачем это вам понадобилось?

— А затем, чтобы, когда приедем туда, не тратить время на всякие курсы и сразу получить должность.

— Скажи мне, Эдик, здесь у тебя плохая должность?

— Здесь?

— Да, здесь.

— Здесь это не там.

Исаак Маркович вдруг почувствовал, что у него слишком туго завязан галстук, он его немного распустил и повернулся к Эдику:

— Скажи мне вот что... Насчет выезда... Ты что, это решил уже твердо?

— Железно.

— А родители?

— Это их дело, как хотят.

— Тебе это безразлично?

— Сантименты теперь не в моде.

Исаак Маркович еще немного распустил галстук.

— Вот ты сказал: «Здесь это не там». Можешь ли ты объяснить, чем тебе плохо здесь и чем тебе хорошо будет там?

Эдик поднялся с кресла и взглянул на тестя сверху вниз.

— Как бы вам лучше это объяснить?

— Вот, вот, я хочу от тебя услышать: в чем тут дело?

— Дело тут в очень простой вещи, — сказал Эдик, странно растягивая слова, — я хочу стать свободным человеком.

— И там, стало быть, ты будешь таким свободным человеком? От чего же, скажи, ты хочешь быть свободным?

Эдик нагнулся к тестю, глаза его сузились, и он как-то хрипло зашептал:

— От привязанности. Я хочу быть свободным от привязанности на всю жизнь к одному и тому же месту... От необходимости слышать днем и ночью, что только это именно место для меня и я для него... Что только здесь моя доля, судьба и все прочее...

— Привязанность, ты говоришь, — тихо промолвил Исаак Маркович. — Хочешь быть свободным от привязанности? Ну да, если сам ты этой привязанности не чувствуешь... — Он поднялся и стал напротив зятя. — Скажи, как можно не чувствовать привязанности к месту, где ты родился, рос, живешь? Тебе это надо втолковы-

вать, как ты говоришь, днем и ночью... А сам ты этого не чувствуешь? Ничего не чувствуешь?

Зять странно посмотрел на тестя и промолчал.

Исаак Маркович прошелся по комнате и снова остановился напротив зятя.

— Хочешь, я тебе скажу, от чего тебе хочется стать свободным?

— ?

— От совести.

— О?!

— От ответственности.

— И еще?

— От необходимости платить долги.

— Любопытно.

— Это не только любопытно. Когда-то существовала такая категория — банкроты. Знаешь, что это такое? Если человек выдал вексель и ко времени его не оплачивал, он становился банкротом.

— Какое это имеет отношение ко мне? — спросил Эдик.

— Самое прямое. Тебя тут воспитали, выучили, дали возможность стать научным работником. Это достояние неоценимое, и получил ты все здесь, в этой стране, а не где-нибудь в другом месте... И вот ты достояние это в чемодан — и деру? Кто же ты такой после этого, а?

— Папа, кофе, — Римма стояла на пороге с подносом, на нем дымился кофе, горкой лежало печенье.

Исаак Маркович, не замечая дочери, взволнованно шагал по комнате. Вот так оно и бывает, думал он, когда вырастают одним-единственным сыночком у обеспеченных родителей. Нет брата, нет сестры. С малых лет не знает, что значит с кем-то кусок разделить. Знает одно: все для него, все блага — ему, ему одному. Весь творог в один вареник, как говорят в народе. И вот вырастает такой «вареник», входит в общество, полагая, что и тут он один-единственный, что и тут все положено ему... Если же что-то достается другому, он считает это враждебным выпадом против себя, весь мировой порядок ему кажется нарушенным, он готов бежать на край света в поисках справедливости... И не ведает он, что корень всех несправедливостей в нем самом... И дело конечно же не в том, думал Исаак Маркович, что зять его рос единственным дитятей у своих родителей, дело в психологии таких вот «единственных», которая уже стала и еще станет причиной немалых бед...

— Папа, кофе, — повторила Римма. Лишь теперь заметил Исаак Маркович дочь с подносом, но, не ответив ей, продолжал шагать по комнате.

— Кто же ты такой после всего этого? — остановился он напротив зятя.

Тот молчал.

— Спасибо, не хочу кофе, — повернулся Исаак Маркович к дочери, — я тут сыт всем вот так... — И он направился к двери.

Римма вопрошающе уставилась на мужа. Уже стоя у открытой двери, Исаак Маркович повернулся и крикнул зятю:

— Банкрот — вот кто ты такой! Подлый банкрот! — и вышел, хлопнув дверью.

Они слышали, как вниз опускался лифт.

3

Все это произошло в начале осени. Прошло несколько месяцев. Тесть и зять даже и слушать друг о друге больше не хотели. Римма раз, другой навестила отца, привозила ребенка, чтоб дед на него посмотрел. Когда Эдика не было дома, она звонила, справлялась о здоровье и почти ничего не говорила о себе. Чувствовалось: о многом умалчивает, не желая огорчать отца.

Был поздний вечер. Мира и Маша веселились на именинах у подруги, а Исаак Маркович, один в квартире, смотрел телевизор. Давнишний любитель хоккея, он восторгался виртуозными бросками вратаря, не пропустившего еще ни одной шайбы. При каждой удачной комбинации Исаак Маркович, по-мальчишески вскакивая, оглядывался, будто желая с кем-нибудь поделиться своим восторгом, совершенно забывая, что, кроме него, дома нет никого. Захваченный игрой, он не сразу расслышал звонок в дверь, а услышав, подсадовал: кого еще черт несет — мешать ему досмотреть матч.

— Римма? Ты?

Она стояла со спящим ребенком на руках.

— Так поздно? — удивился он.

— Ромик по дороге уснул, — сказала она. — Надо его уложить.

— Входи, входи, — растерялся он, — положи его на моей кровати в спальне. Вот сюда...

Римма молча стала раздевать, укладывать ребенка.

Пока она этим была занята, Исаак Маркович прошел в комнату, но на телевизор больше не смотрел.

Уложив ребенка, Римма вышла из спальни. Очень бледная (а может, так казалось в желтоватом свете торшера), устало присела и выдохнула:

— Папа, я пришла к тебе навсегда.

В этот самый миг шайба влетела в ворота. Рев болельщиков с трибун и вопль комментатора «Го-о-ол!» заглушили слова Риммы. Исаак Маркович подбежал к телевизору, выключил звук. На голубом экране шла теперь немая борьба.

— Что случилось? — присел он к дочери.

— Я развожусь. Они подают бумаги в ОВИР, — сказала она.

— Кто?

— Он (так она говорила теперь о муже, не называя его) и его родители.

— И они?

— Да.

— Они ведь не хотели, чтобы он ехал.

— Думали, им удастся отговорить его. Не удалось. Теперь говорят: «Один он у нас. Куда он, туда и мы».

— А ты? Ребенок?

— Пристают, как с ножом к горлу. Бумаги ведь подавать вместе, и на меня, и на ребенка тоже.

— И что?

— Как не хотят умирать, так не хочу я ехать... — она с плачем приникла к отцу. — Папа...

— Не надо плакать, доченька...

В нем вдруг ожило давнее воспоминание. Римме тогда было годика два, не больше. Придя с работы, застал он Беллу с дочуркой на руках, а та заходится плачем. Одна коленка перевязана. Что случилось? Девочка полюбила качели во дворе. Мать ее качала и на миг отвернулась (к ней обратилась соседка). Ребенок свалился с качелей и ушиб коленку. «До крови», — добавила Белла, и в глазах ее — слезы. Платочком вытер он слезы у жены, взял у нее ребенка, и — странное дело — у него на руках она сразу затихла... Он помнит, как засветились у Беллы глаза. «Смотри, — сказала, — она так редко тебя видит...»

— Не надо плакать, доченька, — сказала он теперь те же слова, что и тогда, и погладил ее по голове. — Мы что-нибудь придумаем.

— Что, папа, можно придумать?

Та, детская, боль вскоре прошла. А эта?

— Как, Римма, ты решила поступить?

— Я подам на развод. Ребенок останется со мной. Папа, — вдруг подалась она к нему, — ведь в таких случаях ребенок по закону остается у матери, да?

— Не знаю, доченька, никогда не интересовался. Не думал, что придется с этим столкнуться... Но думаю, что да, ребенок должен остаться с тобой. А что говорят родители, он?

— Родители молчат. Они ведь и сами едут против воли, из-за него. А он пытается меня убедить, что я ничего не смыслю, не знаю, где настоящее счастье... Заявил: раз я жена, то обязана поступать так, как он. Обязана...

— А ты?

— Мне трудно, папа, очень трудно... Как могу я оставить тебя? — Помолчав, добавила: — И могилу мамы... Я ему это сказала, и знаешь, что он ответил? «Сантименты»... Тут я ему и заявила, что не поеду.

— Когда произошел у вас этот разговор?

— Он не прекращался у нас все последнее время. Но сегодня я почувствовала, что не могу. Схватила ребенка и — к тебе...

— Успокойся, доченька, — Исаак Маркович поднялся, прошелся по комнате. — Успокойся. Возможно, не все еще пропало. Я имею в виду твой уход. Правильно сделала. Это ведь непросто...

— Непросто, — как эхо, повторила Римма.

— Вот увидишь, он еще одумается... — Не успел Исаак Маркович произнести эти слова, как зазвонил телефон. — Он! — воскликнул Исаак Маркович. — Видишь, он уже спохватился...

— Не думаю, — с сомнением промолвила Римма, но в глазах ее что-то блеснуло. — Папа, скорее трубку...

— Алло!

Она не отводила глаз от отца, желая, чтоб тот хотя бы кивком подтвердил, что говорит он. Но лицо отца оставалось холодно-безразличным.

— Хорошо, хорошо, — сказал он и отошел от телефона.

— Ну?

— Звонила Мира. Подруга, у которой она с Машей на именинах, оставляет их у себя ночевать.

— Вот видишь, — сказала Римма, имея в виду то, о чем они говорили до звонка.

— Да, — неопределенно буркнул Исаак Маркович, но тут же с деланной веселостью повернулся к Римме: — Вот и хорошо! Ромика уложишь на Мириной постели, сама ляжешь на Машиную. А завтра что-нибудь придумаем. Есть хочешь?

— Не хочу.

— Чаю?..

— Ничего в глотку не лезет...

Она пошла к ребенку в спальню. Исаак Маркович остался один. С минуту постоял, подошел к телевизору. Фигуры хоккеистов в абсолютной тишине носились на экране, схлестывались клюшками. Почему не слышать ударов? Куда девался комментатор? Ах, вспомнил, он ведь выключил звук. «Какой там счет?» — подумал он, но тут же понял, что теперь это его не интересует. Немая борьба на голубом экране выглядела в его глазах какой-то несерьезной, детской игрой по сравнению с той борьбой, отголоски которой, как гром среди ясного неба, докатились до его дома...

Он выключил телевизор и пошел к внуку. Римма уже переложила его на Мирину постель.

В голубоватом свете ночника ребенок спал на боку, подперев щеку ручкой. Другая ручка, голенькая, светлела на темном одеяле. Исаак Маркович нагнулся и осторожно, чтобы не разбудить ребенка, прикоснулся к ямочке у локтя губами. Он сделал это и за Беллу. Ей это счастье не было суждено. Хорошо еще, что она извела счастье иметь детей. Если бы тот осколок попал чуть глубже, она бы и этого никогда не узнала... И вот лежит еще одно живое существо, ребенок их ребенка. Спокойно спит, не знает, почему сегодня очутился здесь...

Исаак Маркович поправил одеяло на внуке и тихо, на цыпочках вышел. На пороге столкнулся с Риммой, та вышла из ванной.

— Халат тебе не тесен? — заметил он.

— Это ведь Машин, — ответила Римма. — Я ничего своего не прихватила. Бежала, как от огня...

— Придется тебе туда заехать, — сказал он, — забрать вещи свои и Ромика.

— Мне заехать? Ноги моей там больше не будет. Попрошу Миру и Машу.

— Как знаешь.

— Спит? — спросила Римма.

— Спит.

— И нам пора.

— Да, — подтвердил отец. — Поздно.

Вскоре был погашен свет. Исаак Маркович лежал в своей постели, Римма в другой комнате. Ни он, ни она всю ночь не сомкнули глаз. У обоих было о чем подумать.

4

Неделю Римма прожила у отца. В трехкомнатной квартире переставили мебель таким образом, чтобы одна комната была для Риммы с ребенком. За всю неделю она ни разу не позвонила к себе домой и ни разу не позвонили оттуда. Обе стороны выжидали, кто не выдержит первый... Римма заметно похудела, побледнела, у нее повысилось давление. Ей даже выдали бюллетень, и она несколько дней не ходила на работу.

— Что ты так себя изводишь? — спрашивали сестры. — Ты ведь решила от него уйти?

— Решила.

— Твердо?

— Твердо.

— Тогда едем за твоими вещами.

— Погодите...

Этот разговор с сестрами повторялся ежедневно. В конце недели Римма заявила, что за вещами поедет сама. Она лучше знает, где что лежит, что отобрать для себя, для ребенка. Ехать собралась одна, но, когда уже была в пальто, заплакал Ромик — он хочет к папе, и все! Она взяла его с собой.

— Мы поедем с тобой, поможем, — предложили сестры.

— Не надо, я сама.

— Может быть, мне с тобой поехать? — спросил отец, хотя после последнего разговора ему очень не хотелось встречаться с зятем.

— Не надо, папа, — ответила Римма.

Она уехала.

Ждали ее до позднего вечера. Она не возвращалась. Тянулись час за часом, а ее нет. Что бы это значило? Может быть, что-то случилось в дороге? Мало ли что... А как узнать? Куда звонить? А может, она вот-вот заявится... Ждали. Позвонить Римме домой? Но если бы она была там, сама бы позвонила. Значит, что-то случилось? В двенадцатом часу ночи после долгих раздумий Мира не выдержала и позвонила Римме домой.

Трубку взял Эдик.

— Римма с ребенком дома?

Мира, счастливая, повернулась к отцу и сестре:

— Дома!

— Дома, дома! — запрыгала от радости Маша.

— Слава богу! — вырвалось у Исаака Марковича.

После всех страхов, пережитых в этот день, было счастьем узнать, что Римма с ребенком здоровы и невредимы. Мира положила трубку. И только через какое-то время до них дошло: почему же она не вернулась?

— Главное, жива! — воскликнула Маша. — Завтра все узнаем.

— Когда ты перестанешь быть такой легкомысленной? — рассердилась старшая сестра. — Что значит — завтра? Вернуться же она собиралась сегодня. Может быть, она рвется сюда, а ее не пускают? Может быть, ее заперли? Кто знает. Как можно откладывать на завтра?

— Позвони еще раз, — сказал отец.

Снова трубку взял Эдик.

— Пусть Римма подойдет к телефону, — попросила Мира и тут же услышала:

— Римма не может.

— Чего не может?

— Подойти к телефону.

— Римма не может подойти к телефону! — в испуге повернулась Мира к отцу и сестре.

— Что случилось? — воскликнули те в один голос.

— Что случилось? — крикнула Мира в трубку.

— Ничего не случилось, — услышала она спокойный ответ, — Римма спит.

С удивлением в широко раскрытых глазах Мира повернулась к отцу и сестре:

— Она... спит...

— Она спит?

— Как это может быть?

— Что она делает? — переспросила Мира в трубку и снова услышала:

— Она спит. Чему вы удивляетесь? Уже поздно, и она спит. Я тоже спал, вы подняли меня с постели.

— Но...

— Вы напрасно беспокоитесь. Все в порядке.

— Но Римма собиралась сегодня вернуться к нам.

— Да, собиралась, но не вернется.

— Как же?

— Вот так. К вам она больше не вернется. У нее есть свой дом, и она осталась дома. Спокойной ночи.

Мира еще что-то хотела спросить, но раздались частые гудки. Голос у Эдика был незаспанный, наоборот, даже весьма бодрый, голос человека, выигравшего сражение...

Мира подержала в руке онемевшую трубку, положила ее и пересказала отцу и сестре то, что услышала. Все трое были ошеломлены.

Через день — было воскресенье и все оказались дома — пришло письмо от Риммы:

«Дорогой папа! Дорогие сестры!

Звонить вам не могла и не могу. Это не телефонный разговор. Пишу. Прошу вас, ничему не удивляйтесь! Я хотела быть сильной и не смогла. Этим объясняется все, что произошло и что произойдет в дальнейшем. Ни о чем больше не спрашивайте. Простите, если можете. Не поминайте лихом.

Ваша дочь и сестра

Римма».

«Что же произошло?» — спрашивали немим взглядом отец и сестры друг у друга. Этого никто из них не знал.

5

Произошло вот что.

Всю дорогу, в метро, затем в автобусе, Ромик не переставал допытываться:

— Мы едем домой, мама? Да, домой? К папе? Я скорее хочу увидеть папу...

— Да, да, увидим, увидим, — успокаивала Римма ребенка, а сама желала одного — не увидеть, не застать. Она и время выбрала такое, когда он на работе, чтобы с ним не столкнуться. Римма боялась — не мужа, нет, — а чего-то в себе самой...

Своим ключом она открыла дверь и на минуту оставилась на пороге. Никого не было, и ее обдало привычным духом родного жилья... За неделю отсутствия она соскучилась по нему...

Ромик тут же ринулся с торжествующим криком по коридору:

— Мы дома, дома!

Римма ухватила сына за ручку и, снимая с него пальтишко, спросила:

— А у дедушки, Ромик, тебе разве было плохо?

— У дедушки, мама, мне было хорошо, — ответил малыш, — но дома лучше!

«Такой несмышлениш, — подумала мать, — едва три годика исполнилось, а понимает...»

Ромик вырвался из маминых рук, вбежал в комнату, где в углу громоздились его игрушечные богатства. Чего здесь только не было! Вся техника двадцатого века была тут представлена в уменьшенных, игрушечных моделях. Легковые автомобили и самосвалы, экскаватор, танки на гусеничном ходу, лайнеры — «Ту», «Ил», «Як», серебряные, заостренные кверху ракеты, даже луноход с подвижными антеннами. И над всем этим, наподобие Гулливера в королевстве лилипутов, возвышался белый пластмассовый конь, грива распущена, передние ноги вздернуты в галопе. В мгновение ока Ромик был уже в седле и понесся с неистовым криком:

— Мы едем домой! Мы едем домой!

— Ты ведь уже дома, — заметила мать, — зачем же тебе туда еще ехать?

— Но я ехал на метро и автобусе, — ответил Ромик, — а это — на коне!

Понимать это надо было так, что метро и автобус — не то, а вот на коне...

Римма собиралась, как только войдет в дом, сразу начать укладывать вещи. И вот она дома, никого не застала, как ей и хотелось, но к шкафу не торопилась. Присела в спальне на кровать, опустила руки на колени и вдруг почувствовала в себе слабость и безразличие. Будь что будет!..

Из этого состояния вывел ее Ромик. Он вбежал сияющий, разгоряченный игрой и с удивлением уставился на нее:

— Почему ты сидишь, мама? Почему ничего не делаешь?

— Ты привык, чтобы я всегда что-нибудь делала?

— А кто приготовит обед?

— Обед? — переспросила она.

Вот те на — обед! Она не собиралась больше готовить в этом доме. Но Ромика надо покормить, и она поднялась, вошла на кухню. Холодильник почти пуст, сразу видно — нет хозяйки. «Что он тут ел без меня?» — впервые за всю неделю подумала она о муже и сама себе удивилась: какое ей теперь до этого дело? Стала искать в навесных шкафчиках, что бы сварить ребенку, но вдруг

присела к кухонному столику и опустила голову на руки. Такой застал ее вбежавший через некоторое время Ромик.

— Мама, ты... плачешь?

Она не сразу подняла голову.

— Мама... — вот-вот готов был заплакать и он.

— Нет, сыночек, я не плачу...

— Почему же у тебя мокрые глаза?

— Тебе показалось, — наскоро утерев глаза, она поднялась. — Яичницу тебе сделать?

— Да, с колбаской.

— Колбаски нет.

— Так с чем же?

— Что-нибудь отыщу.

Накормив ребенка — самой есть не хотелось, — она раскрыла шкаф. Постояла немного, затем медленно стала снимать и укладывать в чемодан свои летние и зимние платья, халаты, белье. В чемодан поменьше складывала вещи Ромика. Занятая этим делом, она не услышала, как в двери повернулся ключ. Зато сразу услышал Ромик и с криком: «Папочка пришел! Мой папочка!..» — ринулся к двери. С Ромиком на руках увидела Римма входящего мужа. Он смотрел на нее так, как будто ничего особенного не произошло, как будто не было недельной разлуки, и, кивнув на ребенка, сказал:

— Видишь?

На ее лице он не заметил ни малейшей доли восторга.

— А ты? — спросил он.

— Что — я?

— Ты недовольна?

— А отчего мне быть довольной?

— Оттого же, что и он... Мы опять вместе...

— Но я-то понимаю немного больше...

— Ну, хорошо, — сказал он, опуская ребенка на пол. — Иди, Ромик, к своим игрушкам.

— Не хочу, не хочу! — протестовал тот. — Хочу с тобой...

Эдик присел, посадил Ромика на колено и сказал Римме:

— Нам надо поговорить.

— Мало было говорено? — ответила она, укладывая в чемодан вещи Ромика.

Лишь теперь заметил Эдик чемоданы.

— Собираешься уходить?

— Если ты не переменял решения.

Он поставил сынишку между колен и сказал Римме

— Не знаю, как ты, я за эту неделю многое передумал.

— И додумался до чего-нибудь путного?

— Во всяком случае, сделал один очень важный вывод...

— Что не надо уезжать? — с затеплившейся надеждой глянула на него Римма.

— Не об этом, — жестко ответил он.

— А остальное меня не интересует, — холодно сказала она, и взгляд ее сразу померк.

— Кое-что тебя все же должно интересовать.

— Все прочее мне безразлично.

Он поднялся.

— И все же я тебе это скажу. За неделю, которую мы прожили врозь, мне стало ясно: единственная, с кем я не могу и не хочу здесь расстаться, — ты...

Она подняла глаза и вопрошающе посмотрела на мужа. Вдруг зазвонил телефон. Она взяла трубку и тут же передала ему:

— Тебя.

Ему звонили с работы.

— Без меня не могут обойтись, — сказал он с досадой. — Если надо повысить в должности — находят других, а когда надо дело делать, зовут меня...

Он ушел, а Римма с рассеянными мыслями осталась у раскрытых чемоданов. Какая-то растерянность охватила ее. Она не знала, что делать, и, удивляясь, чувствовала, что готова на совершенно противоположные поступки. Вот она уложит чемоданы, схватит ребенка и, пока Эдика нет, побежит к отцу, к сестрам. Они ведь ждут ее, волнуются, наверное, не знают уже, что и думать... И в то же время она готова тут же все выложить из чемоданов и остаться здесь. Остаться... Но остаться — значит ехать. Она знает: Эдик на работе, несмотря на все свои достоинства, которые никто не отрицает, не сумел себя как следует поставить. Между ним и руководством института, да и другими сотрудниками, то и дело вспыхивают конфликты. Кто прав? Об этом ей, Римме, трудно судить. Она — жена, и иногда ей кажется, что прав Эдик, он действительно заслуживает более высокого места. В том, что его ему не дают, он усматривает зависть, недружелюбие. Возможно, так оно и есть. Но, с другой стороны, она знает, что в институте работают

люди с большим стажем и большим опытом. Эдик же порядком зазнался и многих восстановил этим против себя. Ему бы теперь надо уйти из института, а искать новое место — значит начинать все сначала. Вот и кажется ему, что весь свет позинен в его бедах... Она же, наоборот, довольна своей работой, и ею довольны. Но если бы даже она и не была удовлетворена работой — так сдается ей, — эту неудовлетворенность она никогда не посмела бы перенести на всех и вся, как это делают Эдик и его приятели. Так вот пусть они и уезжают. А она? Она останется.

Среди вещей в наполовину уложенном чемодане Римма заметила старое бордовое платье. Она подержала его в руках, и глаза ее увлажнились. Платье это было сшито к свадьбе. Да, тогда уже она была не очень молода. В прежние времена ее бы давно зачислили в старые девы. Лишь бы с кем-нибудь связывать свою жизнь она не хотела и почти потеряла уже надежду... И вдруг — Эдик. Свадьба. Ребенок. Счастье!.. Если бы только не это... Не это решение ехать... И что же теперь — все поломать? Остаться одинокой? Ромика воспитывать без отца?

Римма смотрела на старое платье и не знала, что с ним делать, — то ли уложить в чемодан, то ли оставить в шкафу...

Из задумчивости ее вывел звонок в дверь. Эдик? Но у него ключ. Кто же? Не успела она как следует раскрыть дверь, как оказалась в сильных объятиях, оглушенная громким голосом:

— Риммочка, милая... Деточка моя... Я счастлива! Счастлива за вас и за Эдика. Вы — дома. Какое счастье!

В небольшом коридоре сразу стало тесно. Мощная женская фигура в огненно-рыжем парике, с золотым блеском колец и вопиюще красным маникюром на толстых пальцах...

— Женеваева Фабиановна?

Римма всегда затруднялась выговорить это длинное, на зубах вязнувшее имя-отчество; ей трудно было следить за движениями гостьи, стоять под грохочущим водопадом слов... Но что поделаешь, такова была спутница жизни Эдикиного лучшего друга и коллеги. Все праздники проводились за одним столом, в одной компании...

— Я счастлива, дорогая, без меры счастлива!

Римма попыталась спросить о причине этого счастья, но слабый голос ее поглотило сильное контраalto Женеьевы Фабиановны:

— Эдик позвонил Семе, что вы уже дома. Да, да! Как только Сема мне перезвонил, я сразу к вам — поздравить и вас, и Эдика. Это такое счастье, миленькая, что вы снова дома. Я знала, что так будет, как же иначе! Теперь больше ничего не помешает осуществить наш мечту. Мы поедем! Все вместе поедем. Это такое счастье!..

Голос Женеьевы Фабиановны грохотал уже в спальне:

— Что я вижу, дорогуша, вы уже укладываете чемоданы? Как хорошо! А у нас с Семой еще ничего нет готово, ничего... Я говорила Семе...

Римма хотела объяснить, что это совсем не те чемоданы, которые имеет в виду Женеьева Фабиановна, что она, Римма, в большой растерянности и сама еще не знает, как поступить, но вставить слово было нелегко, да и ни к чему, словоохотливая собеседница все равно ничего бы не поняла.

Вдруг Женеьева Фабиановна затихла. Толстые, кричаще накрашенные губы сложила в трубочку и приставила к ним огненно наманikyреный указательный палец:

— Я вам расскажу секрет...

— Секрет?

— Да, и очень важный...

— Слушаю.

— Но вы — никому!

— Если секрет...

— Даже Сема не должен знать, что я кому-то об этом заикнулась. Эдик тоже.

— Может, лучше не говорить?

— Нет, нет, вам скажу.

Женеьева Фабиановна оглянулась по сторонам, как будто кто-нибудь мог ее здесь подслушать, и заговорила громким шепотом:

— Я знаю: вы не хотите ехать в Израиль. Эдик хочет, вы — нет.

— Да, — ответила Римма, — не хочу. А вы?

— Мы с Семой тоже не хотим.

— Вот как! — удивилась Римма. — В таком случае отговаривайте Эдика. Сема его лучший друг, и если бы он...

— Нет, — собеседница Риммы передернула могучим плечом, — вы не так меня поняли.

— А как вас надо понимать?

— Ехать мы хотим...

— Хотите или не хотите?

— Хотим.

— Но что же?

— Но не в Израиль.

Римма действительно ничего не понимала.

— Как это?

В сильно подведенных и от этого казавшихся еще большими темных, несколько навывкате глазах Женеьевы Фабиановны засветился хитрый блеск.

— Самое главное — добраться до Вены...

— А там?

— А там, милочка, весь белый свет перед нами... Хочешь — Рим, хочешь — Нью-Йорк... Куда душа желает...

— Но визы-то в Израиль?

— Ну и что?

Женеьева Фабиановна поправила парик, при этом все пальцы ее блеснули золотом и маникюром, и оглушающе расхохоталась.

— Ох, мы еще поживем с вами, Риммочка, ох поживем!.. Вот увидите. А пока — секрет. Уговор?

Когда Римма закрыла за Женеьевой Фабиановной дверь, то с минуту постояла как оглушенная, все еще не веря тому, что настала тишина...

Вскоре она уложила Ромика спать. Засыпая, тот сонным голосом спросил:

— Большая тетя к нам больше не придет?

— Почему ты спрашиваешь?

— Я ее боюсь.

— Не надо бояться. Большая тетя скоро уедет далеко-далеко...

— А мы с нею поедем?

— Нет, мы не поедем. Спи.

Поздно вечером вернулся Эдик. Она ему рассказала о неожиданном визите и спросила:

— Что общего у тебя с этой Женеьевой Фабиановной?

— А почему между нами должно быть что-то общее?

— Как же, она едет, и ты едешь...

— Мало ли что.

Потом звонила Мира. Они там переволновались, не знали, что думать. Эдик ответил, что она спит... Она хотела подбежать, вырвать трубку, крикнуть: «Спасите, уведите меня!»... Но ноги ее как будто приросли к полу, она не могла двинуться. В оцепенении стояла и слышала, как он говорит: «Она к вам больше не вернется».

Что скажут отец, сестры? Она сама себя презирала в эти минуты, но поделаться с собой ничего не могла.

В тот же вечер она написала родным короткое письмоце.

6

За те несколько месяцев, которые прошли после того, как подали бумаги в ОВИР, и до того, как получили разрешение на выезд, ни Римма, ни отец с сестрами ни разу друг у друга не побывали. Римме тяжело было бы смотреть родным в глаза после всего, что случилось. Их же возмущал ее поступок, и они не могли и не хотели понять причин, приведших к нему. Муж ее их больше не интересовал. Лишь из-за Ромика у деда и у теток болело сердце. Но что поделаешь?

И все же Римма пришла. На следующий день с утра надо было быть на Шереметьевском аэродроме. Вечером, накануне, она пришла. Не пришла — ввалилась. Бледная, заметно изменившаяся за то время, что не виделись. На похудевшем лице лихорадочно блестели глаза.

Пересохшими губами прошептала:

— Я не могла... не могла не попрощаться с вами...

Сестры бросились ей на шею, в один голос заговорили:

— Что ты делаешь, Римма?

Мира:

— С собой?

Маша:

— С нами?

Римма:

— Судите меня, я виновата.

Отец как стоял у стола, так и остался стоять с холодным замкнутым лицом. Глаза могли выдать его состояние, но они были сужены до щелочек.

— Как ты могла... — произнес он.

— Вот так, папа...

— Ты ведь не хотела?

Она выдохнула:

— И теперь не хочу.
— Так что же?
— Я вам писала... Я слабая... Слабая женщина...
— Что значит — слабая? В чем она, твоя слабость?
— Каждая женщина хочет иметь мужа, ребенка.
— И что же?
— И когда они есть у нее, она боится их потерять.
Тем более...

— Что тем более?
— Вы бы видели — Ромика от него не оторвать...
Можно забрать у отца ребенка. Но у ребенка — отца? —
Помолчав, добавила: — Знаю, я очень перед вами виновата...

— Разве только перед нами? А земля, на которой ты родилась? А память матери? А...

— Не надо, отец! Знаю, все знаю. Виновата, судите меня...

— Что уж теперь, — отец махнул рукой. — Одно скажу: от тебя я этого не ожидал...

Римма заторопилась. Дома не знают, куда она ушла. Она не собиралась приходить, но в последнюю минуту не выдержала. Не могла не попрощаться.

Сестры долго ее обнимали. Потом она подошла к отцу. Думала, он не подаст руки. Но он вдруг привлек ее к себе и провел рукой по ее волосам, как когда-то давно в детстве...

На следующий день Исаак Маркович отпросился с работы и поехал в Шереметьевский аэропорт. С Риммой попрощались накануне. Другие его не интересовали, ни зять, ни сваты. Хотелось в последний раз увидеть внука.

Когда объявили рейс на Вену и улетающих этим рейсом выпустили на летное поле, Исаак Маркович подошел к барьеру, отделяющему провожающих от тех, кто улетаёт. Он внимательно всматривался в них. Вот он в удаляющейся толпе различил родителей Эдика. А вот, потрясая телесами, шагает Женестьева Фабиановна. А вот и Римма с зятем... Где же Ромик? Толпа заслонила его. Шли молодые, пожилые, модно одетые, элегантные мужчины, женщины, но Исааку Марковичу чудилось, что в каждом из них видит он скрытую обреченность. И в Римме — тоже.

Летное поле с белоснежными лайнерами в отдалении было залито знойным полуденным солнцем. За каждым

из торопившихся по этому полю людей тянулась, подобная темному горбику, крохотная тень... За каждым — свой горбик...

Глядя на этих людей, Исаак Маркович думал о том, что все они чужие ему и с каждым удаляющимся шагом становятся все отчужденней. И родная дочь, идущая с ними, тоже. Что ждет их впереди? Знают ли они, что в эти роковые минуты уподобились они деревьям, с корнем вырванным из родной почвы... Вчера у них эта почва еще была под ногами, теперь ее уже нет. Они хотят заново укорениться на чужой земле, но это невозможно. Однажды вырванные корни засыхают, нигде больше они не привьются... Эти люди как перекасти-поле, ветер понесет их по своему произволу...

С тяжелым сердцем глядел он на людей, все более удалявшихся. Два молодых длинноволосых парня с легкими дипломатами в руках, следовавшие за Риммой, отступили несколько в сторону, и вдруг он рядом с Риммой увидел Ромика. Она вела его за ручку. У Исаака Марковича защемило сердце. Своими маленькими ножками Ромик шел вместе со взрослыми. Куда?

Исаака Марковича охватило желание перескочить через барьер, догнать удаляющуюся толпу и вырвать из нее ребенка. Вы едете? Уезжайте! Но зачем вы увозите ребенка? Какую судьбу вы готовите ему? Он ведь ни о чем не знает... И вот он тоже уходит, маленький Ромик...

Ребенка снова заслонили, Исаак Маркович больше его не видел. Она была уже далеко, поглотившая внука толпа. Впереди маячила едва различимая масса — люди и их кривые маленькие тени на накаленном солнцем летном поле...

7

Как ни тянулся длинный летний день, он подходил к концу и тихо вплывал в прохладные сумерки.

Исаак Маркович все еще сидел за столом, где уборщица оставила его, сидел, уставившись неподвижным взглядом в противоположную стену. Пепельница на столе была переполнена окурками докуренных до самого края и недокуренных сигарет...

Сотрудникам его сегодня было чему подивиться. Впервые, опоздание. Такого с ним никогда не бывало. От-

куда им знать, что, придя вчера с аэродрома домой, он себе места не находил и всю ночь не сомкнул глаз. Лишь к утру забылся тяжелым сном. Проснулся уже после восьми. И еще: каждый раз он сообщает им о каком-нибудь важном событии в мире, о котором узнает по радио. Сегодня он проспал утренний выпуск последних известий и ничего не рассказал, хотя именно сегодня он мог бы им рассказать больше, чем когда бы то ни было. Правда, то, что он мог бы рассказать, не относится к событиям мирового значения, это относится только к нему одному. Но, видно, каждое большое событие раньше или позже находит отзвук и в чьей-то маленькой частной судьбе...

Еще и еще раз в то время, пока находился здесь, он обдумывал случившееся и никак не мог прийти в себя. Полагал: все беды — а было их немало — в прошлом; казалось — хватит. Так нет же! Жизнь приготовила ему новый удар...

Его коллеги по работе, конечно, заметили, что у него что-то неладно. Ждали, что расскажет, но он молчал, делая вид, что ничего не произошло. И кому из них мог бы он все рассказать? Макару Михайловичу? Они уже не один год работают вместе, но что у того в душе, он так и не знает. Миронкину? Тому подай только какую-нибудь новость — он тут же всем раструбит и еще добавит: «Я говорил, что так и будет!» Рите? Она еще ребенок, могла бы быть его четвертой дочерью, славная, веселая Рита... Марии Леонтьевне? С каким достоинством эта женщина переносит собственные беды... Муж не вернулся с войны. Единственного сына воспитала одна, дала ему образование. Он женился, у нее уже славный внучонок. Только с невесткой не ладит. Сама она на это никому не жалуется, известно со стороны. Марии Леонтьевне, пожалуй, единственной, он, возможно, раскрыл бы душу... Но как объяснить ей то, что он сам себе объяснить не мог. И действительно, как такое случилось? Он с пеленок — советский человек. Был пионером, комсомольцем. Со школьной скамьи ушел на фронт. В партию вступил в самые трудные дни, в Сталинграде. Войну закончил в чине капитана, имеет награды. После войны некоторое время работал на заводе, затем — и до сих пор — в заводууправлении. У него скромная должность старшего экономиста. Свои обязанности выполняет добросовестно, его уважают. И вот — плоть и кровь его — родная дочь оставила его, оставила город, страну, пода-

лась невесть куда, уехала, хотя и не собиралась этого делать, и увезла внука — продолжение его рода...

Как это все объяснить? Нет, он и Марии Леонтьевне ничего не расскажет. Никому ничего не может он рассказать. Его это боль и его стыд...

Исаак Маркович позвонил домой:

— Маша?

— Папа, ты?

— И Мира дома?

— Да, мы обе дома, ждем тебя.

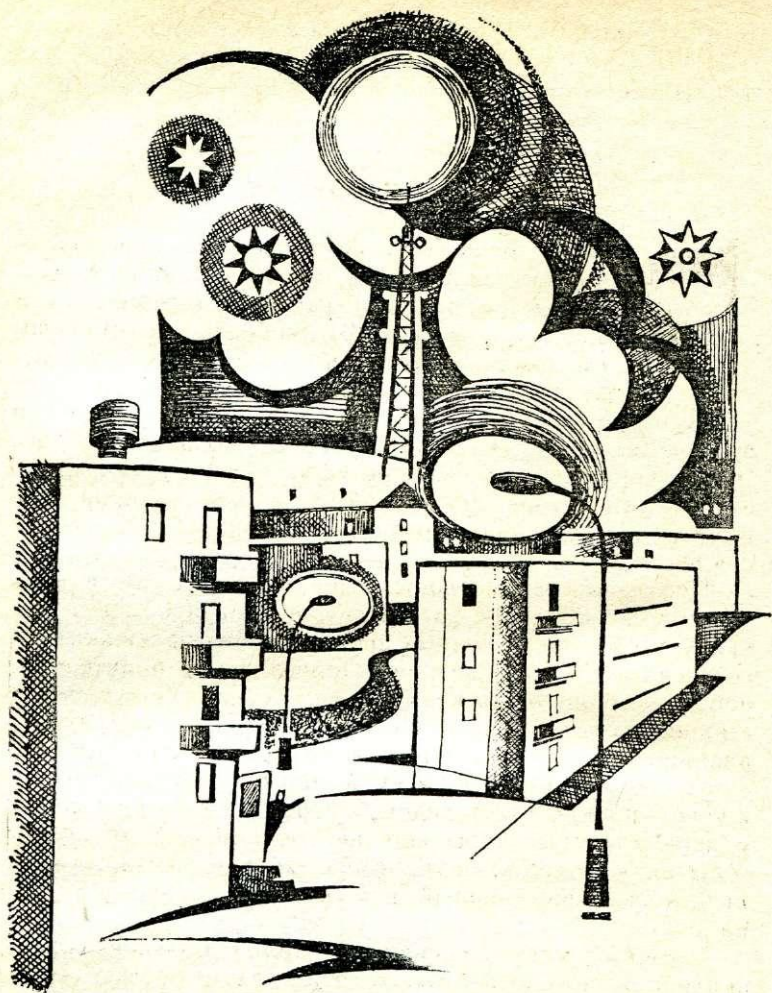
— Задержался на работе, скоро приду.

И им, младшим дочерям своим, не знает он, что сказать. Ему больно смотреть им в глаза, они, кажется, будто во второй раз осиротели.

Он вышел на улицу. В разных направлениях пронеслись ярко освещенные автобусы, троллейбусы. На противоположной стороне улицы под алой буквой «М» светился вход в метро.

С минуту Исаак Маркович постоял в раздумье, закурил и медленно зашагал домой.

РАС-
СКА-
ЗЫ



В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ



адость, веселье... Слова по значению, казалось бы, одинаковые, но нет! Может статься, веселье кругом, шум, гам, дым коромыслом, а радости — никакой. И наоборот: сидит человек, помалкивает, одними глазами чуть улыбается, а в нем — радость небывалая...

Но на этот раз — о чем я хочу рассказать — радость и веселье были вместе. Произошло это в новогоднюю ночь. Что за ночь, и представить не можете. Впрочем, представьте, если и вы незадолго до этого в новом микрорайоне получили квартиру и встреча наступающего года совпала с новосельем...

Небольшой дальневосточный город, где мы с вами живем, застал я, как бы это лучше выразить, — в пеленках. Самому мне неполных десять было, а братишки мои, сестренки — и того меньше. Привезли нас родители из небольшого местечка на Украине, и стали мы тут вместе с нашим городом расти. Он растет, и мы не отстаем. Но разница все же большая. За четыре десятка лет, что с тех пор пролетели, — и куда только годы девались! — я успел дважды стать дедом, а город — он все еще молод, у него молочные зубы еще не сменились. В те первые годы один молодой поэт, помню, хорошо сказал: «Каждый новый построенный дом как новый зуб у ребенка...»

Но время идет. Деревянные бараки, мостики над непролазной грязью да и сама эта грязь исчезли. Вместо них — асфальт, каменные дома, фабрики, заводы. Наш завод вырос на далекой окраине. А теперь? Город не только подступил, но уже и обошел его, дальше шагнул. Новый микрорайон, о котором речь, недалеко от завода и построен. И тут-то в пятиэтажном доме получил я новую трехкомнатную квартиру.

Сошлись, как водится, вечером, к десяти. Белла моя тоже на заводе трудится, в отделе технического контроля, и неплохо управляется и дома, и на работе. Стол — загляденье. Из больших тарелок так и просится в рот

фаршированная рыба. Тут же рубленая печень, салаты — чего только нет! Среди всего этого изобилия серебристо поблескивает шампанское. Это — для женщин. Пурпуром отливает наливка в графине — для бабушки и дедушки. Золотисто светится коньяк — для сына и зятя. Чиста, как слеза, бутылка «Экстры». Это для меня. Не знаю ничего лучше рюмочки чистой водки... Пью не часто, но по торжественному случаю почему не пропустить рюмочку-другую?

В доме все сверкает. Блестит новая хрустальная люстра под потолком. Елка вся переливается яркими блестками. Радужно светится цветной телевизор.

В одиннадцать стали выпроваживать старый год. Поблагодарили его за все доброе, что принес, и за новую квартиру по рюмочке выпили. По рюмочке — не более, главное ведь — встретить Новый год.

Капля за каплей, — кажется, это явственно слышишь — иссякают последние секунды уходящего года.

Двенадцать!

— С Новым годом!

— С новым счастьем!

Встаем с бокалами в руках, звонко сдвигаем их над столом.

— Дожить нам до будущего года! — шепчет бабушка.

— Лэхаим!¹ — восклицает дедушка.

Можете спросить: как же так? Старожил, да еще и на заводе не с вчерашнего дня — во время войны мальчишкой пришел в механический цех да так с тех пор и тружусь, — как же до сих пор квартиры не удостоился? Отвечу. Родители, когда сюда приехали, недалеко от завода построили дом, деревянный добротный дом. В нем и жили. С годами дети выросли, отделились. Отец с матерью теперь пожилые люди, я и то, как видите, дедом стал, а дом требует присмотра, ремонта. Короче, стал я в очередь на новую квартиру, и вот очередь подошла... Но обо всем этом говорю между прочим. Главное же, хочу рассказать, как встреча Нового года с новосельем совпала. И видели бы вы, что творилось! То и дело подъезжали машины. На каждой — зеркально блестящие новые гарнитуры, холодильники, телевизоры, и все — с иглолки. В новую квартиру со старой мебелью? Что вы! И думать нельзя... Моя младшая дочь — она еще не замужем и живет с нами — так заявила: в новый дом — ни-

¹ Заздравный тост по-еврейски. Буквально: за жизнь.

какого старья! Влетело нам это в копеечку. Мои родители еле упросили, чтобы для старого комода — они его привезли еще с местечка на Украине и он им дорог как память — все же было сделано исключение.

А теперь представьте: сто вселившихся в новый дом семей в новогоднюю ночь справляют новоселье!

Собрались мы всей семьей: я, жена, родители, старший сын с женой и пятилетней дочкой, дочь с мужем и двухлетним сыном, младшая дочь. У каждого из них — своя компания, друзья. Знаю, не прочь были бы они встретиться с ними в эту ночь. Но так уж у нас повелось: круглый год гуляйте с кем хотите, а в новогоднюю ночь извольте быть дома, за родительским столом.

— За мир! — жена.

— За счастье! — дочь.

И пошло. Тост за тостом, радость, шум.

В разгар застолья, около двух часов ночи, звонят в дверь. Кто? На пороге — ватага в масках — медведь, козел, филин. В руках гитары.

— С Новым годом!

— С новым счастьем!

Просим к столу, им некогда, обошли только три этажа, еще два осталось...

Больше в ту ночь дверь уже не закрывалась ни у нас, да и ни у кого из соседей. Идут из квартиры в квартиру, поздравляют, знакомятся.

Пошел и я. Но к кому ни зайдешь, первым делом — рюмочка. Где удалось отбояриться, где нет. Но когда выходил из последней квартиры на первом этаже, почувствовал себя навеселе. Не так чтоб уж очень, но в голове круженье, а ноги так и просятся в пляс... А на душе так, что кажется, весь этот дом и всех его жильцов обнял бы...

Вышел во двор. Мороз крепкий, но не страшно, на душе-то тепло... А блеск вокруг нестерпимый. Под ногами снег, над головой — звезды... Глянул вверх, и что за диво — звезды будто опустились низко-низко... Вон та большая звезда — протяни руку, достанешь ее... «С чего бы это? — подумал я и тут же сам себе объяснил: — Холодно звездам там, наверху... Человеческого тепла им не хватает... Вот и норовят поближе к нам...»

Долго бы я так простоял, если бы младшая дочь не очутилась вдруг около с шубкой внакидку и моей шапкой в руках.

— Ты что? — изумилась она. — Мы всюду тебя ищем...

— А я, — смеюсь, — вот он...

— Простынешь, — говорит дочь и нахлобучивает на меня шапку.

— Не простыну, — отвечаю. — Ты глянь лучше, доченька, туда...

— Куда?

— На небо.

— И что?

— Видишь?

— Что?

— Звезды.

— Ну и?...

— А не кажется ли тебе, что они опустились сегодня низко-низко? Протяни вот руку...

Дочь рассмеялась.

— А не кажется ли тебе, — сказала она, — что ты чуточку... пьян?

— А что? — говорю. — Для того чтобы звезды опустились ниже, надо быть пьяным?

Дочь взяла меня под руку и увела в дом.

А тут навалились:

— Где был?

— Куда запропастился?

— У соседей был, — говорю.

— А знаете ли, — сказала дочь, — кто сегодня у папы самые близкие соседи?

— Кто?

— Звезды, — прыснула она.

— Какие звезды?

Но объяснять было некогда. На стуле у елки стояла Лерочка — старшая внучка.

— Так поздно не спит? — изумился я.

— Она уже выпалась, — ответила мать Лерочки, моя старшая дочь. — В новогоднюю ночь она тоже хочет побыть со всеми.

— Почему бы и нет? — согласился я.

— Тише, — сказала старшая дочь, — Лерочка будет петь.

Принаряженная, в ярких туфельках, с белоснежным бантом в темных волосах, внучка вся светилась, как звездочка.

— «Пусть всегда будет солнце, — запела она. — Пусть всегда будет мама... Пусть всегда буду я...»

Пусть будет...

Вот так мы, сто соседей-новоселов, провели в новом доме новогоднюю ночь... А вы? Как провели ее вы?

ОКНО НАПРОТИВ

1

 было время, когда проблемы архитектуры решались просто — росли кварталы, улицы, города, как две капли воды похожие друг на друга. Потом спохватились, стали дело поправлять — одно здание поставят повыше, другое — пониже, один дом — фасадом вдоль улицы, другой — поперек. На одном балконы снаружи, на другом втянуты внутрь. Додумались строить дома и кругом, и полукругом...

Микрорайон, в котором я живу, возник в те годы, когда, как сказано, об архитектуре не думали, одна была забота — скорее утолить голод на жилье. Поставят в ряд три стоквартирных пятиэтажных кирпичных сундука — и рады.

В лицезрении кирпичных сундуков радости мало, но, если по правде, это меня не заботит. Вечерами, когда контуры домов растворяются во мраке, а сами дома снизу доверху освещаются длинными рядами окон, я забываю о примитивной архитектуре и мне приятно на эти окна смотреть и знать, что за каждым из них ютится своя жизнь, в чем-то похожая, а в чем-то непохожая на жизнь соседей. В одном окне под потолком ослепительно сверкает хрустальная люстра. Другое от абажура мягко светится зеленым покоем. Третье бахвалится дневным светом продолговатой люминесцентной лампы. По-разному освещены вечерние окна. Каждая жизнь светится по-своему.

Люблю смотреть на дома эти в поздний час, когда окна одно за другим гаснут и в сплошной темени повисают в воздухе, как бы сами по себе, несколько светящихся окон. Потом потухают и они, и где-то на самом верху, посредине пятого этажа, одно-единственное окно не гаснет до самого утра. Может быть, там болеет ребенок? А может быть, бодрствует над рукописью поэт? Кто знает...

Я живу в четвертом доме, поставленном перпендикулярно к описанным трем. Из моего кухонного окна видны крайние два здания во всю длину их бесхитростных фасадов со всеми подъездами. Третий же, средний, дом обращен ко мне торцовой частью. Эта часть поделена на две равные половины. В каждой из них, одна над другой, расположены пять лоджий. Утром, днем и вечером, вся на виду проходит жизнь десятка семей со всем их достатком — цветастыми коврами, вывешенными для проветривания, сохнувшим белоснежным бельем и детскими пеленками, стариками, выбравшимися подышать свежим воздухом, ребятишками. Вот один малыш ловит зеркальцем солнечный луч и направляет его на противоположный балкон...

С некоторыми жильцами этого дома напротив я знаком. Есть среди них такие, о ком я ничего не знаю, хотя мы встречаемся во дворе и в ближайшем продуктовом магазине. Ничего не знал я и о семье, которой принадлежит в этом доме напротив нижняя лоджия справа. Заметил лишь, что хозяин ее любит подолгу стоять и курить. Невысокий, плотный, с невозмутимо добродушным выражением крупного темного лица, может он так простоять в своей лоджии и час, и два. Иногда рядом станет полная женщина — жена. По вечерам, когда в комнате, выходящей в лоджию, зажигается свет и становится видно, что внутри, можно заметить маленькую, круглую, как моток ниток, седую старушку, — видно, мать хозяина квартиры или его жены.

Иногда рядом с мужчиной становился молодой, очень похожий на него парень в майке, а то до пояса голый, крепыш с широкой загорелой грудью. Очевидно, сын. Крепыш этот затем куда-то надолго исчез.

2

Недавно разговорился я со знакомым, живущим в доме напротив, и он мне рассказал историю семьи, которой принадлежит нижняя лоджия справа. История оказалась не такой простой.

Хозяин квартиры — старожил города, руководит бригадой в одном из строительных трестов. Жена его тоже начинала со стройки, была штукатуром, маляром — тогда-то и сошлись, — затем окончила курсы бухгалтеров и трудится в одной из трестовских контор. Седая старушка — мать жены. Во время войны, выбравшись из

уже засыпанной ямы (в той яме осталась вся ее родня), чудом спаслась и затем, после войны уже, приехала в Биробиджан к единственной оставшейся в живых дочери. Тут — дочь и зять на работе — вынырнула их единственного сына.

Зяма был славный ребенок, рос ладным, крепким, хорошо учился. Из класса в класс переходил с похвальными грамотами. Но так было только до пятого класса. «Затем, — рассказывает бабушка, — ребенка будто подменили». Родителей стали часто вызывать в школу. Сначала решили воздействовать на сына добром — купили ему велосипед, фотоаппарат, часы — не помогло. Попробовали по-иному, несколько раз отец брал в руки ремень — результат тот же. С горем пополам дотянул Зяма до восьмого класса, окончил его и заявил: больше учиться не будет. Работать хочет. А вообще мечтает стать штангистом. Он посещал юношескую секцию по тяжелой атлетике, и тут все у него было ладно.

Настало время призываться в армию. Вот и хорошо, решили родители, армия сделает из их сына человека. И не обманулись. Из армии Зяма слал хорошие письма: служит исправно, имеет благодарности. Он и штангой продолжает заниматься, заслужил даже приз на армейских соревнованиях. Отец с матерью успокоились: армия свое дело сделает, вытравит глупости у сына из головы. А вернется, окончит девятый и десятый классы в вечерней школе, затем — институт. А там и о женитьбе можно будет подумать.

Пролетело два года, Зяма вернулся домой. Возмужал, стал солидней. Что он собирается делать? Работать. Где? В армии стал шофером, им и останется. А еще? Будет заниматься штангой. У него уже есть разряд, и он сможет стать чемпионом города, а возможно, и выше. А учеба? Для занятия штангой высшее образование не обязательно.

На следующий день по возвращении Зяма открыл родителям секрет: у него есть девушка, он собирается жениться.

— Как? — ахнули родители.

— А что? — ответил Зяма. — Для этого вовсе не надо заканчивать институт.

— Она из нашего города? — придя первым в себя, спросил отец.

— Нет.

— Откуда же?

- Из тех мест, где служил.
- Вы давно знакомы? — задала вопрос мать.
- Да, довольно давно.
- Сколько?
- Скоро полгода.
- Где она?

— Недалеко, — ответил Зяма и сказал, что девушка приехала с ним.

— Как? — снова ахнули отец с матерью.

— А что? — ответил Зяма. — Сразу идти к нам в дом она не хотела, и я устроил ее у товарища. Но я ее приведу.

И привел.

Приготовили ужин, немного выпили, но за столом царил тишина. Все молчали. Дуся — так звали невысокую худенькую большеглазую девушку с льняными длинными волосами — сидела как на иголках. Немым взглядом умоляла Зяму: «Давай скорей уйдем...» Но Зяма ничего не замечал. Он был доволен, даже счастлив — снова дома, Дуся с ним — чего еще надо? Он был уверен, что все вокруг разделяют его чувства.

Мать зачем-то ушла на кухню. Зяма — за ней.

— Ну как?

— Что — ну как?

— Как тебе нравится Дуся?

Мать как-то странно взглянула на сына и ничего не ответила.

Вошла бабушка.

— Бабушка, как тебе Дуся?

Бабушка плохо слышала.

— Как, ты говоришь, зовут ее?

— Дуся.

— Дуся? — переспросила бабушка и ничего не сказала.

Посреди ужина отец вышел в лоджию покурить. Сын за ним.

— Папа, как тебе Дуся?

Отец не ответил, он лишь посмотрел на Зяму таким взглядом, как когда-то, когда брал в руки ремень.

Но Зяма на все это не обращал внимания. Ему просто не хотелось ничего замечать, пока Дуся, несколько позже, не повела его прогуляться и, стоя тут, во дворе, под юными, недавно посаженными деревцами, не сказала ему со слезами в голосе:

— Ты разве не видишь? Недовольны ведь...

— Кто недоволен?

— Все.

— Чем?

— Мной, тобой...

— Тебе кажется.

— Мне не кажется, — ответила Дуся и заявила, что в дом к ним она больше не вернется. Лишь теперь до Зямы дошло, что молчание в ответ на его вопросы было неспроста.

— Ну, хорошо, — сказал он, — поздно уже, и ты переночуешь у нас. А завтра посмотрим.

Но рано утром, пока Дуся еще спала, позвали Зяму на кухню и взяли в оборот.

Во-первых, что за свадьба? Он только вернулся из армии, ему еще предстоит учиться, работать, стать человеком. Куда он спешит?

Во-вторых, что за Дуся? Где он ее откопал? Он разве не видит — не на что посмотреть... И кроме всего, ей только восемнадцать стукнуло, а она — хватить! — и поехала с парнем неизвестно куда... При таком легкомыслии чего можно ожидать от нее в будущем? Ах, она уже закончила кулинарный техникум? Очень престижное заведение...

В-третьих...

Было еще и в-четвертых, и в-пятых.

Все говорили — отец, бабушка, мать. Один Зяма молчал. А выслушав всех, тихо сказал:

— С Дусей меня вам не разлучить.

— Если так, тебе нечего больше делать в нашем доме.

Это сказала мать.

Отец молчал.

Бабушка тоже.

Зяма вошел в комнату, где спала Дуся. Она, давно уже одетая, сидела на постели, и ее бил озноб, понимала, что в доме творится.

— Пошли! — сказал Зяма, взяв Дусю за руку.

Ушли они к Зяминому дружку Игорю, в доме которого Дуся провела первую ночь. Игорь служил с Зямой в одной части, они вместе демобилизовались. Жил Игорь у своих родителей, на окраине города был у них свой дом с огородом и садом. Они сказали, что первое время Зяма

с Дусей могут пожить у них, — старшие дети обзавелись уже своими семьями, Игорь еще пары себе не нашел, а дом просторный — места хватит.

Молодые подали заявление в загс и ровно через месяц расписались. Родителей Зяма не оповестил. Свадьбы не справляли. Просто собралась небольшая компания в доме у Игоревых родителей, несколько раз крикнули «горько!». Молодые целовались. И — стали жить. Зяма поступил на работу в одно из автохозяйств города, Дуся — в заводскую столовую. Обоим обещали, что со временем они могут рассчитывать на квартиру.

Через девять месяцев у молодоженов родился ребенок — сын.

И об этом Зяма родителям — ни слова. Они выгнали его из дома — ни забыть, ни простить этого он не мог.

А родители? Первое время крепились, стараясь оправдаться перед собой тем, каким непутевым оказался сын. Что задумал! Материнское молоко на губах не обсохло, и туда же — свадьбу! И что за Дуся, откуда свалилась она на их голову? Что знает он о ней и что они, родители? И как это, не спросясь у отца с матерью, не посоветовавшись? Но разговоры эти вскоре иссякли, и в доме поселилось тревожное молчание. Прав или не прав, но все же сын, родной, единственный. Два года не виделись — служил. Не успел вернуться, а они его — родную кровь — из дома вон! Полагали добиться этим своего. Не променяет же он, думали, родителей на какую-то Дусю. Но перевес оказался на ее стороне. . . А в чем, собственно, Дусина вина? Чего они на нее взъелись? Может быть, не надо им было так поступать?

Этими мыслями друг с другом не делились, с молчаливой болью носил их каждый в себе, опасаясь высказать вслух. Не узнать стало дружную в прошлом семью. Серая паутина тоски повисла в каждом углу дома. Все чувствовали свою вину — мать, отец, бабушка. Что же, думали теперь они, Зяма не дитя. Это они привыкли смотреть на него как на ребенка. Но он уже отслуживший солдат! И конечно же его право решать, кто ему люб. А в этом деле, как известно, не указ ни отец, ни мать, ни тем более бабушка. Чего же ради ополчились они и как дошли до того, чтобы родного сына выгнать из дома? . .

Так думал каждый про себя, сознавая свою долю вины. Но стоило об этом заговорить, и каждый винил не себя, а обвиняли друг друга.

— Это ты сказала: «Нечего тебе делать в нашем доме», — выговаривал отец матери.

— Ну и сказала. А где ты был? Сказал бы иначе.

— Нет, не так... Не так надо было поступить, — про себя бормотала бабушка.

Да, все были виноваты, и каждый про себя это знал, но друг перед другом признаться не могли.

Дошло до них, что сын живет у родителей своего друга, что справляли там тихую свадьбу... Свадьбу без них, родителей... И еще больше разгорелась обида на непутевого сына — так опозорить...

Напряжение в доме становилось все ощутимее, все больше росло недовольство друг другом. Мать злилась на отца, отец на тещу, а та на них обоих. Вымолвит кто-нибудь слово — было это злое, обидное слово. Не стало в семье ни мира, ни покоя.

Надеялись, пройдет неделя, другая, и Зяма не выдержит, вернется. Пусть уж вернется с Дусей, простят. Но Зяма не возвращался. Характер! Тогда стали подумывать: может быть, отбросить амбиции и самим явиться к сыну и невестке? Так думали все трое, но высказать эту мысль боялись.

Так продолжалось, пока со стороны не узнали, что они, отец и мать, стали дедушкой и бабушкой, а бабушка — прабабкой...

4

Однажды в солнечный летний день в дсм к Зямину дружку явились все трое — отец, мать и бабушка. При виде неожиданных гостей обитатели дома от удивления раскрыли рты и не знали, что делать: то ли сердиться, то ли радоваться... Лишь одно существо, самое юное, то, которое действительно не могло еще ничего сказать, но которому как будто что-то было уже известно, из колыбели широко заулыбалось гостям, и эта улыбка послужила сигналом. Сразу ясно стало, что делать: радоваться, обниматься...

Прабабка первая склонилась над колыбелью:

— Светлое личико! Счастья тебе...

— Какой красавчик, не сглазить бы, — вслед за нею восхитилась бабушка.

— Вылитый Зяма! — воскликнул новопеченный дед.

Дуся опасалась, как бы ребенок не испугался незнакомых людей, но нет — он продолжал улыбаться им крохотным ротиком и весело булькал.

Собрали на стол. А от этого стола все вместе двинулись к другому — у Зяминых родителей.

Когда поздно вечером окончили трапезу, отец Зямы обратился к Игорю и его родителям:

— Спасибо вам, добрые люди! Отныне наша дружба — навек! А ты, сын мой, — повернулся он, радостный, счастливый, к Зяме, — с женой и ребенком оставайтесь. Здесь ваш дом. Согласен?

Зяма ответил не сразу. Помолчал и — Дусе:

— Согласна?

Та смотрела на всех счастливыми глазами.

— У него спросите. Как он, — указала молодая мать на коляску. Крошечный человек в ней поднял и ручки, и ножки.

— Согласен! — весело воскликнула бабушка.

А прабабка низко склонилась над коляской:

— Светлая твоя голова...

5

Знаю: неприлично заглядывать в чужие окна. Но, каюсь, иногда люблю это делать. Не для того, конечно, чтобы подсмотреть что-нибудь с недобрым умыслом, — нет! — а просто любопытно по чьему-то силуэту, по произвольному жесту представить себе, как живут люди.

Что касается окна на первом этаже дома напротив, я часто становлюсь невольным свидетелем того, что там происходит.

Бывает, что целыми вечерами не светится это окно, отблескивая темными стеклами. Значит, люди находятся в других комнатах. А когда окно наливается светом, вся комната за тонким тюлевым занавесом превращается в прозрачный аквариум... Особенно часто стало светиться окно после того, как тут поселились сын с женой и ребенком. Эту комнату, видно, и выделили им.

Все теперь там изменилось. Отец не курит больше часами с угрюмым видом в лоджии. Наоборот, он выглядит бодрым, повеселевшим, особенно когда с ним становится рядом сын с открытой до пояса бронзово-загорелой грудью и крепкими бицепсами. Сын с отцом о чем-то оживленно беседуют, смеются.

Через всю лоджию протянута веревка. То и дело появляется молодая невестка с распущенными льняными волосами и развешивает свежевystиранные пеленки, распашонки...

Однажды я долго не мог уснуть. Было около трех часов ночи. Чтобы не разбудить домашних, я тихо прошел на кухню, включил свет. Глянул, окно напротив тоже светится. «Они-то чего?» — подумал я и увидел: отец с сыном, полуодетые, приткнулись в углу комнаты. Бабушка перекладывает что-то в колыбели. В длинной ночной рубашке молодая мать носится с ребенком, а тот заходится плачем. Она его качает, прижимает к себе и так и этак, но не помогает. Ребенка забрала бабушка, затем прабабка, и у нее на руках ребенок затих. Слегка его баюкая и усыпляя, она ходила с ним по комнате, и вдруг я увидел, как все там тихо, на цыпочках, как бы помогая прабабушке, пошли следом. Она впереди, а они за нею.

«Крохотное это существо, — подумал я, — не в состоянии еще вымолвить слова, но слово свое уже сказало. Не в силах что-либо совершить, оно уже совершило, и немало. Люди, близкие, родные, готовы были друг от друга отвернуться с враждой, а оно их объединило...»

Долго не отводил я взгляда от светящегося окна напротив.

Да, великое благо творит человек уже одним тем, что является в этот мир...

КРАСИВЫЕ ЛЮДИ

Поезд на Ленинское отходит из Хабаровска в восемь утра. Опасаясь, как бы не опоздать, мы с женой прибыли на вокзал намного раньше. Ко всем кассам тянулись удручающе длинные очереди. К одной из них, которая казалась поменьше, присоединился и я.

Продвигались медленно. На счастливых, отходящих с билетами в руках, смотрели с завистью и опасением: «А хватит ли и нам?»

От окна отошла высокая молодая женщина. В желтых сапогах на большом каблуке, в коричневой дубленке и мужской собольей шапке, она привлекала внимание, и многие из очереди, как по команде, повернулись в ее

сторону. Как бы давая возможность полюбоваться собой, женщина с билетами в руках постояла, устремив поверх голов ищущий взгляд больших светло-зеленых глаз. Найдя кого искала, женщина быстро прошла вперед, затерявшись в вокзальной толчее.

Мне повезло. Когда я минут через двадцать добрался до окна, еще оказались свободные места в купейном вагоне, и без особых проволочек мне выдали два билета до Биробиджана.

Пока мы с женой длинным туннелем, затем по многочисленным ступенькам выбрались на перрон, поезд уже готов был отойти, и мы, запыхавшись, ввалились в купе. Каково же было наше удивление, когда на противоположной полке мы увидели — кого бы вы думали? — ту самую молодую женщину, привлечшую наше внимание на вокзале. Она уже успела снять дубленку и выглядела не менее привлекательно в бордовом вязаном джемпере, со свободно падающими до плеч волнистыми, отливающими медью волосами. С нею был высокого роста плечистый молодой человек с обвислыми черными усами и мальчуган лет трех.

Соседи вежливо ответили на наше приветствие и продолжали устраиваться. Муж — конечно же это был муж — снял с верхней полки матрац, его расстелили внизу и уложили засыпавшего на ходу ребенка. Женщина что-то стала перекладывать в сумке с детскими вещами, а муж, сделав то, что от него требовалось, достал газету и углубился в нее.

Мы с женой сняли пальто, пристроили чемоданы. Я также принялся за купленную на вокзале газету, а жена — за пухлый роман, который невесть сколько времени читает и никак не доберется до конца.

Я попенял ей на это и услышал в ответ:

— Тут нет, поверь, моей вины.

— Чья же вина?

— Повинен роман.

— Такое бывает, — согласился я.

Через некоторое время жена, отложив книгу, незаметно для соседей кивнула:

— Неожиданно как...

— Коли везет, то везет, — ответил я.

Поезд набирал скорость.

Проехали станцию Волочаевку. В отдалении показалась невысокая заснеженная сопка, та самая, за которую когда-то было пролито так много крови. Промельк-

нул памятник на вершине — фигура красноармейца с винтовкой, стяг... Над заснеженными далями трепетал он по-особому весело и ярко...

«Какое с тех пор поколение вступило в жизнь, — подумал я, оторвавшись от окна и глядя на молодых соседей. — Не исключено, что деды их дрались тут, у Волочаевки. Впрочем, не деды, а прадеды. Деды их тогда только родились. На их долю выпали иные бои, похлеще. И вот уже — четвертое поколение...

Славное поколение», — думал я, глядя на молодую женщину, на ее мужа и спящего ребенка.

Мы так могли бы и проехать несколько часов до Биробиджана, обменявшись лишь несколькими незначащими фразами. Молодой человек был, видать, не из разговорчивых. Другое дело — женщины. Вскоре благодаря им стало известно, кто откуда и куда едет.

— Вы домой или из дому? — спросила моя жена.

— И домой, и из дому, — ответила соседка, вскинув свои волнистые, цвета меди волосы.

— У людей обычно бывает один дом, — заметила жена.

— А у нас два, — ответила Нелли (так, сказала она, ее зовут) и повернулась к мужу: — Правда, Жорик, у нас с тобой два дома?

— Ну да, — ответил тот, неохотно отрываясь от газеты.

Нелли же разговорилась. То и дело вскидывая спадающие до плеч волосы, рассказала: оба, она и муж, живут и работают в районном центре Ленинском. Туда направляются и теперь. Она учительница. Что преподает? Английский. У нее уже трехлетний стаж работы. Закончила Саратовский педагогический институт. Муж ее врач, хирург в районной больнице. Окончил медицинский факультет Саратовского университета. Обоих распределили на работу на Дальний Восток, а тут уже, когда прибыли в Хабаровск, — в Ленинское: ее в школу, его — в больницу.

— Поженились вы еще в Саратове? — полюбопытствовала жена.

— Представьте, нет, — рассмеялась Нелли. — Там мы даже не подозревали о существовании друг друга... Жили, учились в одном городе и даже не были знакомы. Познакомились тут же, в Ленинском, нет, вру, в поезде. В этом же поезде, которым едем и теперь. Ты помнишь, Жорик? — обратилась она к мужу.

— Да, — ответил тот.

Видно, ему не по душе был весь этот разговор с незнакомыми людьми, он считал его излишним. Нелли, наоборот, готова была всем и каждому, тем более хорошим людям, которые проявляют интерес, рассказать о своей жизни.

— Поженились мы в Ленинском, — сказала она, — нам выделили квартиру в новом доме. Славик ходит в детский сад.

— Ведали, значит, что творят, распределяя вас в Ленинское? — пошутила жена.

— Да, — серьезно поддержала ее Нелли, — не знали друг друга в родном городе, узнайте там, за тридевять земель... — И с очаровательным кокетством обратилась к мужу: — Не жалеешь, Жорик?

— Нелли! — повернулся он к ней.

Он больше ничего не сказал, но в этом единственном произнесенном им слове можно было услышать многое. Во-первых, мыслимо ли себе представить, что он когда-нибудь мог бы пожалеть... Во-вторых, как можно такое произнести вслух даже в шутку?.. И, в-третьих, к чему об этом говорить при чужих людях?

— Он у меня скромница, — тихо и с нежностью промолвила Нелли.

Тут вновь последовало:

— Нелли!..

— Возможно ли, хирург — и скромница? — заметила жена.

— О, на работе он герой, — ответила Нелли, — ему доверяют уже самые сложные операции. А так... Ну, хорошо, хорошо, читай газету, не буду тебе больше мешать...

— А где же у вас еще дом? — любопытствовала жена.

— В Саратове, — ответила Нелли, — и, если хотите, даже два дома. Там живут два наших дедушки и две бабушки — мои и Жорины родители.

— И они отпустили вас так далеко?

— Ох, не хотели отпускать... Ни его родители, ни мои...

— А вы?

— Как видите. Не послушались.

— А вы не боялись забраться в такую даль?

— Немного, конечно, пугало, как же! Но ведь это здорово!

— Что здорово?

— Все: знать, что ты нужен. Более того, знать, что, если не ты, на твое место может не быть другого, по крайней мере какое-то время. Тут как-то по-особому чувствуешь свою необходимость людям. Это придает большой смысл жизни, и очень хочется работать... Ну, и здесь мы совершенно самостоятельны, сами себе хозяева...

Тут и я решил вставить слово. Отложив газету, сказал:

— И еще, надо полагать, влекло вас то, что зовется романтикой?

Муж Нелли тоже отложил газету и, хмуря сросшиеся на переносице темные брови, произнес:

— Устарелое понятие — романтика.

— Романтика — устарелое понятие? — удивился я.

— Да, от него несет мечтательностью, наивностью представлений, которые чаще не сбываются. Мы не романтики, — заключил он.

— Кто же вы?

— Кто? — он подумал и повернулся к жене: — Кто мы с тобой, Нелли, а? — Но, не дождавшись ответа, тут же сказал: — Реалисты, вот кто мы. Ре-а-лис-ты.

— Какое значение вкладываете вы в это слово?

— Очень простое, — ответил хирург. — Мы совершенно реально представляли себе, что здесь, в отдаленном краю, где большая нужда в людях, специалистах, мы принесем гораздо больше реальной пользы людям, да и себе тоже.

Как бы сам удивившись своей такой длинной речи, молодой человек умолк и снова углубился в чтение газеты.

А Нелли рассказывала дальше: из Саратова они теперь и едут. У мужа был отпуск, а она к зимним каникулам взяла еще неделю за свой счет, в школе есть кому ее на время заменить. Родители, и ее, и его, снова в один голос: «Переводитесь сюда». Собирались даже приобрести для них кооперативную квартиру.

— А вы? — спросила жена.

— А мы? — ответила Нелли. — Мы тут сжились с товарищами по работе, я в школе, муж в больнице. Мы привыкли. По душе нам здесь и природа, и люди, особенно люди. Прекрасный народ — дальневосточники. Мужественные, честные, не ищут легкой жизни, трудности

их не пугают. Мы тоже хотим стать дальневосточниками. Правда, Жорик? Ну, оставь, пожалуйста, газету...

— Нет, неправда, — ответил тот.

— Почему?

— Ты говоришь: «Хотим стать». . . А мы уже стали. — И, отложив газету, повторил: — Мы уже стали дальневосточниками. И именно поэтому не переводимся в Саратов.

Проснулся Славик.

— Он у вас здесь родился? — спросила жена.

— Да, в Ленинском.

— Он у нас стопроцентный дальневосточник! — с гордостью произнес отец.

Ребенок перенял, казалось, все, что было хорошего у отца и матери. Светлое личико, тонкие черты, не детски глубокий взгляд карих, как у отца, и больших, как у матери, глаз, высокий лобик, светлые, как у матери, волосы, — все в нем вызывало восхищение. Я давно заметил: по глазам ребенка, даже когда он еще в колыбели, можно уже получить какое-то представление о его будущем характере, темпераменте. Тут видно было — растет славный человек.

Пока же человек захныкал спросонья и тут же потребовал апельсин, точно такой, каким потчевала его баба Нюша.

— Славик, — упрасивала мать, — апельсины в чемодане, их туда упрятали, чтобы не померзли в дороге. Скоро будем дома, и ты получишь сколько угодно...

— Я сейчас хочу! — расплакался Славик.

Пришлось открыть один из чемоданов. Мать очистила большой апельсин. У мальчика в глазах еще светились крупные слезы, но он уже улыбался, схватив золотистую дольку...

— Капризничает, — пояснила Нелли. — Мы две ночи не спали. Наш «Ил» опоздал, в Хабаровск прилетел ночью. Пока получали багаж, пока добрались до вокзала, да и там ждали. Но ничего, — трянула она волосами и крепко прижала к себе ребенка, — скоро будем дома! Тебе уже хочется скорей домой, да?

В окне показалась телевизионная башня на сопке, потянулись первые дома Биробиджана.

Мы попрощались, Жорик вынес наш чемодан. В широкой раме запыленного вагонного окна улыбались Нелли и Славик. Она подняла его ручку и помахала нам ею...

Спускаясь с вокзальных ступенек, жена восхищенно промолвила:

— Красивые люди!

— Внешне? — спросил я.

— Не только.

Мы постояли еще, пока поезд не тронулся с места.

УЗНАЛ

Бывает так: все остатки зимы весна уже повымела и лишь в густой тени где-нибудь под высоким забором дотаивают жалкие огрызки льда. А кругом — журчание, плеск ручьев... Вдруг среди веселой вешней кутерьмы небо заволакивает — вот-вот низвергнет оно на землю первый весенний дождь. Но что это? Повалил снег... Повалил густо, крупными мокрыми хлопьями...

День и ночь над городом ярилась метель. Улицы, прогулки завалило сугробами. А еще через день улицы под вешним солнцем утопали в огромных сверкающих лужах.

Именно в этот день Аркадий Семенович решил прогуляться. Вторую неделю не выходил он из дому — подскочило давление. За те несколько лет, что он на пенсии, утренние и вечерние прогулки вошли уже в привычку, а тут — неделя без глотка свежего воздуха... Жена (она тоже на пенсии, живут они вдвоем) пыталась его удерживать:

— Стало тебе легче, а выйдешь, и опять пойдут доносить тебя головные боли.

— Надеюсь, — с улыбкой отвечал он, — что на свежем воздухе они улетучатся. — И вместо зимнего, вопреки возражениям жены, впервые надел легкое демисезонное пальто.

— Возьми хотя бы теплый шарф, — настаивала супруга.

— Ведь совсем уже тепло, — возразил он.

— Знаем мы это тепло. — Жена помогла ему укутать шею. — Тебе все еще кажется, что ты молодой человек? Небось хочется еще перед молоденькими женщинами пофорсить?

Где уж ему перед молоденькими женщинами пофорсить — возраст не тот, и могла бы жена не напоминать об этом.

Он вздохнул, в нерешительности остановился перед огромной лужей. До нее добрался благополучно, в одном только месте забрызгал брюки, а тут... Разлилась лужа на углу пятиэтажного дома. В ней ослепительно играло солнце и отражалась часть дома с вывешенным на балконах бельем. Пока Аркадий Семенович раздумывал, как обойти лужу, длинноволосый юнец без шапки, в легкой куртке — откуда он взялся? — одним махом перепрыгнул ее, и — глянь! — он уже на другой стороне... «Мне бы его годы», — с грустью подумал Аркадий Семенович и пустился в далекий обход.

Было свежо, тепло. Аркадий Семенович высвободил шею из толстого ворсистого шарфа, стало легче дышать.

Улица, на которую он вышел, была удалена от центра. С правой стороны высятся один за другим многоэтажные кирпичные дома с ухоженными дворами, с площадками для детских игр, а напротив, слева, — убогие, как бы приплюснутые одноэтажные домишки. Построены они были давно. Некоторые из них за шаткими заборами по-стариковски пригнулись к земле, печально глядя на улицу покосившимися ставнями. Между этими домами тянулась к недалекому железнодорожному полотну узкая улица.

Справа — город, слева — село. Справа — нынешний день молодого еще города, слева — вчерашний. И все это рядом.

В этом городе Аркадий Семенович жил уже много лет. Он знал его еще таким, когда ни одного из этих больших каменных домов не было и в помине. Всегда куда-то спешил, торопился. Некогда было оглянуться, подумать, с кем-нибудь поговорить по душам. Зато теперь у него достаточно времени. Много лет знал одного человека, при встречах здоровались, и только, — на большее не хватало времени. А недавно с этим человеком встретились — он теперь тоже на пенсии, — поговорили, и оказалось: у человека интереснейшая биография, хоть книгу пиши... Годы труда, ни свободной минуты — хорошо это было или плохо? Теперь свободного времени уйма, и в чем-то это нехорошо...

Обходя лужи, выискивая места посуше, Аркадий Семенович двинулся по улице вниз, мимо большого здания новой поликлиники, мимо огороженной площадки, на которой возводилось еще одно крупное здание, и повернул вправо, к гастроному, занимавшему весь низ многоэтаж-

ного дома. У газетного киоска остановился, купил свежий номер газеты и не торопясь пошел дальше.

Навстречу шли люди, старые и молодые, знакомые и незнакомые, и среди них... Чем-то эта женщина показалась знакомой. Неужто? Длинная юбка, темная кофта, платок. Лицо расплылось, потемнело, на нем много морщин. Сколько же лет с тех пор прошло?..

Когда они поравнялись, женщина искоса взглянула на него, как будто узнала, но тут же опустила глаза, готовая пройти дальше.

Он остановил ее:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте...

— Как поживаете?

— А вы?

Обмениваясь этими словами, они тем временем разглядывали друг друга, примечая и то новое, что в каждом из них появилось, и то старое, что еще можно было узнать. На обоих нахлынули воспоминания...

Он тогда только окончил педагогический институт и был направлен на работу в этот совсем еще молодой город. Преподавал в школе. Она же, эта женщина, намного старше его, работала в той школе уборщицей. Выйдя с урока, видел он ее в конце длинного коридора со шваброй в руках. С грохотом и гиканьем из всех классов вырывались ребята и, подобно горному обвалу, заполняли коридоры и лестницы. Усталыми глазами женщина смотрела на то, как исчезают под их ногами плоды ее трудов, и неясно было, глядя на нее, недовольна она или, наоборот, рада тому, что орава детей бежит по чистым свежим полам, которые она только что вымыла для них.

— У вас были тогда густые светлые кудри, — сказала женщина.

— Да, были, — с грустью ответил он.

— Все девушки в старших классах, помню, были в вас влюблены... И мои две дочери тогда учились в школе.

— Где они теперь, дочери ваши?

— О, у них уже внуки. Одна в Киеве живет, другая в Хабаровске.

— А вы?

— Я овдовела, живу одна. — Добавила: — Плохо, знаете, на старости лет жить одной...

Взгляд ее потускнел, но тут же снова оживился — не станет же она человеку, с которым так давно не виделась, говорить о своих бедах...

— Вы небось тоже на пенсии? — спросила. Он кивнул утвердительно. — До чего же хороши были у вас кудри...

— С вами, — вспомнил он, — работала еще одна уборщица, молодая. Я думал тогда, что она ваша дочь.

— Вы ее помните? Нет, это была моя племянница.

Ему тогда казалось странным, что та молодая женщина работала уборщицей. Никак не сочеталась швабра в ее руках с утонченными чертами ее очень красивого бледного лица.

— Где она теперь?

— Далеко, в Самарканде.

— Как живет ей?

— И она уже бабушка.

Помолчали. Затем женщина, явно довольная встречей, спросила:

— А что, можно меня еще узнать?

— Вот узнал же, — ответил он.

— Порадовали вы меня...

— Вы что же, думали, что вас уже не узнать?

— Столько лет прошло...

В уме подсчитал, сколько этой женщине может быть лет, — не спросишь ведь — и получилось: далеко за семьдесят. Для своего возраста она и впрямь выглядела неплохо.

— Спасибо, спасибо вам! — промолвила женщина.

— За что?

— Не забыли меня...

Поговорили еще, расстались.

Что бы ни делал Аркадий Семенович в тот день — помогал ли жене убираться в квартире, говорил ли с соседями, листал ли свежий номер газеты, — все делал он с просветленным, добрым чувством.

К концу дня накопилось так много впечатлений, что утренняя встреча улетучилась из головы. Но спать он лег с таким чувством, как будто в этот день свершилось для него что-то очень важное, доброе.

«Что бы это могло быть?» — думал Аркадий Семенович, засыпая, и вспомнил: ну да, пожилая женщина, бывшая школьная уборщица... Как посветлели ее глаза, когда он остановился! Будет ей теперь о чем рассказать соседям. Она и дочерям напишет, и племяннице.

В ее вдовьем одиночестве встреча явно принесла ей радость. Но он, чем в этой радости он повинен? Да ничем. Что особенного для этого сделал? Ничего. Просто узнал человека...

КАПЕЛЬ

1

Кап... Кап...
Кап... Кап...
Капельница высилась у изголовья. Медленно переливаясь из сосуда побольше в меньший сосуд и через резиновую трубку в иглу, вдвинутую в вену, прозрачная жидкость целительно входила в больное изможденное тело. Высокая, очень худая, немолодая сестра с озабоченным взглядом карих глаз под чуть подкрашенными бровями — до чего же искусна в своем деле! Казалось, нельзя уже найти живого места в его вконец исколотой вене, а поди же — нашла...

Капля за каплей в него вливается жизнь.

Он уже в силах повернуть голову и вправо, и влево, к окну. Ему давно хотелось это сделать. Окно залито солнцем. Самого солнца не видно, оно прячется в немыслимой высоте, а свет его заполняет окно. Но — что это? И там, за окном:

Кап... Кап...

Кап... Кап...

Слегка закружилась голова.

Сестра тут как тут. Что-то нужно? Плохо?

«Нет, ничего... Хорошо...» — ответил он не губами — для этого был слишком слаб, — одним лишь взглядом глубоко запавших тускло-голубых глаз, прятавшихся в густой морщинистой сети. Над тонкими иссиня-бледными губами едва слышно выдохнулось:

— Благодарю, Ларочка.

Первое время все допытывался об ее отчестве.

— Да зовите меня просто Ларисой. Если хотите — Ларой.

— Как можно, — возражал он, — у вас, поди, уже дети большие?

— Ну и что, — отвечала она. — Вам-то я в дочери го-
жусь.

— Это так, — согласился он. — А то и во внуки.

— Ну уж — во внуки. . .

— А почему бы и нет?

Интереса ради хотелось бы ему знать, сколько ей лет. Он скажет, сколько ему, а там и подсчитать можно. Но для этого не было сил, и он только едва слышно произнес:

— Можно, буду звать вас Ларочкой? Хорошо?

— Пусть так, — согласилась она.

Вот уже третий день, как его перевели в эту палату. Раньше лежал в другой, намного большей. Кроме его кровати стояло их там еще восемь. От батарей исходил несносный жар, было душно. Его кровать стояла ближе к двери, и ему было несколько легче. Лежавшие ближе к батарее жаловались, что им нечем дышать. Трижды на день проветривали палату. Другие больные, все они были ходячими, выходили в коридор. Его же, неподвижного, плотно укрывали двумя одеялами. Под ними вскоре стало жарко, а голову студил морозный воздух из раскрытых форточек. . .

— Мы переведем вас в другую палату, — обещала Ада Михайловна, его молодой лечащий врач.

И вот перевели.

Новая палата намного меньше. В ней всего четыре кровати, к тому же три из них не заняты. Он здесь один. Просторно, светло. Когда перевозили его сюда, он заметил узкую табличку над дверью, но что было написано на ней, не успел разобрать. Ему очень хотелось знать это, но все как-то забывал спросить.

Ему стало легче. Капельница — кап. . . кап. . . Он видит, как прозрачные крупные капли из большого сосуда падают в меньший, и ему кажется, что он слышит, как они переливаются там. . . Но разве это возможно? Наверное, ему мерещится. Нет, он явственно слышит: кап. . . кап. . . Или галлюцинация слуха? Он слегка поворачивает голову к окну. Все оно в ярком солнечном свете. А там за окном он вдруг видит капель. . . Галлюцинация зрения? Он еще более поворачивается к окну.

Подбежала сестра:

— Вам плохо?

«Нет, Ларочка. От слабости, видимо, галлюцинируют у меня и слух, и зрение. Что там, за окном?» Все это высказывает он ей одним лишь взглядом глубоко запавших тускло-голубых глаз. Иссиня-бледными губами он в силах лишь произнести:

— Кап-кап?..

— А, — сразу поняла его сестра. — Ну да, на улице тоже — кап-кап... С крыш...

— С крыш? — слабым голосом переспросил он.

— Да, — весело сказала Лара, — скоро весна.

— Весна?

— Да, на дворе уже март.

Он отвернулся от окна, вытянулся под одеялом, положил поверх него бледную худую руку. Значит, не галлюцинация. Капель. Март...

И стало перед ним вдруг странное видение: огромная капельница — солнце... Опасно больная — земля... Переход от одного состояния в другое всегда таит в себе смертельную опасность... Между ними, между солнцем и землей, изливаются светлые капли... От солнца к земле — кап... кап... Как из капельницы в его ослабевшее тело...

Откуда вдруг это видение? И вовсе не вдруг. Часто являлись, бывало, ему такие вот фантастические видения. Ему бы как-то их запечатлеть, но никогда он этого не делал. Кто знает, такое вот видение да иному поэту... А может, и сам в себе когда-то загубил он поэта? Поздно теперь об этом гадать... Когда-то очень давно, в юности еще, грешил он иногда стихами. Родственникам, девушке, которую он любил, стихи нравились. Однажды послал он несколько своих произведений в редакцию столичного журнала. Ему ответили, что форма его стихов устарела, советовали читать современных поэтов. А он их и так читал. Влюблен был в литературу, поэзию. Вот и стал он потом, по окончании института, преподавать литературу, язык. Преподавал в разных школах до самой пенсии, а на пенсию вышел гораздо позже положенного срока, уже под семьдесят. Из последней школы, где работал, никак не хотели его отпустить, да и ему уходить не хотелось, но всему положен свой срок. И хотя он не работал больше в школе, все же не переставал туда ходить, помогал проводить внеклассную работу, занятия в литературном кружке.

Поэтом не стал. Ну что ж, не всем ими быть. Зато у скольких поколений учеников воспитал он чувство любви к тому, что сам боготворил, — к волшебству художественного слова... Кого только нет среди тех, кого он за долгую свою жизнь учил и воспитывал, — инженеры, конструкторы, рабочие, преподаватели, врачи, партийные работники, геологи, учителя, журналисты — разве всех

перечислишь? Но чем бы каждый из них ни занимался, — он, их учитель, в этом был уверен, — они понимали и любили поэзию. А это помогает человеку стать поэтом в своем деле. Да, в этом он глубоко убежден, поэт не только тот, кто сочиняет стихи. Разве мост над рекой — не поэма? А построенный дом? А хлебное поле? В любом деле можно стать поэтом. Да вот и сам он — теперь-то уж может он себе признаться, — разве не был он в своем педагогическом деле поэтом? Но почему — был? Он пребудет им до конца...

За долгую жизнь он многое успел сделать. Можно было, конечно, свершить и больше, но физические возможности человека имеют предел. Пошел ему семьдесят шестой год. Ровесник века. Вместе с ним увидел свет. Но наступит час, когда век скажет: «Пора и честь знать...» — «Что ж, — ответит он, — и на том благодарствуем»...

Три недели тому назад привезли его сюда с инфарктом. Инфаркт оказался тяжелым, обширным и был уже третьим в его жизни. Первый — вскоре после войны. Войну прошел он всю, с первого дня и до последнего. Начал политруком роты, а окончил комиссаром полка. Предлагали остаться в армии, но его влекло в школу, к ученикам. Было и тут нелегко. Многое за годы его работы в школе менялось. Поначалу, в такие уже теперь далекие двадцатые годы, — а он тогда начал свой учительский путь, — была трудовая школа, подразделявшаяся на группы. Семь групп. Затем трудовая школа была преобразована в политехническую, несколько погодя — в общеобразовательную, с разделением на классы. Десять классов. Затем одиннадцать. И снова десять. Одно время мальчики и девочки учились вместе. Потом раздельно. Затем опять вместе. Для его предметов, как ему казалось, в учебных программах, которые тоже часто менялись, уделялось недостаточно места. Много горьких минут и часов доставляла ему методика преподавания, предписываемая в справочниках и инструкциях. До физического страдания ранило его выражение «проходить». Писателей «проходили»... Пушкина... Толстого... Маяковского... «Какое кощунство!» — думал он об этом. Конечно же, чтобы дать правильное представление о писателе, необходимо охарактеризовать его эпоху, экономическое положение страны, в которой он творит, показать борьбу классов и то, как отразилась она в творчестве писателя. Это необходимо. Но не одним только этим

можно объяснить все в творчестве художника. Вот пушкинское «Я помню чудное мгновенье». Неужели его объяснишь только политическим строем и экономическим положением в крепостнической России? А одно время ведь это и ставилось во главу угла...

В то время и ему попало.

Он полагал, что на примере пушкинской лирики надо учить молодых людей проникновению в тончайшие нюансы человеческих переживаний, будить в них стремление к нравственной цельности, красоте, способности красоту эту искать, находить. Он считал своим долгом, насколько это было в его силах, раскрывать перед своими питомцами чудо того мгновения, когда является перед поэтом «гений чистой красоты».

На одном из уроков, когда об этом шла речь (в классе царил напряженная тишина), присутствовала методист городского отдела народного образования, пожилая женщина в темных очках. Во время перерыва она высказала учителю свое восхищение уроком. «Я просто наслаждалась» — так дословно выразилась она, да так оно, вероятно, и было. Но в своей докладной, поданной заведующему отделом, эта дама не преминула отметить как явный криминал тот факт, что из двух пушкинских стихотворений, «Чаадаеву» и «Я помню чудное мгновенье», преподаватель уделил первому только десять минут (она это проверила по часам), а второму — пятнадцать. «И это в то время, — добавляла она, — что второе стихотворение вообще в программе не значится». И тут же следовали выводы. Первый: преподаватель проводит на уроках сомнительные эксперименты, ни с кем предварительно их не согласовав. Второй: вместо того чтобы воспитывать в учащихся классовое чутье, им внушается вредная аполитичность — любовь к женщине ставится выше любви к Родине...

И пошло-поехало. Начались проработки на педагогическом совете школы, на секции преподавателей языка и литературы. Его имя стали склонять в докладах и отчетах руководителей народного образования города. Тогда-то, во время одной из очередных проработок, и хватил его второй инфаркт...

Вспоминая об этом, впоследствии он говорил:

— О, я помню «чудное мгновенье»...

Но все это в прошлом. Свои проблемы есть у школы и теперь, но в преподавании его предметов уделяется больше внимания эстетическому смыслу произведений

писателя. Во главе угла не только идейное, но также и эстетическое, нравственное значение художественного слова. Разве можно пренебречь таким могучим средством воспитания, каким являются поэзия, музыка, театр, кино... Намного лучше работалось ему в последние годы. Недаром так не хотелось расставаться со школой. Но пришлось. Старость, как говорится, не радость.

И вот — третий инфаркт. И не было как будто никаких для этого предпосылок. Жил он в последние годы спокойно, всего хватало, в том числе и почета. Почти полгорода — его ученики. Имя — Рафаил Исаевич Серебрянский — произносится в городе с уважением. Правда, спутница жизни — почти полвека прошагали они вместе — его не послушалась. Говорил он ей (и у нее пошаливало сердце): «Переживи меня...» — «Нет, — отвечала, — хочу, чтобы ты пережил меня...» Так, по ее, и вышло. Вот уже четвертый год, как нет ее с ним. Был у них сын, совсем молодым погиб на войне. Он сам вернулся, сын — нет. Дочь была, рано умерла. Дети ее, внуки, давно уже взрослые, живут в разных краях, лишь изредка о себе напоминают открыткой. Но у него ли нет детей и внуков! Сколько их, бывших его учеников, и детей этих учеников, которых он тоже учил, и даже внуков этих учеников... Многие до сих пор пишут ему, советуются. Приходят и приезжают в гости, приглашают его. Все его радует на склоне лет. А книги, сколько радости доставляют они! Немалую библиотеку собрал он, есть и уникальные издания. Все это с ним, и он со всем и всеми, и вот надо же — третий инфаркт...

— Вам плохо, Рафаил Исаевич?

Ларочка. Что за чудо! Нет, ему не плохо, ему ничего не нужно.

— Март, Ларочка? Весна?

— Да, скоро весна...

Сестра вышла. Он повернулся к окну. За ним сосульки плавают на солнце...

Огромная капельница — солнце? Земля — больна? Как подобное могло прийти ему в голову? Лишь в мозгу больного человека могла родиться такая нелепость.

Солнце... Земля... Весна... Они ни с чем не сравнимы, они прекрасны сами по себе. Или дерево, что вот заглядывает в окно. Длинные перепутанные ветви его зябко оголены и чуть трепещут на легком ветру. И что-то такое мерещится в этих голых ветвях. Что? Он долго не мог это понять.

Утомившись, слегка задремал. Затем открыл глаза, снова устремил взгляд на дерево, и вдруг ему ощутимо стало ясно, чем живут эти слегка трепещущие голые ветви. Ожиданием. Да, ожиданием... Ждут весны... А он? Будет ли еще в его жизни весна? Он спросит у Ларочки. Вот вошла она в палату, склонилась над ним. Как он себя чувствует? Хорошо? Ну, пусть примет эти таблечки. Подала стакан, и он немного отпил. Сейчас он у нее спросит. Нет, не об этом — о другом:

— Ларочка...

— Что, Рафаил Исаевич?

— Когда меня перевозили в эту палату, я видел на дверях табличку...

— Ну...

— А что на ней, не разобрал.

— А какое это имеет значение, Рафаил Исаевич? Вы должны лежать спокойно, ни о чем таком не думать, не волноваться.

— Но что на табличке?

— Вам обязательно хочется знать? Там написано: «Палата усиленного ухода».

— А что сие на вашем медицинском языке означает?

— За больным тут постоянный уход, все время дежурит сестра.

— Чем же я заслужил такую честь?

— Ну, как... Болезнь у вас серьезная. И вы ведь уже не молоды, правда?

— Да, совсем не молод...

— Вот и лежите спокойно, ни о чем плохом не думайте...

Он прикрыл глаза, задремал.

О табличке на дверях сестра все объяснила правильно. Одного лишь не сказала: в эту палату переводят больного, когда жизнь его — на волоске...

2

Раннее утро. Капельница на месте. В окно заглядывает густая синева неба, и на ее фоне серебристо стынут копыа сосулек. Позже, в полдень, солнце затеет с ними игру...

Рафаилу Исаевичу лучше. Об этом и доложил врачу, Аде Михайловне, когда та появилась в палате.

— Это хорошо, хорошо! — повторила своим слегка певучим голосом Ада Михайловна. Когда она говорила,

казалось, что она тут же еле слышно сама себе подпевает. — Дайте-ка мы вас послушаем.

Грациозно присев на край кровати (все, что бы ни делала Ада Михайловна, получалось у нее грациозно), она приставила к седой путанице волос на груди учителя металлический кружочек. А он любовался ею. Ему приятно было смотреть на ее сосредоточенное лицо и следить за еле заметной улыбкой, которая таилась в уголках ее губ...

— Ну вот и хорошо! Очень хорошо! — певучим голосом сказала Ада Михайловна, поднимаясь. — Вы, Рафаил Исаевич, молодцом!

Взгляд ее больших карих глаз под слегка подсиненными веками, ее голос, улыбка — все это успокоило и взбодрило старого учителя. Состояние это длилось до самого полудня, когда Ада Михайловна снова появилась в палате.

— Рафаил Исаевич, — подошла она к его кровати, — вы не спите?

— Нет, нет, что вы, — ответил тот. — Сегодня мне намного легче, Ада Михайловна.

— Это хорошо. У меня к вам просьба, Рафаил Исаевич.

— Ко мне?

— Да.

— Просьбы бывают у больного к врачу, но...

— Представьте...

— Слушаю.

— Вас не затруднит, если сюда ненадолго зайдет группа учащихся из медицинского училища? Нет? Вот и хорошо.

Ада Михайловна пошла к дверям, но, полуобернувшись, добавила:

— Возможно, они вас о чем-то спросят. Захотите, ответите, нет — нет.

— Пусть заходят.

Рафаил Исаевич знал: кроме работы в больнице Ада Михайловна руководит еще практическими занятиями в городском медицинском училище. Он уже видел ее с группой учащихся в той палате, где лежал прежде. Там они интересовались больным, который страдал аллергией.

— Пусть заходят, — повторил Рафаил Исаевич.

Спустя несколько минут пришлось ему зажмуриться от обилия белизны, заполнившей небольшую палату: мо-

лодые девушки и парни — девушек больше — в отутюженных белых халатах, в высоких накрахмаленных шапочках — тесно столпились у его ног. Некоторое время больной и студенты безмолвно смотрели друг на друга, и до чего же непохожие мысли владели при этом ими.

Они думали: старость — как это страшно...

Он: какое счастье (им это невдомек) быть такими юными...

Кто равнодушно (успели привыкнуть), кто с деланным, кто с истинным интересом, кто с жалостью смотрели на изможденного старика с редкими седыми волосами вокруг голого черепа, с запавшими глазами, с глубокими, как рывины, морщинами вокруг впалого рта.

А он остатками сил, которые еще теплились в нем, жадно впитывал в себя свежесть и свет, которые излучали эти молодые лица. Ему показалось на миг, что каким-то чудом попал он в девственный лес — и там, от скрытого в траве ключа, повеяло на него прохладой... Какие юные, почти еще дети, а вместе с тем какая серьезность в лицах, каждый из них уже выбрал свою дорогу в жизни. Вот эта девушка впереди, в очках, такая маленькая, с мелкими угорьками на личике. Когда-нибудь выйдет из нее, возможно, знаменитый врач. А эта, рядом, высокая, стройная, какие развитые формы, что за дерзкий (теперь чуть приглашенный) взгляд. Эта в жизни свое возьмет! У некоторых — почти детские лица и крупные, крепкие фигуры — акселерация! А вот двое, паренек и девушка, явно ростом не вышли... И от всех так и веет энергией, жизнью, будущим... Какая радость видеть их тут, рядом!...

— Люда, ты хотела о чем-то спросить у больного? — обратилась Ада Михайловна к девушке в очках.

— Да, — ответила та, покраснев.

— Ну, подойди ближе, спроси.

Люда отделилась от группы, подошла ближе к Рафаилу Исаевичу.

— Давно вы уже болеете?

Он молча смотрел на нее. Скольких учеников перевидал он на своем веку и как хорошо их понимал. Вот эта, бедненькая, не о том вовсе должна была спросить. Забыла — о чем, и стоит смущенная...

— Не так давно, доченька, — слабо ответил он, — нет еще и месяца.

— А до того?

— До того я был здоров.

- А раньше когда-нибудь был инфаркт миокарда?
- Был...
- Давно?
- Лет пятнадцать тому назад.
- Больше не было?
- Был.
- Когда?
- Лет двадцать назад. Тебя на свете еще не было.
- В какой форме?
- Микро...

Люда овладела собой, четко задавала вопросы. О чем спросить сразу должна была, тоже все вспомнила. Чем болеет, должна была она спросить, сделав вид, будто не знает. К чему? Ведь прежде чем ввести их в эту палату, Ада Михайловна сказала им, и при взгляде на изможденного старого человека у Люды защемило сердце от жалости к нему и ей просто захотелось узнать, как долго он болеет.

— А что вы чувствуете теперь?

— Чтобы тебе, доченька, никогда так себя не чувствовать.

— Ну вот, — вмешалась Ада Михайловна, — не будем больше беспокоить больного. Пожелаем ему выздоровления и перейдем в другую палату.

Сверкающие белизной халаты потянулись к дверям. Вошла Лара:

— Не утомили вас, Рафаил Исаевич?

— Что вы, наоборот.

— Что — наоборот?

— Такие молодые, славные... Один вид их прибавляет здоровья... Ларочка...

— Что, Рафаил Исаевич?

— Позовите Аду Михайловну.

— Сейчас?

— Да.

— Вам плохо?

— Нет.

— Что же?..

— Мне надо ей что-то сказать.

Сестра вышла и вскоре вернулась.

— Ада Михайловна просила передать, что, если это не срочно, она зайдет позже. Проводит группу и зайдет.

— Нет, это не срочно, — ответил Рафаил Исаевич и загляделся в окно. Там зябко трепетали голые ветви.

Большой задремал. Когда он очнулся, Ада Михайловна стояла у его постели. Она не ожидала, что сейчас он откроет глаза. Красивое лицо ее было печально и строго. Но длилось это мгновение, не больше.

— Я замучила вас своими подопечными?

— Нет, что вы! Я хотел вас попросить...

— О чем?

— Присядьте, пожалуйста.

Она присела.

— Я хочу попросить вас, Ада Михайловна, сказать мне правду.

— О чем?

— Скоро вот весна. Уже каплет с крыш, я вижу...

— Да, скоро весна, — подтвердила Ада Михайловна.

— Так вот, — прошептал Рафаил Исаевич, — будет ли она... и для меня?

— Весна?

— Да.

— И вы сомневаетесь?

— А вы думаете, нет для этого повода?

— Сомневаться запрещаю.

— А если все же...

— Что все же?

— Если мне будет плохо... Хочу попросить вас... — Он с трудом перевел дыхание. — Хочу вас попросить еще раз прийти сюда с...

— С кем?

— Со своими подопечными.

— К чему? — удивилась она.

— Такие юные они... Такие славные... — Он осторожно притронулся к ее руке. — Помните, у Пушкина... — Опять перехватило дыхание.

— Что у Пушкина?

— «И пусть у гробового входа...» — прошептал он и осекся. Она тревожно взглянула на больного и вопросительным тоном — это ли имеет в виду — закончила: — «Младая будет жизнь играть!»

Учитель посмотрел на нее с благодарностью. Глаза его повлажнели.

— Вы помните?

— Помню.

— Вот, вот, — повторил он, — младая жизнь...

Ада Михайловна встала.

— Младая жизнь — хорошо. А об остальном думать не надо...

— Но вы обещаете?

— Что?

— Прийти еще раз с вашими питомцами?

Она обещала.

Но когда Ада Михайловна на следующее утро пришла в палату, старого учителя уже не стало.

Это случилось на рассвете. Ларочка закрыла ему глаза.

А день разгулялся солнечный, теплый. Всеми своими голыми, полными ожидания ветвями трепетало дерево за окном.

Звенела капель.

ТЮЛЬПАНЫ

В последнее время Ефим Лазаревич остро почувствовал свою вину перед женой. Нет, он никогда ей — боже упаси! — не изменял. У него и в мыслях не укладывалось, как мог бы он не жить с нею, своей славной, преданной, благородной Лией. И все же вина его перед нею была велика, хотя и складывалась она из мелочей. Но мелочей этих накапливалось все больше, со временем их взгромодилась целая гора, и гора эта как бы встала между ними.

Внешне все было, как теперь говорят, нормально: вместе вели хозяйство, воспитывали детей. Двое было у них — сын и дочь. Выучили — оба окончили институты. Женили сына, дочь выдали замуж — оба живут отдельно своими семьями.

А гора — растет.

Может быть, Ефим Лазаревич — так он думал теперь — вовсе и не был в этом виноват, а виноваты были обстоятельства жизни и то, как они для него сложились.

Не успел окончить школу, началась война. Четыре года на фронте. Войну закончил в Чехословакии. Там и встретились они с Лией. Он, раненый, в госпитале, она — медицинская сестра.

Сошлись. Домой уезжали мужем и женой. Тут родился их первенец.

Поступить в институт, как Ефим собирался, не пришлось, надо было содержать семью. Профессии не было, не успел приобрести. Стал служащим, кое-что делал в одном учреждении, в другом. Потом перевели на совет-

скую работу, в районный исполнительный комитет, а со временем — в областной. Поработал тут инструктором в отделе, позже заместителем заведующего, а в последние годы — заведующим.

Все время — командировки, заседания, совещания. Это съедало много времени. Домой прибегал на обед, второпях проглатывал его — и на работу. Иногда жена спрашивала: «Понравились тебе пирожки?» Она — это он потом понял — доставала печенку, пекла пироги, специально старалась, чтобы сделать ему приятное, а он и не замечал, что ел, — некогда...

Вечером, довольно поздно, после очередного совещания или заседания, являлся домой, наскоро ужинал, опять-таки не замечая, что кладет в рот, и оставалось только сил заглянуть в газету и подремать у телевизора.

И так — изо дня в день.

В первые годы их совместной жизни Лия пыталась требовать к себе внимания, протестовала против такого образа жизни, но потом махнула рукой.

Пока дети были маленькими, пока вырастали, учились — а она все эти годы еще и работала в поликлинике, — по правде сказать, некогда было замечать невнимательность мужа.

Но вот дети живут уже самостоятельно, они, родители, на пенсии, и можно было ожидать, что теперь, пусть с опозданием, что-то в их жизни изменится. Но нет, как установилось годами, так и шло. Внешне все пристойно, посторонний взгляд не приметит ничего плохого, но гора, выросшая между ними, так и стояла. Лия попыталась ее сдвинуть. Однажды она спросила:

— Ты помнишь, что у тебя есть жена?

— А как же? — ответил Ефим Лазаревич, заглядывая в газету.

— А есть ли тому какие-нибудь доказательства? — спросила она.

— Нужны доказательства? — удивился он.

— Впрочем, — заметила Лия, — доказательств хватает. Встаешь утром — готов тебе завтрак. Обед и ужин тоже вовремя. Квартира убрана...

— Что же нужно еще? — вырвалось у него в виде шутки. Но шутки не получилось. Получилась глупость. Он хотел тут же поправить сказанное, но — поздно.

— Вот как? — сказала Лия. — Больше ничего не нужно? — и она ушла в другую комнату. Значит (это он знал по опыту), рассердилась.

— Лия! — крикнул он вслед. — Ты не так меня поняла...

— Я все поняла, — донеслось из другой комнаты, и он мог бы поклясться, что в голосе ее дрожали слезы.

Но он не понимал, чего, собственно, она требует. Правда, и теперь, когда он уже на пенсии, у него были дела. Он выполняет общественную работу — не может же он сидеть вовсе без дела. Немало времени проводит у телевизора, особенно когда показывают футбольные и хоккейные матчи. Неужели он должен лишить себя и этого удовольствия?

Когда Лия в другой раз завела об этом речь, он с недоумением ответил:

— Я не пойму, чего ты требуешь.

— Не поймешь?

— Нет. Не пьянствую, не пропадаю по вечерам. К другим женщинам не хожу...

— Этого еще не хватало! — воскликнула Лия.

— Но не хожу ведь.

— За это тебе — большое спасибо! — сказала Лия и ушла в другую комнату.

Прошло некоторое время.

Однажды, придя с рынка и выкладывая на кухне свежий лук, редиску, Лия сказала:

— Знаешь, Фима, — продают уже цветы.

Он как раз просматривал свежую газету.

— Ты слышишь, что я говорю?

— Слышу.

— Много разных цветов продают.

— Угу, — буркнул он, переворачивая газетную полосу.

— Я так люблю, когда в доме цветы.

Он никак не откликнулся, но почувствовал, что она ждет ответа.

— Ну и купила бы, — сказал он.

На этот раз не последовало от нее ответа. У него мелькнула мысль: что-то тут не так, хотел взглянуть на жену, но, заметив в газете фельетон, углубился в чтение.

На следующий день Ефим Лазаревич был на рынке. После того как вышел на пенсию, он иногда сюда наведывался. Тут и знакомого встретишь, и новость узнаешь, и что-нибудь купишь. В этот раз Лия просила его принести пару килограммов картофеля. С этой покупкой он и направился домой.

У выхода с рынка Ефим Лазаревич увидел длинный прилавок, уставленный цветами. Подошел. Вчера Лия как-то загадочно умолкла в ответ на его вопрос, почему не купила цветов.

— Сколько стоят ландыши? — спросил он у полной женщины, продававшей их.

— Два букетика — рубль.

— Рубль? — удивился он. — А это что за цветы? — большим знатоком в этом деле Ефим Лазаревич не был.

— Тюльпаны.

— Сколько?

— Рубль цветов.

— Рубль цветов? — удивился он еще больше. И он, и Лия получали неплохую пенсию, им хватало на жизнь, но рубль цветов? Грабеж! Однако из головы не шло у него вчерашнее молчание Лии. И почему она сама не купила цветов? Только ли потому, что дорого стоят? Нет, тут что-то не так. Он вспомнил ее разговоры о «доказательствах». Тогда он отмахнулся, но она ведь права... — Дайте мне, — сказал он женщине, — пару букетиков ландышей.

Она подала их и предложила:

— Купите, милый человек, еще пару тюльпанов.

Он промолчал.

— Купите, — уговаривала она, — за такой букет жена вас расцелует.

— Вы думаете? — спросил он.

— Уверена.

Так красиво выглядели в зеленом обрамлении еловых веточек алые чашечки тюльпанов на длинных ножках.

С рынка Ефим Лазаревич уходил так: в одной руке кошелка с картофелем, в другой букет. Заметил: встречные, особенно женщины, то и дело посматривают на него. Не сразу понял — смотрят на букет. Ефим Лазаревич не любил привлекать к себе внимание. Проходя мимо киоска, он купил газету и завернул в нее цветы. Лишь поднявшись на третий этаж, у самой двери своей квартиры, он убрал газету и нажал на кнопку звонка.

Увидев букет, Лия зарделась и будто на глазах помолодела.

— Это тебе, — сказал Ефим Лазаревич, переступая порог.

Она крепко обняла и поцеловала его так, как давно не целовала. Потом прижала на миг цветы к лицу, а ко-

гда, отняв их, взглянула на Ефима Лазаревича, глаза ее светились, как когда-то давно, в молодости...

— Она так и сказала... — произнес он.

— Кто? — не поняла Лия.

— Женщина, у которой я купил цветы.

— Что сказала?

— Что ты меня поцелуешь...

Лия убежала за вазой для цветов.

НОРМАЛЬНО

Не знаю, как вам, а мне по душе оно, юное, подрастающее наше поколение. Славные растут ребята — и юноши, и девушки. Рослые (акселерация!), пригожие, смышленные, талантливые. Что же касается знаний, мы, деды их, и помышлять о таком не могли. И не диво: живут-то они в какое время — научно-техническая революция, шутка ли сказать! Разнообразнейшую информацию каскадами извергают радио, кино, телевидение, книги, газеты... И не захочешь, а уже птенцом желторотым столько будешь знать, сколько в прошлые времена не снилось и иному профессору.

Один недостаток у нашего юного поколения все же есть. В чем он состоит, хотите знать? Мне сдается, в том, что не любят они, юнцы наши, говорить. «Кому нужны болтуны!» Вы правы, болтуны не нужны, но и в молчании надо знать меру. Вот послушайте. Старшему внуку моему исполнилось шестнадцать лет, и он получил паспорт. Это решили отметить, созвали родственников, друзей. Сидели за столом и молодые ребята, одноклассники внука, все, как и он, с длинными волосами и едва пробивающимися усиками. Этим, внешним видом, они и выделялись за столом, и еще — молчанием. Кто постарше, поздравили виновника торжества, пожелали ему расти хорошим человеком, честным гражданином. Сверстники же после каждого такого тоста исправно подносили к губам рюмки с легким вином, которое им поставили, с аппетитом закусывали и... молчали. Хотя бы словечком кто-нибудь из них обмолвился...

И так весь вечер. Затем Игорь, внук, заявил, что они пойдут прогуляться. Так же молча, как просидели вечер, поднялись и, не попрощавшись, ушли.

Меня это, конечно, удивило и, если хотите, обидело. «Как это можно, — думал я, — просидеть вечер с людьми, не проронив ни слова? У них что, язык отнялся?» Так нет же, знаю, язык у каждого подвешен что надо. Как же это понимать? Скажем, молчали из чувства уважения к нам, старшим? Не смели то есть в нашем присутствии рта раскрыть? Это бы еще куда ни шло. Но опасаясь я, что причина тут была иная. Не из уважения к нам, старшим, в рот набрали они воды, а совсем наоборот, тут как раз проявилась молодая заносчивость: перед кем, мол, бисер метать? Что они могут понять, старые хрычи?..

Конечно же я рад бы оказаться неправым.

Ну а когда молодые люди собираются вместе без старших... И в этом случае языки не очень-то пускают в ход. В ход идет другое. Сразу же включается радиолка, гром такой, что чуть не рушится потолок, и начинаются танцы — наимоднейшие танцы с прыганьем, дрыганьем и кривлянием. Язык тут вовсе ни к чему.

А когда все же заговорят — заметили? — норовят обойтись минимумом слов, а то и вовсе половинками и четвертушками слов: па... ма... ба... К чему, например, произносить слово «рубль», когда достаточно первой буквы... Например: «Сколько ты уплатил за свои новые джинсы?» — «Сто пятьдесят рэ». Просто и понятно...

Когда же в употребление идет целое слово, в него пытаются вместиť сразу уйму понятий. Для каждого понятия отдельное слово? К чему эта роскошь? Экономить надо, экономить во всем, особенно — в выражении чувств. Никто — боже упаси! — не должен заподозрить тебя в наличии хотя бы малейших сантиментов. Им отдали достаточную дань отцы, деда, одним словом предки. Они же, молодые, на этот крючок не попадутся. Нет, не в чести у них длинные речи, объяснения в любви и прочее. Не жди, чтобы раскрыли перед тобой душу. Чего ради? Подберут слово, одно-единственное, — хотите, оно что-то пояснит, а хотите, не пояснит ничего, но оно — на все случаи жизни.

Расскажу о внучке. Лена учится в педагогическом училище, на втором курсе. Так случилось, что отца направили на работу в соседний город. Вся семья переехала, а Лена до окончания учебы осталась с нами, бабушкой и дедом.

Лена пришла домой, мы ждем ее с обедом.

Спросишь:

— Как у тебя сегодня дела, Лена?

— Нормально.

— Тебя вызывали?

— Да.

— Как ты ответила?

— Нормально.

— Что значит «нормально»?

— Пять.

Назавтра:

— Сегодня тебя тоже вызывали? (Не будь этого вопроса, Лена вообще ничего не рассказала бы.)

В ответ — кивок.

— Тебя ведь спрашивают.

— Я же говорю...

— Что ты говоришь?

— Да.

— По какому предмету вызывали?

— По литературе.

— Ну и как?

— Нормально.

— Как это понять?

— Четыре.

Бабушка:

— Вчера «пять» было нормально, сегодня «четыре».

— Да, нормально.

После учебы Лена часто заходит на почтамт и звонит по междугородному автомату папе или маме.

За обедом:

— Ты звонила сегодня домой?

— Да.

— Что там у них?

— Нормально.

— Игорь сдает экзамены в институт?

— Да.

— Как сдает?

— Нормально.

После обеда Лена уходит на дополнительные занятия.

За ужином она сообщает:

— Игоря положили в больницу.

— В больницу?

— Его прооперировали.

— Прооперировали?!

— Аппендицит.

— Но вчера ты говорила: «нормально».

— А что я должна была говорить?

— Как он чувствует себя после операции?

— Нормально.

Поди пойми, что под одним-единственным словом может скрываться...

Скупость эта на лишнее слово меня бы не так тревожила. Меньше словом, в конце концов, всегда лучше, чем словом больше. Беспокоит другое: не является ли эта скупость на слово признаком скупости иной... Да, вы угадали мою мысль — не является ли она выражением скупости чувств, эмоций, бедности интеллекта? Нечего, говорите, этого опасаться? Пройдет, говорите, как всякая детская болезнь? Хотел бы так думать и я. Растет ведь у нас прекрасное юное поколение! Ну, а то, что двадцать разных понятий пытаются втиснуть в одно слово... Что ж, новые времена, говорят, — новые песни... Возможно, это и нормально.

В ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ

ень выдался хмурым. Тучи висели низко над притихшей землей и, казалось, так и не смогли решить, чем ее облагодетельствовать — то ли последним снегом, то ли первым дождем... Но для снега время уже прошло, для дождя — еще не настало. Небо висело над головой в унылой нерешительности, и веяло от него зябкой тоской.

В одном-единственном месте, где плотная облачная ткань немного прохудилась, расплывчатым пятном смущенно просвечивало солнце. Казалось, оно тшится крикнуть сквозь серую пелену: «Сейчас вот, чуть подождите, прорвусь, и...» Но силы прорваться ему не хватило. Так и остался день без солнца, окунутый в промозглую мглу...

Самуил Яковлевич не любил такие дни. Когда они наступали, с особой силой ощущалась тупая боль в груди, и все тело как бы наливалось свинцом. Но и в этот день не изменил он давней привычке, не отменил прогулки.

Ему не хватало нескольких лет до семидесяти. Стариком он себя не считал, но вот уже некоторое время, особенно в последние год-два, стал замечать за собой неладное — появилась ломота в спине, стал быстро уста-

вать. Предпринимать длительные прогулки, как бывало, теперь не отваживался. Сегодня вышел он пройтись только по двум близлежащим улицам.

По дороге он каждый раз обязательно наведывался в книжный магазин и даже делал для этого изрядный крюк. Тут любил покопаться в букинистическом отделе, иногда ему удавалось выудить и что-либо нужное. И в этот раз перебрал он большую кучу книг, журналов, но не нашел ничего стоящего. Вышел, переждал вереницу такси, автобусов и перешел на другую сторону улицы. Вошел в здание универмага. Глаза разбежались от радужного многоцветья тканей, одежд, предметов обихода. В годы его молодости, с грустью подумал Самуил Яковлевич, не видать было ни таких универмагов, ни такого обилия товаров. Что и говорить, жили тогда, мягко говоря, скромнее. Но — странное дело — это не замечалось, некогда было... Вся жизнь бурлила безудержным порывом к большому, светлому... Неодолимо было стремление работать, не считаясь ни с чем, строить, одолевать трудности. Такая жизнь разве могла выглядеть бедной, серой?

Улица, по которой Самуил Яковлевич продолжал свой путь, являлась как бы иллюстрацией на тему: сегодня и вчера. С одной стороны серо и буднично жался к земле длинный ряд одноэтажных деревянных домов, с другой — гордо возвышались, тянулись к небу многоэтажные каменные громады. Так много праздничного света переливалось в сверкающей многочисленности окон, в ярко и по-разному расцвеченных балконах. Казалось, — по крайней мере, ему, Самуилу Яковлевичу, так казалось, — что между домами через улицу идет, не прекращаясь, большой важный разговор. Причем деревянные дома ведут его без всякого унижения. Наоборот, они как бы с вызовом и укором обращаются к каменным красавцам: «Нечего нос задирать! Не будь нас, и вас бы тут не было...» Так одна сторона улицы выговаривала другой, вернее, так Самуил Яковлевич представлял себе это. Его радовало каменное величие с правой стороны улицы, и у него щемило сердце от деревянной убогости слева. В одном из этих строений и сам он прожил много лет. Тут выросли его дети. Теперь он вот уже несколько лет живет в новом микрорайоне неподалеку отсюда. Туда Самуил Яковлевич и направился теперь.

За ближайшим углом его ждала нечаянная встреча.
— Сколько лет, сколько зим! — воскликнула, увидев его, высокая женщина.

— Здравствуйте, — в тон ей ответил Самуил Яковлевич, останавливаясь.

Женщина была немолода, но в ее облике, в манере держаться что-то еще сохранилось от былой красоты. Или, может, это ему только казалось?

— Так давно мы не виделись, — с сожалением сказала женщина.

— Давно, — подтвердил он.

— Впрочем, что же удивительного? — заметила она. — Когда люди на пенсии, они больше сидят дома. Где им видеться?

— И вы уже на пенсии? — удивился Самуил Яковлевич.

— По мне еще не видно? — с чуть заметным кокетством спросила женщина, и глаза ее на миг блеснули по-молодому.

— Ни за что не сказал бы...

— Принимаю комплимент.

— Нет, Этинька, неужто? — промолвил он. — Кажется, все это было вчера...

Этинька... Так звали эту женщину в молодости. По-девичьи смущенно, как будто все еще оставалась той самой Этинькой, она сказала опустив глаза:

— Ох, не вчера, Самуил Яковлевич! — И добавила со вздохом: — Ох, дорогой, не вчера...

Уже попрощавшись, разойдясь, — она пошла в одну сторону, он в другую, — Самуил Яковлевич, медленно продолжая свой путь, думал об этой женщине. Много лет назад — он тогда был совсем еще молодым, Этинька того моложе — между ними завязалось нечто такое, что неминуемо должно было привести к свадьбе. Помешала война. Самуил Яковлевич ушел на фронт. Она эвакуировалась, и потеряли они друг друга. Встретились тут, в этом городе, много лет спустя, когда у обоих были семьи и взрослые дети. Изредка случайно увидятся, вот как теперь на улице, глянут друг другу в глаза, и в них блеснет воспоминание о том, что было, казалось, вчера. «Ох, не вчера», — со вздохом сказала женщина, и она права — не вчера...

Не доходя полутора-двух кварталов до своего дома, Самуил Яковлевич почувствовал ломоту в спине. Это

с ним случалось всегда, когда он затягивал прогулку. Ему необходимо было сесть, и он направился к автобусной остановке, где пустовали две скамейки.

Эта часть города была далеко от центра. Курсировал здесь один автобус, да и тот появлялся нечасто. Для удобства входящих и выходящих из автобуса на остановке несколько возвышался узкий длинноватый прямоугольник, залитый асфальтом и красиво обрамленный кирпичом. Тут-то и стояли скамьи.

Несколько отдышавшись и почувствовав, что ломота в спине понемногу отпускает, Самуил Яковлевич огляделся. Шагах в десяти от него дети играли в классики. Две девочки, поочередно прыгая на одной ножке по очерченным мелом квадратам, перебрасывали плоский камешек из одного в другой. Занятый своими мыслями, он не сразу обратил внимание на играющих девочек и на крохотного малыша, который наблюдал игру старших. Малыш этот, лет двух-трех, не более, был одет «по-взрослому» в зеленый плащик с погончиками и с пояском, длинные бордовые брючки. Ему не стоялось на месте, то и дело порывался вступить — и вступал в запретные для него квадраты и мешал девочкам играть. Они каждый раз выдворяли его, и тогда он заходилась неистовым ревом. Наконец девочки нашли выход: пока одна из них прыгала с камешком, другая забавляла мальчика...

Одна из девочек была неказистой, с густой россыпью веснушек на крупном лице. Зато другая... Голубой, тонко затянутый в талии плащик, белая нежная пуховая шапочка, выглядывающие из-под нее темные тугие косички в белых бантах... Любо было смотреть, когда девочка прыгала спиной к Самуилу Яковлевичу, как подскакивают эти косички с бантами. Когда же она поворачивалась к нему лицом, он не мог оторвать взгляда от ее тонко очерченных бровей, губ. Глаза ее, черные, большие, уже теперь лучились загадочным светом. «То-то растет красавица! — глядя на девочку, думал Самуил Яковлевич. — Тут уж ничего не поделаешь, красота к себе влечет, радует. На то, очевидно, и дана...»

Он мог бы уже подняться и продолжать путь, но — странное дело — его по-мальчишески захватила игра ребятшек. самого себя вдруг увидел он малышом, так вот прыгающим по квадратам... Никто из прохожих, видевших понуро сидящего на скамье пожилого мужчину, не подумал бы, что в эту самую минуту в нем резвый постреленок ловко перебрасывает ногой плоский камешек...

«Что же это я не иду? — мысленно сам себя спросил Самуил Яковлевич. — Дома, наверное, уже волнуются». И все же он продолжал сидеть. Вдруг почувствовал: что-то его беспокоит... Что? Поначалу он не мог это объяснить, но постепенно все острее и острее начал понимать...

Сидит он вот уже довольно долго на этой скамье. В нескольких шагах от него играют девочки, но ни одна из них на него не оглянулась... «А чего ради должны они оглядываться? — спросил он сам себя. — Дети увлечены игрой и не замечают ничего вокруг». И все-таки было досадно.

По дороге сюда, продолжал свою думу Самуил Яковлевич, встретил он немолодую уже, когда-то любимую женщину, которая в его глазах не потеряла еще примет былой молодости. Звали ее тогда Этинькой, и ему на миг показалось, что было это вчера... Она со вздохом ответила: «Ох, не вчера...» Эта женщина — его прошлое, которое никогда к нему не вернется. А эти девочки? Они — будущее. Новое поколение. «Что же получается? — растерянно подумал Самуил Яковлевич. — Прошлое невосвратимо ушло. А будущее? Оно и знать меня не хочет. Оно на меня даже не оглянется».

Будто прикованный к скамье, продолжал он сидеть, не спуская глаз с играющих детей, и ему было уже не просто досадно, а обидно. «Как же так? Сидит человек. Он прожил жизнь, участвовал в войнах, смотрел смерти в лицо. Совершил немало полезного за свою жизнь. В ящике его стола — ордена, медали. Он отец большой семьи, у него внуки. И вот сидит он тут вроде бы одинокий... Две девочки играют рядом, и ни одна на него не оглянется, будто он пустое место... Вот поднимется, уйдет сейчас, а они и знать не будут, что здесь кто-то сидел. Прыгают... Прыгают, как воробьи. А я, выходит, из своего квадратика уже выпрыгнул...»

Эти девочки, вдруг осенило его, они ведь будут жить уже в новом веке... Да, в будущем веке, который начнет собой новое тысячелетие... Для него, по-видимому, путь туда заказан. А они? Они прыгнут из века в век так же легко и просто, как перепрыгивают теперь из одного мелом очерченного квадрата в другой... Ему очень хотелось, чтобы что-то и от него, от его жизни вместе с ними перешло туда, в недостижимое для него время.

Прошел один автобус, второй. Самуил Яковлевич все еще сидел и чего-то ждал.

Красивая девочка вдруг уставилась на незнакомого дедушку. Видно было, этим взглядом она как-то невзначай наткнулась на него. Целую секунду, а может быть, и больше она рассматривала его. Тихая, едва заметная улыбка таилась при этом в уголках ее губ...

В то краткое мгновение, пока девочка глядела на него, Самуил Яковлевич вдруг ощутил, как сильно забилося сердце. Так билось оно еще в далекой молодости... Само будущее глазами девочки глядело на него. Само будущее дарило ему свою улыбку...

Самуил Яковлевич поднялся и медленно пошел к дому. А девочки еще долго были увлечены игрой.

НА ЧАС РАНЬШЕ

В одиннадцать часов вечера 31 марта муж и жена Заманские чуть было не поссорились. По телевизору только что объявили, что завтра, 1 апреля, время по всей стране переводится на час вперед. Тут же, во избежание недоразумений, порекомендовали: как только большая стрелка достигнет двенадцати, перевести часы, чтобы на следующее утро проснуться уже в новом времени...

— Так мы и сделаем, — сказал Илья Заманский, дернув для верности рыжий кончик обвислых усов и усаживаясь в кресле. — Пусть так, — добавил он, — мы ничего не теряем.

— Наоборот, — заметила жена, сидевшая в другом кресле у журнального столика, — мы выиграем.

— Что мы выиграем? — спросил Илья.

— Час свободного времени после работы.

— Тем лучше, — ответил муж.

— Знаешь что, — отозвалась Рая, показывая на часы, стоявшие на своем постоянном месте на серванте, — переведи сейчас стрелки, чего ждать?

— Уже? — удивился муж.

— А что?

— Ведь только начало двенадцатого.

— Ну и что?

— Остался почти целый час в старом месяце, в старых сутках, а перевести часы надо уже в новом месяце.

Илья Заманский, надо заметить, был в какой-то мере педантом. Обвинять его не следует, этого требовала его профессия — на одном месте, в большой строительной

организации, он больше двадцати лет работал бухгалтером.

— Ровно в двенадцать, — сказал он, — я переведу часы.

— А если ты это сделаешь раньше, — настаивала жена, — с миром что-нибудь стрясется?

— Нет, мир останется на месте.

— Так что же?

— Всею свое место и свое время.

— Если так, — недовольно нахмурилась Рая, — я иду спать.

— И ты пропустишь такой торжественный момент?

— Какой еще торжественный момент?

— Переход на новое измерение времени...

Рая поднялась с кресла.

— Для меня это был бы торжественный момент, если бы ты поступил по-моему и...

— И что?

— И проделал эту операцию сейчас.

— Но, Раечка, — он тоже поднялся, — нельзя же быть такой эгоистичной...

— Чем я эгоистична?

— Как же? По всей стране часы переведут ровно в двенадцать, а ты хочешь, чтобы для тебя одной я это сделал раньше. Это ведь не игрушка в твоём детском саду...

Да, Илья Заманский был педант, этого требовала его профессия. Профессия же Раи Заманской — она около двадцати лет работает воспитательницей в детском саду — не терпит педантизма.

— Если так, — заявила она, — иду спать.

Илья опустил в кресло и смущенно дернул рыжий кончик обвислых усов.

Рая спать не легла. Она еще возилась на кухне, долго пробыла в ванной и минут за пять до полуночи вошла в комнату, свежая, пахучая, с только что вымытой головой.

— Много еще осталось, — спросила она, — до твоего торжественного момента?

— Почему это — моего?

— Сколько осталось?

— Немного, — ответил Илья, довольный, что жена здесь. — Присядь.

Обе стрелки сошлись на двенадцати. Медленно стал

водить Илья большую стрелку, пока маленькая сама не остановилась у единицы.

— Ну вот, — легко вздохнул он, как бы справившись с важным делом.

— Теперь будет, — сказала Рая, — на час раньше.

Время, время... Столько таит оно в себе скрытого, неведомого... Хочется верить, что несет оно с собой добро, только добро... И вечные опасения: а если — кто знает? — наоборот... Отсюда особая людская почтительность ко всему, что касается времени...

Все то, о чем говорилось тут между мужем и женой, говорилось не без шутки и иронии... Но когда малая стрелка остановилась у единицы, оба ощутили вдруг, что миг этот необычен. Всем своим существом оба поняли: не время властвует над человеком, а человек над временем... Потребовалось в его интересах, и перевел его вперед... И время — куда ему деться? — подчинилось... А это немало — ощутить себя хозяином времени...

Рая поднялась, подошла к мужу. Он — давно уже такого не было — привлек слегка ее и поцеловал влажные волосы.

— Пусть будет на счастье! — прошептала она.

ОШИБКА ПОЧТАЛЬОНА

Почтальон теперь не приходит, как раньше бывало, к вам на квартиру, а раскладывает почту в нумерованные ящички на первом этаже, и вы сами забираете ее. Правда, если на ваше имя прибыли заказное письмо или бандероль, в получении которых надо расписаться, звонят в вашу дверь.

Так было и на этот раз. Я открыл дверь, и молодая миловидная девушка протянула мне пухлый конверт:

— Распишитесь вот здесь.

Расписался.

— А вот и газеты. Все равно поднялась, прихватила.

— Спасибо.

Я глянул на пачку сегодняшних газет и тут же хотел окликнуть девушку, даже дверь приоткрыл. Но не окликнул.

Ничего особенного не случилось. Девушка просто ошиблась: в пачке газет я увидел «Пионерскую правду», которую не выписывал.

Мало сказать — не выписывал. Не помню уже, когда эту газету видел. Могло это быть в те, теперь такие далекие годы, когда дети мои ходили еще в школу. А теперь у них свои семьи. Правду сказать, об этой газете я и думать забыл.

А вот «Комсомолку» выписываю. Вы можете сказать, что и из комсомольского возраста я давно вышел. Конечно, это так, но те, кому эта газета адресована, понимают толк в таких делах, которые для каждого возраста представляют интерес. А возможно, есть тут и еще причина, и я не постыжусь признаться: давят годы, изрядно давят. Еще бы! Не первый год в пенсионерах хожу, а сердце все еще молодо...

Но «Пионерка»... Среди других газет, серьезных, солидных, строгих, выделялась она, как в окружении взрослых озорной малыш, пестрым одеянием своих разноцветных заголовков, рисунков, заставок...

У меня с давних пор выработался свой ритуал ознакомления со свежими газетами. В первую очередь просматриваю местную, все четыре полосы. Если есть фельетон или критическая статья, прочитываю тут же. Остальное откладываю на потом. То же — с краевой газетой, с центральной. Напоследок оставляю «Комсомолку». Тут есть много такого, чего ни в каком другом издании не найдешь. Взять хотя бы «Алый парус». Какие только сообщения под этой рубрикой не встретишь: тут и искусство, и литература, и наука, и фантастика — чего только нет! Спросите, какое мое отношение ко всему этому? Самое прямое. Ведь сколько бы ты ни знал, надо знать больше. Кроме того, хочется быть в курсе — чем живет нынешняя молодежь, что интересует ее, чем увлечена? Молодежь славная у нас — умная, красивая, образованная. Куда нам! Имею в виду нас в их возрасте. Тут и сравнивать нечего. Правда, и время тогда было другое. Мы строили, затем защищали фундамент, на котором нынешнее поколение так твердо стоит. Нам было трудней. Но и они не лежебоки, нет! Один БАМ чего стоит!

Так вот, говорю, выработалась у меня за многие годы своя привычка с газетами разбираться. Но на этот раз я все их отложил в сторону и принялся за нарядную малышку... Сначала рассмотрел все цветные заголовки, рисунки, затем стал читать. И так увлекли меня все эти маленькие заметки и замечочки, что прочел я их все до единой, и — поверите ли? — перенесли они меня в иной мир... Ох как скоро мы обо многом в самих себе забы-

ваем... Золотое время — что может быть лучше и краше его? — детство... Но с годами мы отрываемся от него, как будто его и не было... Заботы, тревоги, житейская суета... К родным своим детям и внукам относимся так, как будто сами детьми никогда не были... Однако живет оно, детство, живет в каждом из нас, но как будто до времени отключено. Но иногда достаточно и пустяка — и детство наше раскрывается...

Так произошло и со мной. Я отложил газету и увидел себя... в лесу. Не только увидел, но явственно ощутил себя там... В носу защекотало от запаха смолы, набухшей на стволах... Пряно запахло мокрым мхом... Подобно богатырям в зеленых латах стояли высокие сосны. С солнечной стороны стволы их отсвечивали бронзой. Птичий гомон, шелест ветвей, шорох трав — все вокруг полно было тревожного звучания... Казалось, от дерева к дереву, от былинки к былинке шифрованным кодом передавалось: чужие... В лесу чужие... Их много... Они уже у сосен... У дуба... Среди берез...

А мы... Мы — разведчики. Там, за лесом, — противник. Сколько его? Каковы его намерения? Вот разведем, доложим и — в бой.

А это была обыкновенная экскурсия в лес. Нас, четвероклассников, привела туда учительница биологии.

Вдруг хлынул дождь, шумный, проливной, с громом и молниями. Учительница наша — у нее одной был плащ — раскинула его, и все мы под ним спрятались...

Дождь кончился, мы с ликующими криками разбежались по лесу, а он светился весь — на каждом листике, на каждой травинке сверкали капли... Мы бегали, аукали, и хотелось, чтобы лесу этому и этому дню не было ни конца ни края...

Всю жизнь люблю лес, поле. Рад, когда внезапно попадаю под летний дождь. Эту любовь и радость старался передать детям, внукам. А пошло это все, возможно, с той самой экскурсии...

Такой чудо-клад таился в душе, а я о нем забыл... Но достаточно было взять в руки весело расцвеченную газету, пробежать ее глазами, и все ожило в памяти, да так свежо, словно это было только вчера... Еще многое, давно позабытое воспрянуло в душе...

— Что-то ты сегодня выглядишь так... — заметила жена.

— Как так?

— Как будто счастье тебе привалило какое-то...

— Да, — сказал я в ответ, — привалило.

— Какое же, если не секрет?

— Не секрет, — ответил я и подал жене маленькую газету.

— Вспомнил, — съязвила жена, — когда бабушка невестой была...

— Нет, — возразил я, — речь, как видишь, о том времени, когда бабушка и не помышляла еще о женихах.

Она развернула газету, надела очки. Через несколько минут взглянул я в ее сторону и говорю:

— Никак очки у тебя мокрые?..

— Что же, — ответила жена, — разве я пионеркой не была?..

Прибежала внучка. Как всегда, впопыхах. То подружки ее ждут, то дела. Учится она в пятом классе, активистка. Заметила маленькую газету и звонко рассмеялась.

— Кто из вас, — говорит, — решил записаться в пионеры?

— Чему смеешься? — спросил я. — Думаешь, дедушка и бабушка твои пионерами не были?

— Вы — пионеры? — расхохоталась внучка.

Разве может она вообразить, что когда-нибудь станет бабушкой? Точно так же ей трудно поверить, что мы когда-то были пионерами...

Весь тот день и весь тот вечер в доме было как-то празднично. Вспоминалось многое хорошее, и говорилось об этом — как давно уже не было — бодро и весело. Виной же всему — ошибка почтальона. Спасибо ей!

РЯБАЯ ФАСОЛЬ



Десять было их, десять рябых фасолин. Голубоватые, вернее, водянисто-фиолетовые, в густой россыпи штрихов и точек. Довольно большие, плоские. Купил я их уже в разгар весны. На рынке тогда можно было приобрести много разных семян.

На нашем балконе уже не первый год стояли два узких продолговатых ящика с землей. Каждую весну в них высаживали рассаду нескольких видов цветов. Входили они не очень охотно, так как балкон на северной стороне. В большую жару, когда солнце безжалостно накаляет воздух, тут прохладно. Нам это удобно, а для цветов —

нехорошо, они любят солнце. Все же цветы всходили и все лето, до поздней осени, радовали глаз.

На этот раз случилось так, что сначала я, потом жена долго болели, и время для высадки рассады было упущено.

Чтобы земля в ящиках не пустовала все лето, я и купил рябую фасоль.

Жена была недовольна. Во-первых, почему фасоль? Во-вторых, она казалась ей порченной. В-третьих... Не помню, что было в-третьих, но жена заявила, что на фасоль эту и глядеть не хочет. Я и сам подумал, что зря все затеял. Но через несколько дней — жены как раз не было дома — решил: я ведь ничего не теряю! — и высадил фасоль. Как это делается, я толком не знал, поэтому наугад положил фасоль в теплую воду, подержал ее там некоторое время, потом высадил на равном расстоянии одну от другой по пять в каждом ящике.

Вернулась жена, и я рассказал ей о том, что сделал. Последовал недовольный вопрос: почему не подождал ее?

— Но ты ведь глядеть на эти фасолины не хотела.

— Все равно я бы это сделала лучше, — ответила жена и тут же спросила, как это проделал я.

Рассказал, и конечно же оказалось, что все надо было делать не так... Как не так, не помню, но не так... И вывод: «На моей ладони что-нибудь вырастет? Так вырастет и твоя фасоль».

— Что ж, — ответил я, — там и так ничего бы не выросло.

Был я немного нетерпелив, немного наивен, полагал: не пройдет и двух-трех дней, как моя фасоль проклюнется — и сразу видно будет, кто прав. Но прошла неделя, другая, а фасоль никаких признаков не подавала.

— Что я тебе говорила! — торжествовала жена.

Молчу. Земля в ящиках покрылась сорной травкой, но я ее не трогаю. Пусть, думаю, хоть что-нибудь зеленеет.

Каждый раз, когда мы выходили на балкон подышать свежим воздухом, жена говорила:

— Ну, где она, твоя рябая фасоль?

— А если бы ее высадила ты? — спросил я.

— Она бы давно взошла!

Молчу. Но все же обидно да и стыдно тоже. Чувствую,

как во мне назревает протест. Против кого? Да против нее же, против матушки-природы. Она ведь способна на чудеса. Недаром говорят: посади кол — и вырастет дерево... А тут своими руками посадил десять фасолин — и ничего, ни малейшего признака жизни... Может, действительно жена права — фасоль порченная — или я что-то сделал не так?

Однажды — жена как раз куда-то вышла — нагнулся я над одним из ящиков и осторожно стал разгребать землю, — может быть, птица фасоль склевала? Пальцы наткнулись на что-то мягкое, влажное. Пригляделся, и, поверите ли, меня захлестнула радость, как если бы увидел сокровище. Да это и было сокровище... Представьте: фасоль, одна из тех, что я посадил, лежала с раскрытым брюшком, и из него тянулся вверх такой нежный желтый росток... Вскоре он поднимется, выйдет наружу... Это свое сокровище я бережно прикрыл землей. Жене — ни слова.

Прошло около недели. Однажды утром вышел я на балкон и глазам своим не поверил. В одном ящике одна пара ростков, в другом — две.

«Ну, а остальные? — подумал я. — Куда подевались они? В одно время все были высажены, в одно время должны и прорасти. Но у природы, видать, свои правила: фасоль фасоли рознь. Одна появляется на свет раньше, другая позже. Одна растет быстрее, другая медленней, каждая на свой лад».

Увидев эти листочки, я тут же хотел побежать к жене, показать их, но воздержался. Пусть увидит сама. Любопытно было узнать, что она скажет теперь, когда ясно, что прав оказался я. И что бы вы думали, она сказала:

— Стоит богу пожелать, выстрелит и веник...

Ничего, думаю, говори что хочешь, лишь бы фасоль росла. А она, как на дрожжах, с такой силой пошла в рост, наверстывая упущенное... С каждым днем — выше, с каждым днем листочки больше, и среди них цепкие нити, как живые, устремились вперед, ища вокруг опоры... Бережно, чтоб не повредить листочков, я к каждому растению привязал по тонкой веревочке и прикрепил их к балкону.

Надо было видеть, как потянулись листочки вверх...

— Ну, дотянутся они до поручня, — сказала жена, — а дальше?

— А дальше увидим.

— Дальше разреши мне, — заявила жена.

И она сделала важное дело: договорилась с соседкой, которая живет над нами, та у себя на балконе привязала десять длинных шпагатин, а свободные концы опустила к нам. Мы их укрепили на своем балконе, и растения рванулись по ним дальше, вверх! Но опять-таки не все сразу. Одно растение — гляди! — уже около верхнего балкона, другое только оторвалось от нашего, а третье застряло посередине... Но все растут, все стремятся выше, выше... Однажды утром, гляжу, среди зелени как бы огонек сверкнул, затем еще и еще. Фасоль зацвела...

— Бывает белый цвет, голубой, а у нас — красный, — восхитилась жена.

Ну, думаю, коли так, спрошу-ка:

— Значит, хорошо я сделал, что посадил фасоль?

Молчит. Признаться, что не права, видимо, непросто. Что ж, молчи, думаю, но ты видишь, кто прав. Однако жене не терпелось взять реванш.

— Но соединить балконы шпагатом ты бы не догадался? — спрашивает.

— Ни в коем случае, — ответил я.

Мы квиты.

Прошло время, и растения так буйно во все стороны разрослись, что шпагата не видно стало. Между нашим и верхним балконом — сплошной зеленый занавес. То тут, то там пестрели алые соцветья, к которым с тихим жужжанием наведывались пчелы, одна за другой.

— Что-то еще не видно стручков, — заметила однажды жена. — Пора им уже быть.

— Будут стручки, — сказал я, — все будет, можешь не сомневаться.

— А кто сомневается? — ответила жена таким тоном, как будто никогда в жизни ни разу ни в чем не усомнилась.

Спустя несколько дней появился первый стручок, зеленый, продолговатый, а там под ним и над ним еще...

Боязно и подумать: мог ведь я не купить эту фасоль, не высадить ее. И не было бы сплошного зеленого занавеса между балконами, не было бы алых огоньков соцветий, не прилетали бы сюда пчелы... Всего этого просто не было бы...

ОНИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

Эзра Бендецкий с женой ужинали. С тех пор как оба — несколько раньше она, а затем и он — вышли на пенсию, а их младшая дочь вышла замуж и, как и старшие две дочери со своими семьями, стала тут же в городе жить отдельно, старики остались одни. Они завтракали, обедали и ужинали в крохотной кухоньке, двоим здесь вполне хватало места. За небольшим столиком, покрытым голубоватым пластиком, они вкушали нехитрый ужин пожилых людей, обремененных болезнями и вынужденных соблюдать диету. Лениво отправляя в рот винегрет и запивая его кефиром, перебрасывались скудными словами.

Не успел Эзра отпить из своего стакана пару глотков, как постучали в дверь.

Эзра пошел открывать. Пошел, как был, в майке. Если это соседка, подумал он, или кто-нибудь чужой, неудобно предстать в таком виде. Но, чтобы не заставить долго ждать, открыл.

По ту сторону двери не было никого. Вернее, на площадке стояли какие-то ребяташки, но их Бендецкий не принимал в расчет, с утра до вечера шастают тут по этажам.

— Вы не знаете, кто сюда звонил? — спросил Эзра у ребят.

— Мы звонили.

— Вы? — удивился он.

Эзра взгляделся в ребят. Две небольшие девочки и мальчик, чуть повыше их. Нередко, пробегая мимо, шалуны позвонят в дверь и исчезнут. А эти почему не убежали?

— Что же, вы просто так? Или по делу? — строго спросил Бендецкий.

— Мы по делу, — ответил мальчик.

— По какому?

— Мы ищем ветеранов.

— Каких?

— Ветеранов войны.

— Зачем?

— Мы с ними должны побеседовать и...

— И что?

— И записать их рассказы.

— Для чего?

Все время говорил мальчик. Девочки только кивали. На последний вопрос ответили они обе, в один голос:

— Мы следопыты.

— Красные следопыты, — добавил паренек.

Эзра стоял по ту сторону полуоткрытой двери, ребята — по эту.

Паренек:

— Может быть, и у вас в квартире живет ветеран?

— Нет здесь ветеранов, — сказал Эзра и закрыл дверь.

— Кто это был? — спросила жена, когда муж вернулся на кухню.

— Так...

— Все же?

— Дети.

— Какие дети?

— Кто их знает.

— Что им надо было?

— Ищут ветеранов.

— Каких?

— Ветеранов войны.

— Что же ты им сказал?

— Нет здесь, — сказал я, — ветеранов.

— А ты? — с удивлением воззрилась жена на Эзру. — А ты?

— Что я?

— Поговорил бы с ними. Для чего-то это им ведь нужно.

Эзра взялся за кефир, отпил пару глотков и отставил стакан.

— Ничего этого не надо им, — сказал он.

— Почему?

— Достаточно того, что мы знаем.

Жена заметила: чем-то встреча у двери взбудоражила мужа. Он прошел в другую комнату, постоял у телевизора, но не включил его, как обычно, а, вернувшись, сказал:

— Немного пройдуся.

Эзра Бендецкий долго шагал по немногочисленной вечерней улице. Но видел он себя не здесь, в городе, в котором прожил много лет, а где-то очень далеко отсюда, далеко во времени и пространстве.

...До костей пробирала декабрьская стужа. Неразличимые в белых маскировочных халатах, лежали, зарывшись в смерзшийся снег. Вскоре начался бой и стало

жарко. Он строчил и строчил из своего пулемета. А рядом лежали бутылки с горючей смесью. Их швыряли во вражеские танки...

Потом, уже в госпитале, узнал: там, под Москвой, враг стал откатываться...

...Жгучее солнце. Горячая пыль, смешанная с песком, режет глаза, скрипит на зубах, обжигает спекшиеся губы... Враг рвался к Сталинграду. Не думал Бендский, что из этого ада удастся выйти живым, но вышел.

Затем Курская дуга. Там он из противотанкового ружья подбил три вражеских танка.

А дальше пошло веселее. То и дело гремели наши салюты в честь освобожденных городов.

А вот и граница...

Никогда не забудет он — ворвались в немецкий город и обнаружили там лагерь смерти, который гитлеровцы не успели уничтожить. Бродили по лагерю не люди — скелеты в полосатых робах, не отличить — кто мужчина, кто женщина. Одни глаза лихорадочно светились: неужто настал конец их мукам? Советских солдат обнимали, благодарили на разных языках.

Эзра все это видел так ясно, как будто не отделяли его от тех дней десятки лет... К нему бросилась изможденная старуха. Коротко стриженные волосы как бы обсыпаны пеплом. Обливаясь слезами, она что-то быстро говорила на непонятном ему языке. Оказалось: была это девятнадцатилетняя девушка. Еврейская девушка из Салоники. Все родные ее погибли здесь, одна она дождалась свободы...

Берлин. Вот где не хотелось умирать... Но сколько еще погибло и в Берлине, а затем в Праге. Тут ранило и его в третий раз за войну, ранило тяжело. Полгода поправлялся в госпиталях.

Медленно шагал Эзра по вечерней немногочисленной улице. Отпылавшие бои гремели в его ушах.

Давно уже все это так ярко ему не вспоминалось. Виноваты они — мальчонка и девчушки. «Ишь ты, ветеранов ищут. — Слабая усмешка тронула седые усы. — Следопыты...»

Почему же закрыл он перед ними дверь? Сделал это Эзра не раздумывая, но свои резоны на это у него были. Теперь, наедине с самим собой, он мысленно их перечислял. Зачем рассказывать детям о том страшном времени,

что они смогут понять? И для чего это им? А уж коли рассказывать, должны это делать люди, совершившие что-то поистине героическое. А что он, Бендецкий? Честно выполнил свой долг, не более. Пошлют — шел, прикажут — делал. Таких, как он, миллионы.

Было это недели за две до праздника Победы.

А вот и праздник!

День выдался яркий, солнечный. Сама природа как бы постаралась, чтобы в этот день небо было чуточку синее, а земля — зеленее обычного. А люди... Радостные, нарядные, сошлись на площади у высокого обелиска, поставленного в память о земляках, погибших на войне. Обелиск светился золотом высеченных на нем фамилий. Небесная лазурь с плывущей по ней вереницей дымчатых облачков как сама вечность...

На широких ступеньках, ведущих к обелиску, стояли пионеры с руками, поднятыми в салюте. Ветер поигрывал концами их алых галстуков.

Справа выстроились ветераны. Солнце отблескивало на их сединах, лучилось на орденах и медалях. Слева, на импровизированной трибуне, сменяли друг друга ораторы.

Гремели оркестры. Из конца в конец площади перелетали песни.

На всем и на всех светился отблеск того далекого дня, когда весь мир, как один человек, облегченно вздохнул: кончилась! Кончилась война...

Эзра Бендецкий с трудом пробивался в движущемся потоке людей, искал потерявшихся где-то здесь жену и дочерей. Вдруг дорогу преградил ему мальчишка. Тот восхищенно смотрел на него во все глаза.

— Чего это ты уставился? — спросил Бендецкий.

— Смотрю, — ответил тот, — сколько у вас орденов! А медалей...

— У меня одного разве? Погляди вокруг...

— Так то же ветераны, — ответил юнец.

— А я?

— Вы разве тоже ветеран?

Бендецкий нахмурился.

— Не тот ли ты мальчуган, что звонил мне как-то в дверь?

— Тот.

— Интересовался ветеранами войны?

— Да.

— Ай-яй! — с горечью усмехнувшись, вздохнул Бендецкий. — Выходит, я тебя обманул?

— Выходит, — подтвердил мальчик и тут же спросил: — Почему?

В тот вечер паренек был в темной будничной курточке. Не диво, что Бендецкий теперь его, нарядного, в белоснежной рубашке с красным галстуком, не сразу узнал. А узнав, почувствовал себя так, как будто мальчишкой, притом провинившимся, был он сам.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Гарик.

— Понимаешь, Гарик, получилось действительно хорошо...

— Но почему? .. — снова спросил тот.

Площадь бурлила народом, их со всех сторон толкали. Старший взял мальчишку за руку и отошел с ним в сторону.

— Понимаешь, Гарик, — сказал Бендецкий, наклоняясь к нему, — там, на фронте, у всех у нас, кто воевал, как ты думаешь, какое у нас было самое большое желание?

— Разбить врага.

— А для чего?

— Чтобы освободить нашу землю.

— А еще?

Гарик задумался.

— Чтобы вы, наши дети и внуки, — продолжал Бендецкий, — ни о чем подобном никогда не знали. — И добавил: — Именно за это мы и дрались, чтоб вы этого не знали...

Бендецкий умолк. Молчал и Гарик. Потом взглянул на пожилого человека, на его ордена и медали, и между бровей у мальчика прорезалась упрямая складка.

— Все равно мы должны знать! — сказал он и победоносно. На бегу уже обернулся: — Моя очередь в карауле стоять.

Эзра увидел: вместе с другими пионерами Гарик стоял у подножия обелиска с рукой, поднятой в салюте.

«Он прав, — пробиваясь в движущемся людском потоке, думал Бендецкий, — надо сделать все, чтоб им не довелось пережить то, что выпало на нашу долю. Но знать они должны».

МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ

Мальчика Мотла у Шолом-Алейхема помните? Помните, как он любил все маленькое — маленьких собачек, кошечек, даже огурчики маленькие, картофель молодой... Вот-вот... Писатель перечисляет еще многое, что любил Мотл маленькое, но тут, на молодом картофеле, я остановился. Почему? Потому что, грешным делом, и я его люблю.

Вы, конечно, понимаете, что я уже весьма смутно представляю себе то время, когда был в возрасте мальчика Мотла. Что и говорить, внуки мои теперь старше его. Как же, спросите вы, не зазорно мне признаться в такой слабости? Да и пристало ли мне в мои-то годы уподобляться какому-то мальчугану? Отвечу: во-первых, так ли это зазорно — любить что-нибудь? А во-вторых, скажу: сколько бы нам ни было лет, как бы мы ни старались, возможно, до самого последнего дня в каждом из нас живет свой мальчик Мотл...

Итак, молодой картофель... Не знаю, как вы, я с нетерпением жду его появления. И люблю я его не только есть — нет, — но и чистить, и варить, и сдабривать маслом, и пересыпать чесночком, тоже молодым, — все эти хлопоты мне приятны.

Не подумайте, что стражлось что-нибудь с моей старушкой, коли мне приходится всем этим заниматься. Она жива, здорова и все еще такая же, как и была, мастерица варить и стряпать. Просто с молодым картофелем люблю повозиться сам.

Старушка моя всегда просыпается первой. На дворе еще темень, а она уже на ногах. Изредка удается мне ее перехитрить. Тихо, на цыпочках, выбираюсь из спальни, плотно прикрываю дверь и — на кухню.

Не люблю чистить картошку, особенно на исходе зимы и ранней весной. Клубни обмякли, сморщились, утыканы ростками. Нет, эта работа не для меня. Не то молодой картофель. Его и чистить не надо. Из миски с водой вынимаете клубень, он гладок, тверд и так и играет светлой тонкой кожурой. Достаточно прикоснуться ножом, и она сползает, обнажая влажную белизну плода...

Думаете, не застучала меня однажды моя старушка на этой работе? Я и не заметил, как она появилась на кухне.

— Видела, видела, — говорит, — как ты крался из спальни...

— Ты ведь спала!

— А вот видела.

— Но ведь молчала?

— А к чему кричать?

— Зачем же пришла?

— А затем, — говорит, — чтобы взглянуть, как ты тут без меня кашеваришь? — Она заглянула в кастрюлю с очищенным картофелем и молча покачала головой: так, мол, и знала...

Должен сказать, что жена моя всю жизнь, до пенсии, проработала на трикотажной фабрике. Сперва станочницей, потом бригадиром, затем много лет в отделе технического контроля, и выработалось у нее неслыханное чутье на брак...

— Кто же так чистит картофель? — сказала она.

— Что, плохо? — спросил я.

— Конечно.

Меня покорило. Я так старался, и вот...

— А чем плохо? — спрашиваю.

Она вынула из кастрюли один клубень, второй, показала: на одном в углублении кожура осталась, на другом пятнышко не вычищено.

— Так что, — говорю, — ОТК работу не принимает?

— Нет, — отвечает, — надо переделать.

Я принялся исправлять брак.

А чего, вы думаете, старушка моя добивалась? Хотела доказать, что непригоден я для кухни и нечего мне сюда соваться, ее работу отнимать. Другая была бы рада, а она — нет. Характер! Но мне хотелось доказать, что могу. А почему бы и не помочь ей, тем более что на завод, на котором полжизни проработал, теперь не спешу. Да и мне что-то делать ведь надо...

Договорились: через день каждый из нас готовит завтрак.

И вот сижу я, уже не крадучись, на законном основании (уговор) на кухне. Дверь прикрыта. Негромко, чтобы в спальне не слышно было, включаю радио и занят я тремя делами сразу. Чищу картофель или готовлю салат из молодой редиски, огурцов, лука, слушаю радио, а в голове... А в голове в это время — всякие мысли. О чем? Говорю же — всякие, разные... Вот передают: пошел пятый месяц — шутка ли! — как два наших космонавта работают на орбите и чувствуют себя — лучше

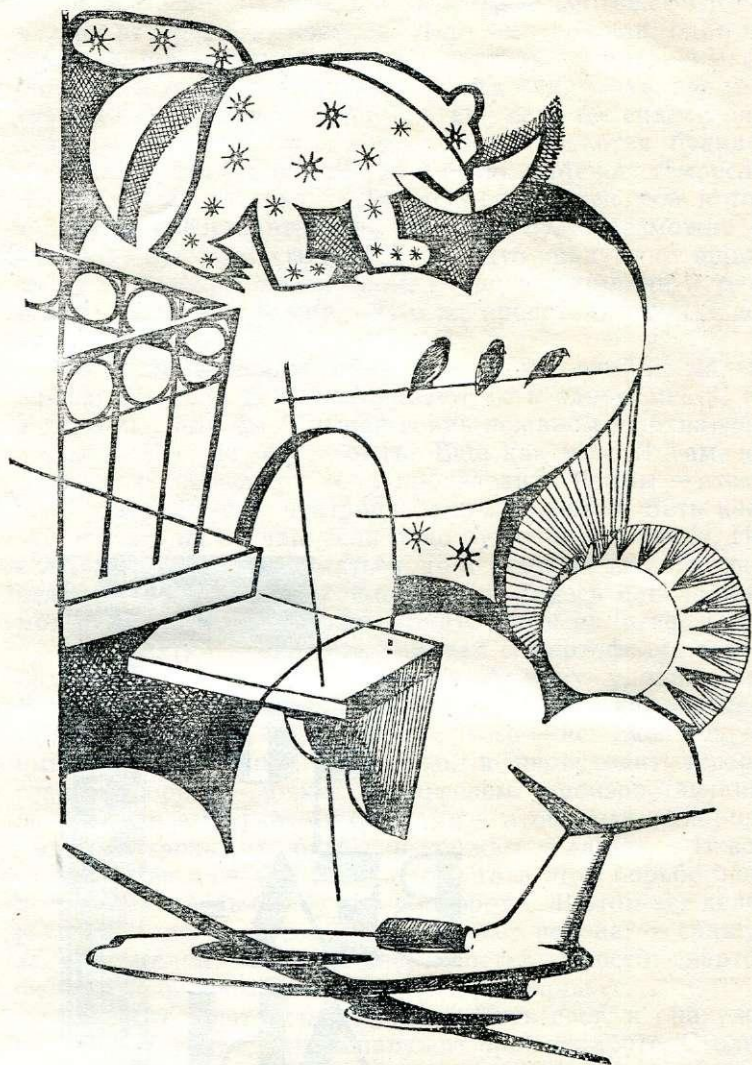
не надо. Да это и видно. Вчера вечером смотрел по телевизору репортаж из космоса. И до чего дожили: один из космонавтов показывал сосуд с ростками гороха. А ведь они там, в космосе, выросли... Только подумать: где мы, где они? А я вижу и слышу их, как если бы сидели они тут, у меня за столом... И все это нам кажется будничным, как будто так оно всегда и было... Между тем, если вспомнить моего деда... Да что дед... Отец мой и тот мог разве представить себе, что такое будет возможно — что люди будут летать в космос... Что придумают ящик, который назовут телевизором, и при его помощи к тебе в дом зайвится весь мир... Что же предстоит увидеть детям моим? А внукам?..

Не было бы только войны... Я имею в виду не малые войны, они то и дело вспыхивают то в одном месте, то в другом... Как бы большая война пожаром не охватила землю... Что, не может быть? Еще как может! Там, на Западе, не перестают ведь производить бомбы — атомные, водородные, к нейтронным подбираются. Есть кое-что и у нас на случай, если надо будет дать отпор... Но если так будет продолжаться, то к чему же все это приведет? Этак в один какой-нибудь день весь наш шарик может рухнуть в тартарары. Будто его и не было...

«Эк, хватил, — скажете, — начал с картофеля, а добрался до водородных бомб...» А чему удивляться? В мире все взаимосвязано. Между бомбой и картофелем тоже существует связь. Более того — не смейтесь, — именно между ними, возможно, и происходит теперь главная борьба — между картофелем, произрастающим на земле, и всеми этими бомбами — атомными, водородными, нейтронными, будь они трижды неладны... И все от того зависит — кто кого. Кто кого в этой борьбе одолеет — картофель бомбу или наоборот... В этом все дело. Но если спросите меня: за кем будет победа? — скажу: за картофелем. Откуда уверенность? Просто: картофель — жизнь, бомба — смерть. Жизнь сильнее...

Слышите, идет моя старушка. Чуть свет, а она уже на ногах. Того и гляди, обнаружит брак в работе. Столько лет в ОТК проработала — шутка ли?

НО.
ВЕЛ-
ЛЫ



ДЕТИ

1. КАК РОЖДАЮТСЯ СКАЗКИ

Все внуки на свете любят, как известно, больше всего задавать вопросы и слушать сказки. И то и другое готовы делать они неустанно.

Мой внук, пятилетний Миша, с круглой головой в темных кудряшках и с большими глазами, с таким жадным любопытством глядящими на мир, мой внук не является исключением. Вот некоторые из каверзных его вопросов:

— Куда подевалась половина луны? Кто-то откусил ее, да? Кто?

Или:

— Почему нельзя смотреть на солнце? Оно-то само смотрит на всех, почему же не дает смотреть на себя?

И еще, и еще в подобном роде.

Точно так, как он не устает задавать свои бесчисленные «почему?», желает мой внук, чтобы я не уставал выкладывать ему свои сказки. Стоит мне только начать им уже слышанное, тут же следует категорическое:

— Это знаю. Новое!

Однажды пришлось мне признаться в своем бессилии.

— Где мне, — спросил я, — набрать для тебя столько нового?

И тут же услышал в ответ:

— Там же, где брал старое...

Из некоторых вопросов моего внука иногда рождаются сказки.

О половине луны:

— Луна, как обычно, прогуливалась по небу среди звезд. И попала в созвездие Большой Медведицы. Большая Медведица раскрыла пасть, клася зубами — и готово! — половины луны как не бывало!..

— А вторая половина? — испуганно спросил Миша.

— Вторая половина убежала. Спаслась...

Прошло какое-то время, и Миша увидел в небе полную луну.

— Дед, ты меня обманул!

— Почему?

— Ты же говорил, что Большая Медведица откусила половину луны...

— Ну?

— Ну, глянь, — показал он в окно, — вот она, луна, целехонькая...

Грешно обманывать внука. И родилась новая сказка.

— Большая Медведица одумалась: что же такое она натворила? Ночному путнику без лунного света не добраться до ночлега... Зверям охотиться темно... Явилась Большая Медведица к луне и сказала: «Прости меня, я поступила нехорошо. Вот тебе твоя вторая половина, больше ничего подобного я себе не позволю». Луна поблагодарила Большую Медведицу и снова, полная и сияющая, пошла гулять по небу...

— И теперь она больше не боится Большой Медведицы?

— Нет, не боится.

Но тут же последовал новый вопрос:

— Для чего нужен туман?

Я не сразу нашелся с ответом и, как бывает в подобных случаях, сам «перешел в атаку»:

— А для чего нужен дождь?

— Дождь, — ответил Миша, — чтобы росли деревья и трава.

— А снег?

— От снега зимой теплее земле. И мальчишки катаются на лыжах. А туман? Он зачем?

Так придумалась еще одна сказка.

— Понимаешь ли, Миша, природа любит кое-что делать втайне от людей.

— Зачем?

— Чтобы сделанное ею открылось людям внезапно.

— Для чего?

— Для того чтобы в этом было больше радости. Дар, когда он неожидан, доставляет больше радости... Смотри!

Было раннее утро. Мы с Мишей стояли на балконе. Медленно таял туман. Когда он рассеялся, мы увидели: все деревья во дворе стояли зеленые-зеленые. Почки лопнули в одну ночь.

— Видишь, — показал я Мише, — какая красота!

— Ага! — восхищенно воскликнул он. — Красиво!

— А вчера вечером, помнишь, какие были деревья?
— Черные, — сказал он.
— Ну, а как ты думаешь, легко ли превратить черное в зеленое? Природа трудилась над этим всю ночь. Мы с тобой спали, а она трудилась...

— А при чем здесь туман? — не понял Миша.
— Понимаешь, для ее работы ночи не хватило. Глянула — скоро утро, а дело еще не закончено. Тогда она окутала землю туманом и под его прикрытием продолжала работать.

Как будто бы мое объяснение удовлетворило внука. Но я знаю: будет еще много разных «почему?», «зачем?» и «для чего?». И будет еще много сказок. Разве кончатся они когда-нибудь?

2. ПТИЧКИ

Стоя на табурете, четырехлетний Вова смотрел в окно. Вдруг он спрыгнул на пол и с плачем побежал на кухню.

— Бабушка!..
— Золотко мое! — испуганно метнулась та к внуку. — Что случилось?

— Там... — показал Вова на окно.
— Что там?

Нижние оконные стекла были затянуты морозом. Сквозь верхние видны были заснеженный балкон и на нем натянутые веревки для белья. Дерево напротив дрожало на ветру голыми сучьями. Между высокими сугробами тянулась протоптанная узкая тропинка. Над сугробами струилась взвихренная снежная пыльца...

— Что там? — спросила бабушка.
— Птички.
— Какие птички? Где ты видишь птичек?
— А ты не видишь? — удивился Вова.

С минуту бабушка и внук недоумевающе разглядывали друг друга. Та не понимала, что за птички померещились ему, а он — как же она их не видит?

— Ага, — наконец воскликнула бабушка, — вижу.
На дерево напротив налетела вдруг стайка воробьев, нахохленные, расселись на голых ветвях и тут же, все разом, спикировали вниз.

— Ну и что же, — спросила бабушка, — зачем плакать?

— Они ведь замерзнут, — ответил Вова.
— Как замерзнут? Видишь, они летают!

- Да не эти, — нахмурился внук.
- Какие же? Ты видишь еще каких-то птичек?
- А ты не видишь?
- Не вижу.
- Надень очки.
- Принеси их, они на журнальном столике.

Вова принес.

- Не эти. Эти для чтения.

Вова принес другие очки. Бабушка надела их, глянула в окно и не увидела, а догадалась...

— Вот это? — переспросила она и рассмеялась. Ветки для белья были унизаны деревянными прищепками. Их было много, и бабушка теперь лишь заметила, что, торча где по двое, по трое, а где тесно сдвинутой стайкой, раздвоенные снизу, они смахивали на птичек... — Это же прищепки, — сказала она, — деревянные прищепки, глупый ребенок...

Вова посмотрел на бабушку так, будто она открыла ему что-то совершенно невероятное.

- Прищепки? — недоверчиво переспросил он.

— Да. — Помолчав, сказал: — А если прищепки, так что?

- Как — что?

- Разве им не холодно?

- Но они ведь деревянные.

- Все равно, — упрямо насупился внук.

- А что можно сделать?

- Их надо скорее забрать в дом.

— Ну, хорошо, — сделав вид, что согласилась, сказала бабушка, — вот я управлюсь на кухне...

— Нет, — возразил Вова, — пока ты справишься, они замерзнут. Иди сейчас!

Бабушка надела пальто, накинула на голову платок, вышла на балкон и сняла все прищепки.

Дедушка и родители Вовы пришли с работы. Мальчик с радостью кинулся им навстречу.

- Спасли птичек! Спасли птичек! — закричал он.

- Прищепки, — поправила бабушка.

- Нет, птичек! — повторил Вова.

— Что за птички? Что за прищепки? — не поняли старшие.

- Я вам расскажу, — обещала бабушка.

Поздно вечером — Вова давно уже спал в своей кровати в спальне — бабушка вспомнила:

- Я ведь не рассказала вам еще о птичках...

Рассказала, и все посмеялись.

— Ты удивляешься, — все еще смеясь, переспросил дедушка, — где он видит птичек, а он — почему ты их не видишь?

— Ну да, — ответила бабушка, — я говорю ему: «Это прищепки, глупый ребенок!» Он: «А если прищепки, им разве не холодно?» Ребенок остается ребенком.

— Нет, — серьезно, без смеха, заметил дедушка, — в том-то и дело, что ребенок не остается ребенком. Мы вырастаем, старимся и начинаем видеть прищепки, бесчувственные деревянные прищепки. А в действительности они живые и им холодно...

С раскрасневшимися щеками Вова в спальне улыбался во сне.

Ему снились спасенные птички.

ЧУДО

На солнечной стороне улицы хватал прохожих за каблуки размягченный от зноя асфальт. Испещренный отпечатками каблуков, он примешивал свой едкий запах к бензинному дыханию быстро мчащихся автомашин, к духоте, исходившей от нагретых каменных стен. На перекрестке ремонтировали многоэтажное здание, оглушительно трещали пневматические молотки, которыми чумазные парни отбивали куски тротуара.

Я быстро перебежал улицу. Противоположная ее сторона хоронилась в тени. Широко открытый вестибюль манил сумраком и прохладой. Тускло отблескивала вывеска парикмахерской. Я вспомнил, что несколько дней уже собирался воспользоваться услугами этого заведения, но все не находилось свободной минуты. Теперь такая минута была.

В дамский зал тянулась большая очередь, в мужской очередь была поменьше.

— Кто последний? — На мой вопрос почему-то никто не ответил. Я обратился к старику, сидевшему у входа в зал: — Вы?

— Нет, я жду своего мастера, — ответил тот.

— Я последний, — оторвал глаза от газеты тучный мужчина и добавил: — Извините, не расслышал вопроса.

Я присел на свободный стул. После треска, гама и слепящего зноя раскаленной улицы в уютном полумраке

вестибюля успокаивал размеренно-приглушенный шум невидимого вентилятора.

Оглядевшись, я невольно задержался взглядом на старике, ожидавшем своего мастера. Выглядел он не совсем обычно. Было ему за семьдесят. Темное лицо избороздили морщины, но все же отличалось оно той особой красотой, которую иным людям придает, как ни странно, отпечаток старости. Седые волосы над высоким покатым лбом подстрижены ежиком. Так же коротко, серой щеточкой, были подстрижены и усы. Под глазами мешки, а взгляд старика, отсутствующий, отрешенный, был полон тоски. Что ж, подумал я, достаточным основанием для этого мог служить и сам возраст человека. Но было еще и другое. Крупная, красивая голова старика была как бы прямо посажена, без каких-либо признаков шеи, на мальчишечье маленькое тщедушное тело. Пальцы на руке, которой он подпирал подбородок, были судорожно скрючены. Правая, короткая нога — в специальном ботинке с утолщенной подошвой. Одет старик был чисто, аккуратно, и это в глазах посторонних должно было, видимо, смягчить впечатление, которое он производил.

Очередь продвигалась. Вот уже прошел в зал тучный мужчина, читавший газету. Вскоре пригласили меня. Обслужив очередного клиента, освободилась и довольно молодая еще женщина-мастер, которой дожидался старик. Черты лица этой женщины, очень стройной в своем белом халате, были полны ласкового обаяния, а широко распахнутые карие глаза излучали на всех, к кому бы ни обратилась, сердечность и доброту. Озарили они этой ласковой добротой и старика, когда он неловко уселся, как бы провалился в высокое кресло. Стояло это кресло у противоположной стены сзади меня и полностью отражалось в моем зеркале напротив, так что я все время видел старика и обслуживающего его мастера. Вот она ловко набросила простыню и как будто совершила какое-то мгновенное колдовство: все уродливое, дряхлое скрылось — и над снежной белизною осталась лишь крупная красивая голова.

Пока мой мастер — невысокая, немолодая, полная женщина — манипулировала над моей головой, я невольно любовался тем, что видел в отраженном противоположном зеркале. Там все более оживал, светлел взгляд старика. Вот женщина слегка пригнула его голову к сверкающему белизной тазу и принялась старательно ее намыливать. Видимо, подумалось мне, человек этот оди-

нок, дома некому ему помочь. Мастер затем приподняла голову старика и принялась энергичными движениями ее массировать.

Куда девались грусть и тоска в глазах старика? Из зеркала напротив на меня смотрело помолодевшее лицо, и с каждым движением рук мастера лицо его становилось моложе... И вот на меня глянул вдруг оттуда — и впрямь колдовство какое-то! — беззаботный ясный взгляд мальчишки...

...Ему три, может быть, четыре года. Мать, родная мать, мнет ему голову. Мыло попало в глаз, и он захныкал. Мать быстро промыла ему глаза, и от прикосновения ее нежных пальцев так щекотно голове. Что за небывалое чудесное ощущение!

Мой мастер при помощи электрической машинки навела порядок у меня на затылке. Чтоб удобнее было, она пригнула мне голову, но я, не в силах оторваться от по-детски счастливого взгляда в зеркале напротив, тут же поднял голову, мешая ей. Мастер с недоумением взглянула на меня, и я покорно нагнул голову, ничего не сказав. А так хотелось не сказать — крикнуть моему мастеру, всем мастерам, работавшим в этом зале, клиентам, ожидавшим в прохладном вестибюле: остановитесь на минуту, посмотрите же в тот угол, где женщина в белом халате колдует над стариком. Тут только что произошло чудо, истинное чудо: старому, одинокому, больному человеку на миг вернули его детство. На исходе жизни — светлое ее начало...

Я не крикнул, ничего не сказал. Кроме меня, в этот угол никто и не глянул. Но это не умалило чуда, которое только что свершилось там.

РЕКС

Не люблю мелкопородистых собачек — болонок, шпицев и прочих. Пес должен выглядеть внушительно. Таков Рекс. Глянешь, и сразу ясно, кто его предки. Огромный, серый — настоящий волк.

А служба у него мирная — стережет дачу. Недалеко от веранды с крылечком, в густой тени деревьев и разросшихся кустов, стоит его будка. На шее у Рекса длинная цепь, прикрепленная к большому пыльному, наполовину вросшему в землю бревну. Возвышается тут и

подобие стола из нескольких досок. Гремя цепью, Рекс вскакивает на стол каждый раз, когда ему кажется, что лай его не доходит до тех, кому предназначен. Налаявшись вдоволь, пес соскакивает со стола и укладывается в тени. Так и лежит, время от времени подрагивая телом, помаргивая и думая свою собачью думу, пока какой-нибудь прохожий за забором или стук в калитку снова не поднимут его на ноги.

Иногда Рексу удается каким-то образом вывернуться из ошейника. Тогда он убегает.

Убегает недалеко. С опущенной головой и озабоченным видом делает вокруг дачи один круг, второй, третий. Хозяина завидит — сторонится, знает, что у того на уме. Знает и то, что ошейника не миновать, но до чего же хорошо хотя бы ненадолго ощутить, что на шее нет цепи!..

У будки выставлена миска с едой. Два раза в неделю хозяйин приносит из столовой ведро с объедками. Но Рекс разборчив. Попадется кость, остатки чего-нибудь мясного — набросится. От всяких же каш, теста воротит нос. Так и стоит миска, а Рекс за весь день к ней не притронется.

Выручают птицы. Полно их на ветвях деревьев, в кустах. Лежа около будки, Рекс равнодушно взирает на то, как с одного дерева, с другого крылатые обжоры то и дело пикируют на миску, устраивая шумные птичьи пиры. Цепко держась тонкими лапками за края миски, птицы опускают в нее клювы, затем улетают. На дереве клювы почистят, поострят и снова — вниз... Но сколько птицы могут склевать — стоит почти полная миска, а Рекс на нее и не смотрит.

Запах еды ударил как-то в нос двум бездомным псам, и они, большие, худые, видать, изрядно изголодавшиеся, со сбившейся грязной шерстью на впалых боках, рискнули забраться во двор и подкрались к миске. Надо было видеть, как ощерился, как накинул на них Рекс! Еле ноги унесли.

А недавно во двор зачастила небольшая собачонка. Шерсть на спине ее пепельно-серая, а снизу, у отвисших сосков, грязновато-белая, и вся она как бы просвечивалась от худобы.

Собачонка появилась внезапно, из-за кустов. Подрагивающими ноздрями втянула в себя раздражающие запахи пищи, воровато глянула по сторонам и, распугав птиц, острой мордой уткнулась в миску. Рекс видел все

ито, но — странное дело — даже не пошевелился. Видать, то был уже не первый визит голодной гостьи и между ней и Рексом — не иначе — существовал какой-то договор. Торопясь, она вылакала все, что было, и, ничего не оставив птицам, отяжелевшая, мелкими шажками побежала прочь.

К вечеру хозяин, подойдя к будке, сказал:

— О, Рекс, видать, здорово ты проголодался сегодня!

Из принесенного ведра он насыпал новую порцию объедков.

То же повторилось и на следующий день.

Случайно, из разговора с соседом, мне стала известна история маленькой собачонки. Грустная история.

Обыкновенная дворняга, без малейшей примеси породистости в крови, она не удостоилась того, чтобы кто-нибудь взял ее к себе в дом, кормил, выводил на ремешке по вечерам прогуливать, как это делают со всякого рода пуделями, фокстерьерами и иной собачьей знатью. В бездомной голодной жизни ее выпадали лишь редкие собачьи радости. И вот однажды темной ночью она ошенилась за чьим-то глухим сараем. Пять теплых скользких кутят слепо тыкались ей в соски, а она без конца облизывала их, счастливая самым большим в жизни счастьем — счастьем материнства. Но это длилось недолго. Возможно, хозяин сарая, или кто-то из его семьи, или еще кто — неизвестно — унес ее кутят. Всех. Собачонка ненадолго отлучилась, а когда вернулась, никого не застала. След привел ее к недалекому озеру...

Три ночи подряд выла она на высоком берегу, словно жалуясь кому-то на жестокость своей судьбы. А потом почувствовала голод. Возможно, тогда-то и наведалься она впервые во двор к Рексу, подкралась к его миске. На собачьем языке, может быть, поведала ему о своем злосчастье. Как бы то ни было, но Рекс от миски, как это случилось несколькими днями раньше с теми голодными псами, ее не прогнал. Вскочив на шаткий стол, он повернулся к гостье спиной и стал тщательно выискивать что-то на кончике своего хвоста. Это должно было означать: делай свое дело, не бойся...

Однажды — было это перед заходом солнца — собачонка вышла уже из-за кустов, но вдруг увидела хозяина Рекса. Тут же повернув, быстро побежала прочь, ожидая злого окрика или камня вслед. Но, ничего не услышав, остановилась... Хозяин стоял на том же месте, очевидно не питая к ней зла, — и это казалось странным. На не-

молодом, изборожденном морщинами лице даже было заметно что-то похожее на улыбку. До чего же непонятны они, эти двуногие существа! Когда не ждешь ничего плохого, совершают самое подлое злодейство. А когда ждешь камня вдогонку, они улыбаются.

Осторожно — очень была она голодна — собачонка приблизилась к миске, и птицы испуганно отлетели от нее.

Утоляя голод, собака слышала: хозяин какое-то время стоял молча, а когда стал уходить, что-то сказал Рексу. Что именно сказал, она не поняла, но интонация у хозяина была при этом спокойная, добродушная. Когда у человека в голосе такая интонация, собаке нечего опасаться.

А хозяин сказал:

— Ну-ну, коль тебе хорошо, то мне и подавно...

Собачонка теперь навещается сюда каждый день.

УЛЫБКА

Если вам приходится бывать на почте, вы, конечно, заметили: в этом учреждении, особенно в том его отделении, где принимают бандероли, выдают письма до востребования, работают преимущественно молодые девушки. И еще: девушки эти то и дело меняются. Не успеешь привыкнуть к одной, как вдруг застаешь новенькую, неопытную. Пока взвесит твою бандероль, пока найдет расценку, подсчитает, наклеит марки, выпишет квитанцию, уходит уйма времени. За тобой никого не было, а тут — глянь! — уже выстроилась очередь, и все недружелюбно поглядывают на тебя: проваливал бы, мол, поскорее! Всем некогда.

Я был немало удивлен, когда одна из девушек задержалась на этом месте дольше других. Работала она почти не глядя. Быстро взвешивала, подсчитывала, выписывала квитанции. Очередь к ней продвигалась без всяких заминок.

На почте бывать мне приходится часто, и вскоре девушка встречала меня уже как старого знакомого, любезно здоровалась.

Некоторое время я не приходил, и она это заметила.

— Что-то давненько не отсылали вы бандероли, — сказала она.

— Болел.

Выписывая квитанцию, пожелала:

— Смотрите не болейте больше!

Я не прочь был узнать некоторые подробности из жизни девушки — мы уже были достаточно знакомы, — но все как-то не приходилось поговорить. Глядя на то, как ловко и быстро она работает, я думал: почему все же она здесь? Может быть, окончила школу, не набрала нужных баллов при поступлении в институт и до следующих экзаменов решила поработать? И еще: одна она у своих родителей или есть братья, сестры? Мне почему-то казалось, что у ее родителей большая семья, а она, самая старшая, вносит нужную лепту в общий заработок. А может быть, наоборот, старшие дети уже отделились, а она, младшенькая, осталась родителям утешением в старости? Надолго ли? Пока не появится добрый молодец и не уведет ее... А может, добрый молодец уже явился и это при воспоминании о нем на ее губах играет мимолетная улыбка...

Девушку нельзя было назвать красивой. Бледное продолговатое личико в еле заметных веснушках, небольшие серые глаза под светлыми бровками. Но по-настоящему прекрасны были ее волосы — золотистые, они с двух сторон спадали ей на плечи и всю ее как бы озаряли. Маленькая, худенькая, она ничем бы не выделялась, если бы не эти волосы. И еще — легкая, едва заметная, чуть застенчивая улыбка...

Был теплый весенний день, один из дней, когда небо особенно близко льнет к земле, а та рвется к нему волнующими запахами пробуждения. Хотелось без конца шагать, без усталости впитывать в себя эти будоражащие запахи. Противна была сама мысль о необходимости заходить куда-нибудь под крышу. Но в этот день у меня были дела на почте. Направляясь туда, я думал: застану ли на месте знакомую девушку?

Застал. Она вся как-то светилась в тот день, а ее серые глаза отдавали какой-то нежной голубизной. Мне стало жаль ее. В такой день вынуждена, бедная, торчать в душном зале, стучать штемпелем по скучным квитанциям.

— Вам сегодня, наверное, нелегко работать? — сказал я, поздоровавшись.

— Почему? — вскинула она свои золотистые волосы.

— В такой день хочется гулять, дышать весной...

— Но кому-то надо и работать, — ответила она, беря у меня бандероли.

— Я сегодня замучаю вас, — кивнул я на увесистую пачку.

— Это не так легко — меня замучить, — ответила девушка, и я понял: ей вовсе не надо выходить из этих стен, чтобы дышать весной. Весна в ней самой, в каждом ее движении.

Заглядевшись на то, как ловко девушка работает, я ее похвалил:

— Вы сегодня показываете класс.

— Только сегодня? — усмехнулась она.

— Сегодня — особенно.

— А вы боялись меня замучить...

На прощание она одарила меня своей улыбкой.

Что уносят с собой, уходя с почты? Посылку, перевод, письмо. Я уносил улыбку. Конечно же она предназначалась не мне, а этому светлому весеннему дню, молодости, девичьим мечтаньям... Но меня улыбка эта не оставляла весь день. Куда бы ни шел, она была со мной как неотъемлемая примета весны. Примета, без которой никакой весны не было бы и в помине.

СКАЗКА О ЗОЛОТОМ КОЛЕЧКЕ

В некоем царстве, в некоем государстве жил-был старый человек...

Возможно, он и теперь живет, этот человек, о котором хочу рассказать. Но так начинаются все сказки...

В некоем царстве, в некоем государстве жил-был старый человек, и была у него внучка. Маленькая, пригожая, волосы золотые, зубки из перламутра.

И было у старого человека колечко. Золотое. Носил он его на правой руке.

Рука была богатирская. Молот возьмет — скалу разобьет. Меч поднимет — любого врага сразит.

Настало трудное время. Темные тучи затмили солнце. Коварный враг напал на страну. Человек — он тогда еще был не старым, а молодым и сильным — воевать пошел. Дома оставил молот. Оставил колечко. На войне, сказал он, оно ни к чему. Вернется с битвы домой и вновь наденет.

Врага разбили. Человек вернулся домой, но колечко не надел. Не на что было. На правой руке оторвало у него все пальцы. И на левой они были изуродованы.

Колечко осталось в шкатулке.

Тем временем подрастала внучка. Что ни год, становилась краше, пригожей. Как все девушки в ее возрасте, любила наряжаться, красоваться в обновках. Захотелось ей иметь сережки, да не простые — золотые. У одной, у другой подружки уже были, захотелось и ей. Однажды сказала об этом деду.

— У тебя ведь уши не проколоты, — засмеялся тот.

— Проколю.

— Больно будет.

— Стерплю.

Приближался день рождения внучки. Деду очень хотелось подарить ей что-нибудь. «А почему бы и не сережки? — подумал он. — Но где взять золото?» И вспомнил он о колечке. Но можно ли его превратить в сережки? Пошел дед к ювелирных дел мастеру. Тот взвесил колечко.

— Как раз получится, — сказал он, — пара сережек.

Через некоторое время дед пришел и глазам не поверил.

— Откуда взялось такое диво? — спросил он.

— На то я и мастер, — ответил ювелир.

На следующий день, ни о чем не догадываясь, внучка пришла к деду.

— Закрой глаза, — приказал он ей.

Закрыла, но две узенькие щелки оставила.

— Закрой крепче.

Закрыла крепче.

— А теперь гляди!

На правой ладони деда, на темной ладони без пальцев, сверкали кругленькие сережки.

— Ой, дед!.. — вырвалось у внучки, и она на миг прильнула к нему. Затем схватила сережки и была такова...

Через пару дней, сияющая, явилась.

— Когда успела уши проколоть? — спросил дед.

— Успела.

— Очень больно было?

— Стерпела.

Две капельки солнца с двух сторон освещали счастливое личико внучки.

— А теперь бегу! — сказала она.

- Так скоро?
- Ты ведь уже видел?
- И куда же ты?
- Пусть увидят другие.

Долго дед смотрел вслед внучке. После давнишнего уже дня, когда война окончилась, то был самый счастливый день в его жизни...

НА КРЫШЕ



и взобрался на крышу. Он — паренек лет пятнадцати с челкой до глаз. Взобрался на плоскую крышу пятиэтажного дома и свесил голову вниз к одному из балконов на верхнем этаже. Вначале примостился было на коленях, но коленям стало больно, и он лег на живот. Так, болтая пятками в воздухе, свесил еще ниже голову с темной челкой до глаз. На балконе девушка, сверстница, в легком ситцевом платье, голубоглазая, со светлыми волосами, читала книгу. Он что-то говорил, а она не поднимала глаз... Наконец вскинула голову и строго сказала, чтобы не мешал. Но тот продолжал свое, болтая пятками в воздухе.

Девушка не устояла перед странным парнем (нашел место для разговоров), что-то, уже без всякой строгости, ответила, и потекла беседа.

Вскоре нашлось и дело. Девушка исчезла ненадолго в комнате и вернулась с газетой. Очевидно, он ее об этом попросил. Она тянет вверх голую руку с газетой. Он вниз свою, загорелую, но не может достать. Тогда она становится на стул (парень подсказал), и теперь он не только легко достает газету, но и слегка касается девушкиной руки. Потом потребовались еще газеты. Девушка снова исчезла в комнате, и снова парень невзначай коснулся ее руки.

Говорили. Он — свесив голову с крыши, она — подняв к нему голубоглазое личико со светлыми волосами.

Газеты парень подстелил под себя, чтобы не так жгла накаленная жечь. Дом стоял на самом солнцепеке. Не помогли и газеты, жечь стало нестерпимо.

Парень поднялся и пошел по крыше, обжигая пятки. Девушка скрылась в комнате, захлопнув балконную дверь.

Первое свидание...

Второе будет на земле.

ГУСЕНИЦА

усеница ползла по асфальту. Твердый серый асфальт, и это продолговатое мохнатое тельце, в котором одна частичка, как бы переливаясь в другую, заставляла его двигаться...

Увидь я гусеницу в траве или на дереве, я бы не удивился. Впрочем, там я ее, слитую с травой или корой, и не заметил бы. Но тут, на асфальте... Я чуть не ступил на нее, но вовремя глянул вниз.

А гусеница двигалась медленно, спокойно, как будто во всем мире никаких опасностей не существовало.

В сквере, которым я проходил, между клумбами серел асфальт. По нему-то от одной клумбы к другой пробиралась гусеница. Хорошо, что я вовремя посмотрел себе под ноги. Но будут проходить другие, и кто-нибудь может нехотя наступить, как это чуть не случилось со мной, а найдутся и такие, что с умыслом, и — конечно...

Эта мысль заставила меня вернуться к тому месту, где я увидел гусеницу и от которого уже довольно далеко отошел. В этот ранний час в сквере никого не было. Спокойно двигалась гусеница. До следующей клумбы оставалось несколько метров — расстояние для мохнатой путешественницы изрядное. Я подставил газету, которую держал в руке, и, когда маленькое творение вползло на лист, я осторожно отнес и опустил его на клумбу.

«Спас живое существо, — думал я, продолжая свой путь. — Надолго ли? Гусеница ведь не останется на месте, поползет дальше и снова может очутиться на асфальте.

А с тобой, с тобой самим, знаешь ли, что может приключиться через минуту?» — спросил я себя, быстро перебегаая улицу, с двух сторон которой приближались вереницы грузовых, легковых машин и мотоциклов.

На другой стороне улицы, будучи в безопасности, я снова подумал о гусенице и удивился: как уверенно, спокойно двигалась она по асфальту, не подозревая ни о какой опасности...

«Как такое понять?» — подумал я и вдруг понял: в этом неведении опасности скрыт глубокий смысл, возможно, главный смысл бытия: каждому живому существу со всех сторон и в любую минуту угрожают тысячи опасностей. Но ты не думай о них и спокойно следуй своей дорогой...

ЕСЛИ БЫ ЧЕЛОВЕК МОГ...



истья, жухлые, побуревшие, устилали стылую землю вокруг оголенного дерева. Только один лист, тоже давно пожелтевший, сухой, чудом трепетал еще на его вершине. Последний лист.

Резкий ветер сотрясал дерево, холодный дождь стегал его ветви, но лист держался.

«Где берет он силы, — думал я, глядя на этого упряма, — где берет силы и упорство противостоять дождю, холоду, одиночеству?»

Прошло несколько дней. Утром выглянул во двор и не узнал его. Свинцовое небо угрюмо навалилось на оконеченную землю. А та за ночь — за одну ночь — вся поседела — взял ее в свои жесткие клещи первый мороз.

Последнего листа на дереве не стало.

Установилась зима. Тянулась долго. Голые деревья потрескивали на морозе.

В свое время явилась весна, и все снова ожило. На ветвях проклюнулись почки и из коричневых уст выставили зеленые язычки. Через несколько дней язычки превратились в нежные, как бы покрытые лаком, пахучие листья.

На вершине дерева напротив моего окна так весело трепетал над сонмом своих собратьев новый зеленый лист...

«А знает ли он, — думал я, — этот молоденький счастливец, о своем предшественнике, который прошлой осенью на этой же вершине так упрямо боролся за свое место на ней? Не знает. И хорошо, что не знает. Придет его час, и он тоже найдет в себе силы и упорство для борьбы. Пока же он так трогательно юн, этот зеленый лист, и предстоит ему еще такая долгая жизнь — весна, лето, осень...»

Если и человек мог бы вот так прожить одну жизнь со всеми ее радостями и горестями, а потом — по новому кругу — начать другую — большую, светлую, как это дерево со множеством листьев на его оживших ветвях и с этим светлым зеленым листом на вершине...

Если бы человек мог...

етим.

Стюардесса:

— Наш полет проходит на высоте двенадцать тысяч метров. Скорость — девятьсот километров в час, температура за бортом шестьдесят градусов ниже нуля.

Но мы не ощущаем высоты, не ощущаем скорости и тем более холода за бортом. У нас такое ощущение, будто мы стоим на месте. Тепло. Уютно.

Думается: дед мой, как некогда говорили, царство ему небесное, если бы ему вдруг подобное привиделось во сне — такая высота, такая скорость, такой комфорт, — что бы мог он сказать? Скорее всего сказал бы, что во сне он побывал в раю. Ибо что еще, как не рай, может быть на такой высоте? Где еще витают такие милые ангелы, то и дело поднося вам божественные напитки? Где еще потчуют такими яствами?

Да, дед назвал бы это раем. А тех, кто здесь блаженствует, нарек бы праведниками. Ибо одни лишь праведники достойны быть в раю. Праведник же в представлении моего деда — человек, чистый в своих помыслах, человек, который и в мыслях не согрешит, человек, творящий добро...

Мы летим. Но ощущение такое, будто стоим на месте. Единственный признак движения — легкое вибрирование и приглушенный шум моторов.

«Итак, — продолжаю я свою думу, — мы в раю, и я, и все эти люди вокруг. Но, по понятиям моего деда, в раю достойны быть лишь праведники. И что же, мы все, находящиеся здесь, таковы? И я, я сам таков?»

Стюардесса:

— Наш полет проходит на высоте двенадцать тысяч метров.

Достойны мы этой высоты?

— Скорость — девятьсот километров в час.

Достойны мы такой скорости?

— Температура за бортом — шестьдесят градусов ниже нуля.

Достойны мы тепла, оберегающего нас от наружного холода?

Нет, мы не праведники. Но мы обязаны — обязаны — быть достойными этой скорости, этого тепла и этой высоты...

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Во встречном людском потоке по оживленной, весенним солнцем залитой улице идет пожилой человек. Идет медленно, сосредоточенно глядя себе под ноги. Одет он буднично. Лицо в морщинах, глубокие морщины у рта придают ему сердитое выражение. Можно подумать, зол на весь мир.

Я вижу его впервые, но знаю: внешний облик обманчив. Почему я так уверенно об этом говорю? У человека на плече зеленые саженцы. Он собирается сажать деревья.

На это способен только добрый человек.

НАД ЧИСТЫМ ЛИСТОМ

Человеку, чьим орудием является слово, хорошо известен страх перед чистым листом бумаги. Вот лежит он, нетронутый, как снег на горной вершине, невинный, как взгляд грудного младенца... Страшно притронуться к нему: как бы ненароком недостойным словом кощунственно не осквернить его святой белизны...

Так всегда перед началом новой работы. Исправить готовую рукопись? Целиком ее переписать? Всегда готов! Но до чего же трудно начинать новое...

Так сидел я недавно над чистым листом, долго сидел, и все не хватало храбрости к нему прикоснуться пером. Вдруг вижу: по самой середине листа, как по огромной белой пустыне, движется маленькое существо — зеленая точка с едва различимыми двумя парами ножек и парой рожков впереди. Двигается быстро к правому краю листа.

Я затаил дыхание. Откуда? Разве что из окна, распахнутого в сад? «А ведает ли кроха, — подумал я, — сколько опасностей ее подстерегает? Знает ли, какой великанище следит за ее движением? Достаточно ему дохнуть, и ее как на свете не было...» А она движется быстро, сноровисто, ближе к краю листа, стремясь скорее убежать из белой безбрежной пустыни...

Крошка достигла наконец края листа, чуть перегнувшись, глянула вниз и, испугавшись пропасти между ли-

стом и столом, отпрянула и поползла по краю, ища, где бы ей удобнее спуститься.

Я смотрел на подвижную точку и думал о загадочности бытия. Природа породила слона, кита, орла. И она же в эту вот зеленую крошку вдохнула жизнь, вселив в нее инстинкт сохранения и продолжения ее...

В раскрытое окно заглядывает ветка яблони. Качнув ее, вскочил шустрый воробышек. Тут же, чирикаая, к нему присоединился другой. Они меня отвлекли, и когда я снова взглянул на бумагу, зеленой крошки и след простыл. Я тут же забыл о ней, так как все время неотступно думал о той вещи, ради которой, готовясь ее начать, я и сел к чистому листу бумаги. Тут же упрекнул себя в нерадивости, в том, что глазеньем на зеленую кроху, мыслями о ней норовил как можно дольше оттянуть начало работы. «Хватит!» — сказал я себе, опустил перо, и — вот оно, первое слово! Черным по белому начертано оно на листе и, только появившись, тут же повлекло за собой другие слова. Еще и еще... Фраза следует за фразой, и — не успел я оглянуться, как половину листа плотно заполнили темные строчки...

И тут я снова увидел малышку. Откуда опять взялась? Быстро двигалась она с нижнего края листа к тому месту, где я собирался начать новую строчку. Ближе, ближе... Вот она уже совсем близко, но понял я это в тот миг, когда опустил перо. Тут же отнял его — поздно!..

Глупая кроха... Можно ли лезть под руку, под огромную руку, которая к тому же вся напряжена в работе и не может остановиться...

Казалось бы — что, много значила в огромном мире зеленая точка? Но поди ж ты — как торопилась по белой пустыне... Куда-то торопилась, чего-то боялась.

И вот...

Я взглянул на слово, от которого так поздно отнял перо.

До чего высока бывает цена слова...

СОДЕРЖАНИЕ

ПОКА ЖИВ ЧЕЛОВЕК. Роман	3
ПОВЕСТИ	
На полном ходу	211
Привязанность	267
РАССКАЗЫ	
В новгородную ночь	301
Окно напротив	305
Красивые люди	313
Узнал	319
Капель	323
Тюльпаны	334
Нормально	338
В пасмурный день	341
На час раньше	346
Ошибка почтальона	348
Рябая фасоль	351
Они должны знать	355
Молодой картофель	360
НОВЕЛЛЫ	
Дети	365
Чудо	369
Рекс	371
Улыбка	374
Сказка о золотом колечке	376
На крыше	378
Гусеница	379
Если бы человек мог	380
На высоте	381
Добрый человек	382
Над чистым листом	382

Борис Израилевич Миллер

ПОКА ЖИВ ЧЕЛОВЕК

М., «Советский писатель», 1986. 384 с. План выпуска 1986 г. № 403. Редактор А. С. Поволоцкая. Худож. редактор Е. Ф. Капустин. Техн. редактор Е. Ф. Шараева. Корректор Н. Р. Качалова. ИБ № 5069. Сдано в набор 15.07.85. Подписано к печати 24.01.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,31. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1305. Цена 1 р. 40 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3